

ХИЗГИЛ АВШАЛУМОВ

Фамильная
Арка

Многоуважаемому

Данилову

Данилу Абраму

с пожеланием успехов
светлых радостей, верности
и всего самого доброго

уважаемый

12/11 95.

Д.А.Д.





К. Журавов -

ХИЗГИЛ АВШАЛУМОВ



Фамильная Арка

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ДАГЕСТАНСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАХАЧКАЛА 1984

Авшалумов Х. Д.

А 22 Семейная арка: Повести и рассказы. — Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1984.—384 с.

В книгу известного татского писателя вошли уже знакомая и полюбившаяся читателю повесть «Семейная арка», в основу которой положена социально-психологическая драма, повесть «Возмездие» и рассказы.

ББК 84 Даг.

А 4702010000—220 — 66 — 84
М 123 — 84

© Дагкнигоиздат, 1984

ХИЗГИЛ АВШАЛУМОВ И ЕГО КНИГА

Писатель самобытного таланта, Хизгил Давыдович Авшалумов вошел в литературу со своей темой и манерой письма. Широкий диапазон его творчества. Он новеллист, автор ряда повестей, пьес, очерков.

Х. Д. Авшалумов родился в селении Ньюди в 35 км к югу от древнего Дербента. Рано лишившись родителей, он начал свою трудовую жизнь в тринадцать лет, работал в колхозе сначала подпаском, потом в полеводческой бригаде.

Путь Хизгила Авшалумова в литературу начался с газетной заметки, где он критиковал предрассудки своих земляков, веривших в разного рода поверья. Заметка была напечатана в татской республиканской газете «Захметкеш» («Труженик»), издававшейся в Дербенте. Она вызвала большой резонанс в селении и районе. Автор был замечен и вскоре приглашен работать в газету. Работа в газете «Захметкеш» способствовала расширению кругозора юного журналиста, его идейно-политическому росту, более глубокому пониманию жизни. О плодотворной работе Х. Авшалумова в газете свидетельствует и известный татский писатель Миши Бахшиев: «Имя Хизгила Авшалумова я услышал впервые, прочитав в середине тридцатых годов в татской газете «Захметкеш» нашумевший в то время его фельетон «Проданная невеста», в котором остро бичевались вредные адаты, оскорблявшие и унижавшие честь и достоинство девушки-горянки».

В мае 1938 года Х. Авшалумова приняли на работу в Институт национальной культуры (ныне Институт исто-

рии, языка и литературы им. Г. Цадасы). Он собирает татский фольклор, издает первый сборник татских фольклорных произведений, публикует повесть «Влюбленные» и др. Перед войной работал ответственным секретарем Союза писателей Дагестана.

Словом, перед молодым писателем открывались широкие перспективы художественного и научного творчества. Но грянула Великая Отечественная война, заставившая его сменить перо на саблю кавалериста. С первого же дня войны Х. Авшалумов находится в рядах защитников Родины. Был дважды ранен. Войну он заканчивает в Германии. После войны Х. Авшалумов служит военным корреспондентом в Закавказье, Белоруссии, Казахстане, Сталинграде, Куйбышеве.

В 1955 году, расставшись с военкоровской службой, Х. Авшалумов возвращается на родину в Дагестан и целиком отдается творческой работе. С этого времени начинается новая, наиболее плодотворная полоса в творчестве писателя. Его рассказы и новеллы часто появляются в печати. Лауреат Ленинской премии Расул Гамзатов заметил талант Х. Авшалумова и назвал его «интересным, наблюдательным прозаиком». Руководитель московского семинара рассказчиков, куда по конкурсу прошел и Х. Авшалумов в 1969 году, известный советский писатель Леонид Соболев назвал его рассказы «Встреча у родника», «Жених бабушки Фатьмы», «Хабар и хинкал» великолепными, а рассказ «Как я воскрес» — написанным по-твовенски. Профессор Н. И. Замошкин, руководивший на том же семинаре группой кавказских писателей, отмечал высокие художественные достоинства рассказов Х. Авшалумова (лаконичность, юмор, острота содержания, актуальность поднятых вопросов).

Лучшие произведения Х. Авшалумова написаны ярко, они отражают существенные стороны нашей действительности. Многие из них основаны на реальных событиях. Так, например, в основу рассказа «Жених бабушки Фатьмы» лег случай в Цумадинском районе. Прототипы героев рассказа «Встреча у родника» живут в Хунзахском районе. Достоверные факты натолкнули писателя и на создание рассказов «Хабар и хинкал», «Женская профессия», «Сын» и другие. Под пером писателя отдельные бытовые случаи стали художественными обобщениями, получили реалистическую наполненность и идейную направленность.

У каждого писателя имеется свой любимый жанр, в котором он больше всего достигает успехов. Таким для Хизгила Авшалумова является жанр короткого юмористического рассказа, к которому относится и цикл новелл о «Хитроумном Шими Дербенди». Шими Дербенди — художественная находка писателя. Он воплощает образ типичного представителя татского народа. Вместе с тем Шими Дербенди — фигура общедагестанская. Х. Авшалумов сумел показать через образ Шими Дербенди прошлое и настоящее народа, выразить народный взгляд на те или иные животрепещущие проблемы современности. Шими Дербенди пользуется широкой популярностью у читателей. Как справедливо заметил один из корреспондентов писателя, «среди народных мудрецов-острословов мира Ваш герой займет не последнее место».

В ряде произведений Х. Авшалумов показал себя и великолепным лириком, автором социально острых повестей о прошлом татского народа, писателем, которому не чужда также историческая тема. Так, в рассказах «Старики» и «Сказание о любви» он повествует о событиях минувших дней. В них он создает образы людей мужественных, вместе с тем любящих и страдающих. Трагические события дореволюционного татского селения Ньюнди описываются в повести «Возмездие», которую известный критик Г. Бровман отнес к заметным произведениям национальной прозы.

О тех уродливых социальных явлениях, религиозных предрассудках дореволюционного Дагестана, жертвой которых стала девушка из простой татской семьи, рассказывает повесть «Фамильная арка».

Х. Авшалумов обращается и к другим литературным жанрам, в частности к очерку и пьесе. Очерки Х. Авшалумова посвящены людям различных профессий и разной судьбы. Но всегда это повести о людях добрых и сердечных. Если бы не указание на жанр очерка и некоторые детали документального характера, они воспринимались бы как добротные и умные рассказы о лучших наших современниках. Таковы очерки «Сильнее смерти», «Русская сноха», «Чужие дети», «Гюльбоор».

Пьесы Х. Авшалумова с успехом ставятся в Татском народном театре, коллективами художественной самодеятельности, их показывают по телевидению. А пьеса «Толмач имама» была поставлена на сцене Кумыкско-

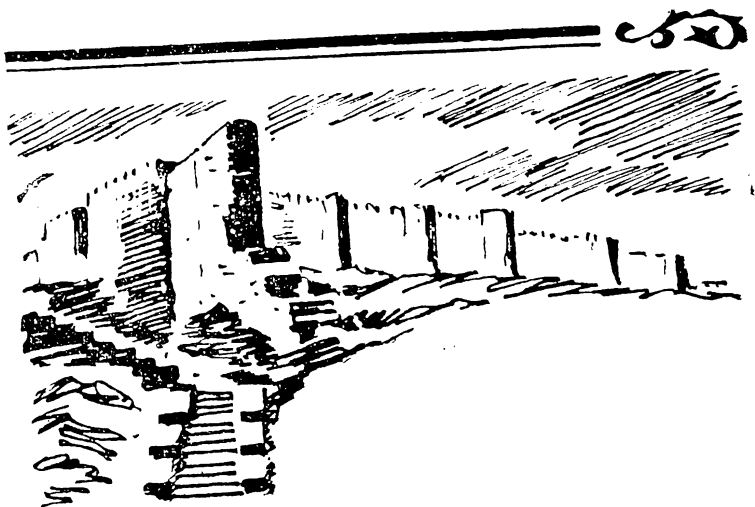
го музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова.

В последние годы значительно активизировалась деятельность Х. Авшалумова-публициста. В статьях «Легенда и быль», «Ответ бывшему земляку» и других он дает достойную отповедь проискам недругов нашей страны.

Творчество Х. Авшалумова популярно в народе. Вот что пишет читательница Р. А. Циткилова, татка по национальности, из Московской области: «Прочитав три Ваши книги на родном татском языке, я еще больше полюбила свой народ, свою землю родную, свою родину, свой Дагестан». Такие теплые письма Х. Авшалумов получает из Москвы и Ленинграда, из различных районов нашей республики, ему пишут школьники и взрослые, люди самых разных профессий. Заслуги Хизгила Давыдовича Авшалумова перед дагестанской литературой отмечены республиканской (ДАССР) премией им. С. Стальского, почетными званиями Заслуженного работника культуры РСФСР и ДАССР. Он награжден также орденом «Знак Почета».

Настоящая книга издана к 70-летию писателя и включает в себя его лучшие повести и рассказы. Нет сомнения, что читатели с удовлетворением встретят новую книгу Х. Д. Авшалумова.

Сулейман Ахмедов,
кандидат филологических наук



Повесји

ФАМИЛЬНАЯ АРКА

(ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ)

ВСТРЕЧА



то было летом 1937 года. В то время я только начинал работать в газете, которая издавалась в Дербенте. В один из жарких августовских дней по заданию редакции я отправился на виноградники одного из городских колхозов «Заря Востока», расположенные в пяти-шести километрах южнее. Освещенные ярким солнцем, они привольно раскинулись в широком проходе между цепью невысоких гор и лазурным морем, простиравшимся до самого горизонта. На зеленых кустах, сплошь покрытых лапчатыми листьями и подвязанных к деревянным таркалам, вызревали тяжелые гроздья с сочными янтарными ягодами.

Около проезжей пыльной дороги, у входа на виноградники колхоза, куда я держал путь, возвышалась высокая каменная арка. Она стояла на краю узкого арыка, по дну которого с тихим монотонным журчаньем бежала мутная илистая вода. Я невольно остановился, увидев незнакомую женщину, стоявшую под палящим солнцем прямо посреди дороги перед этой аркой. Взор ее был устремлен на нее, а губы что-то горячо шептали. Со стороны можно было подумать, что она молится, точно идолопоклонница перед своим идолом-истуканом. Женщина так была погружена в себя, что даже забыла поправить на голове платок, который сполз у нее на плечи, обнажив ровные густые черные волосы¹.

¹ По обычаю, которого еще строго придерживались тогда, считалось крайне предосудительным, неприличным, если женщина не

Одежда на ней была такая, какую обычно носили тогда наши женщины среднего и пожилого возраста: просторное платье из дешевого темного ситца, длинные, до пят, шаровары в глубоких складках из того же материала. Только платок на ней был шелковый, с затейливыми рисунками по краям, правда, уже порядочно почощенный, полинявший. Легкие чуваки с острыми загнутыми кверху носами, в которые были обуты ее ноги, утопали в мягкой горячей пыли.

Даже тогда, когда я, весьма удивленный ее поведением, сдвинул несколько шагов вперед, чтобы посмотреть вблизи на эту странную женщину, она продолжала стоять также неподвижно. Казалось, она перестала ощущать окружающее и для нее сейчас ничего во всем мире не существовало кроме этой арки.

Там, где я стоял, росли почти с мой рост кусты терна и ежевики с красными и черными ягодами. Я зашел за эти кусты и стал наблюдать за ней. Ей было на вид лет тридцать семь-тридцать восемь, во всяком случае не больше сорока. Продолговатое белое гладкое лицо, прямой тонкий нос, большие черные выразительные глаза, обрамленные черными густыми ресницами, еще не потерявшие блеска молодости. Но в этих глазах, как мне показалось, было что-то напряженное, беспокойное и тревожное.

Я невольно перевел взгляд со странной женщины на арку, стараясь понять: чем она так приковала к себе ее внимание? Почему в такую нестерпимую полуденную жару, когда почти все живое замирает, ищет прохладу, она стоит среди открытой дороги, как вкопанная, перед этой аркой, и что она так самозабвенно шепчет про себя?..

На одной из гладко обтесанных каменных плит верхней части арки был высечен мужской профиль с острой коротенькой бородкой клином. Левее от него красовалась узловатая каменная лоза с широкими листьями, увешанная увесистыми гроздьями. Выше над живописной лозой и человеческим профилем виднелась половина солнечного диска с расходящимися веером острыми лучами. И все это незамысловатое изображение обрамле-

покрывала голову. А сорвать с нее платок—означало нанесение тяжкого оскорбления ее женской стыдливости и достоинству. (Отсюда и далее примечания автора.)

но, гирляндой, сплетенной из цветов и травы, над которыми парочками стояли друг против друга какие-то птички с раскрытыми клювами.

Мое внимание больше всего привлекли надписи, высеченные крупными буквами на высоких столбах, поддерживающих это ничем не примечательное сооружение. Мне показалось, что это какие-то мудрые восточные изречения или афоризмы в стихах, которые я любил. Приглядевшись повнимательнее, однако, я был несколько разочарован: это были священные заповеди, вроде: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не поля его...»

Арка эта, видно, стояла давно, не первый десяток лет. Краски на ней местами совсем сошли, а там, где они еще держались, почти поблекли, покрылись пылью.

Вдруг незнакомая женщина, точно очнувшись от забытья, беспокойно оглянулась вокруг. Заметив меня за кустами, она сразу всполошилась и, недовольно нахмурив брови, тотчас же повернулась ко мне спиной. Затем она поспешно накинула на голову платок, быстро зашагала в направлении города, вздымая острыми носами чувяк густую дорожную пыль.

Постояв еще немного, пока она не исчезла за поворотом извилистой дороги, и все еще думая о ней, я перешагнул через арык и медленно направился по узкой протоптанной тропе вдоль арыка мимо залитых солнцем виноградных кустов.

Вдруг чей-то веселый голос окликнул меня. Я оглянулся. Недалеко стоял маленький шалаш на неровных тонких деревянных столбах, покрытый сверху сухим сеном. По приставленной к нему кривой узенькой лесенке спускался какой-то мужчина. Едва я увидел его смуглое лицо со слегка выдающимися скулами, темно-кариими глазами и черной, как смола, бородой, сразу узнал его. Это был мой знакомый Юсуф Соболев.

Два месяца назад в разгар созревания черешни, здесь, на виноградниках, колхозу «Заря Востока» в торжественной обстановке вручали Государственный акт на вечное и безвозмездное пользование землей. Это важное событие в жизни колхоза было отмечено его тружениками как большой праздник. Были приглашены музыканты, певцы. Весь день радостно настроенные люди веселились, танцевали, слушали певцов, музыкантов, провозглашали заздравные тосты. Среди приглашенных

почетных гостей были и сотрудники нашей областной газеты во главе с редактором.

Накануне торжества наша газета дала целую страницу с выступлениями и портретами лучших людей колхоза, в том числе выступление и портрет бывшего батрака, ныне колхозного сторожа Юсуфа Собоева. Его выступление для этой страницы было записано и подготовлено мною.

Дядя Юсуф, подойдя ко мне, с приветливой улыбкой поздоровался, дружески крепко пожал мне руку. Затем, не сводя с меня весело-лукавого взгляда, он с нарочитой медлительностью снял с чисто выбритой головы, напоминавшей ободранную круглую репу, мохнатую коричневую папаху и с такой же медлительностью извлек оттуда сложенную вчетверо страницу нашей газеты. Он торжественно развернул ее и с гордой признательной улыбкой на губах, почти скрытых под пышными черными усами, ткнув грубым толстым пальцем с обломанным ногтем в нее, показал на свой портрет и заметку в газете.

— Видишь, сынок, храню на память, всегда с собой ношу.

Сказав это, дядя Юсуф, прежде чем водрузить папаху на голову, аккуратно сложил газету и бережно положил ее на прежнее место. Потом он вдруг, точно вспомнив о чем-то, посмеиваясь в бородку и хитро подмигнув мне, весело спросил, указывая глазами в сторону каменной арки.

— Хе-хе! Видел эту «прекрасную ведьму» — Марал, как она торчала тут?

— Да?.. Неужели это была она? — удивленный и вместе с тем как бы даже обрадованный, воскликнул я, сразу догадавшись, о ком он говорит.

Дядя Юсуф, слегка прищулив один глаз, недоуменно, почти недоверчиво покосился на меня.

— А ты что, не знал ее до сих пор? — спросил он меня, а потом, чуть помолчав и покачав головой, добавил: — Странно! У нас в городе каждый встречный и поперечный знает ее, а ты не знаешь...

Дядя Юсуф ничего не знал обо мне, разве только то, что я из газеты. Я приехал в город совсем недавно. А до этого жил и работал в своем родном селении. Поэтому ничего не было удивительного в том, что я ни разу не видел Марал в лицо. Но даже я, живущий в этом

городе, как говорится, без году неделя, был много слышан об этой женщине. О ней ходили разные толки, и дурные, и смешные, правда, в большинстве своем относящиеся к годам ее молодости.

По тому, как дядя Юсуф отозвался о ней, назвав ее «прекрасной ведьмой», и его неуважительному тону при этом, я сразу понял, что и он разделяет худую молву, которая идет об этой женщине среди жителей города. Но как ни был я молод — тогда мне шел двадцатый год — я понимал, что иногда людская молва, выражаемая словами известной нашей поговорки, «может иглу превратить в бревно, а бревно — в иглу». Но сейчас услышав из уст дяди Юсуфа, к которому я питал полное доверие и уважение, я уже не сомневался в правдивости всего того, что говорят люди о ней.

Я не стал объяснять дяде Юсуфу, почему я, как и другие жители их города, до сих пор не знал, не видел эту печально знаменитую женщину, а только коротко заметил, что я тоже кое-что слышал о ней, и тут же спросил почему она приходила сюда в такую жару.

— Думаешь, она первый раз? Она часто ходит сюда, — с нескрываемым неудовольствием произнес колхозный сторож. — И каждый раз подолгу стоит перед этой аркой, как столб, и все что-то без конца бубнит и бубнит себе под нос, аж неприятно смотреть со стороны. Может, заклинания какие шепчет, а может, просто разгсваривает сама с собой — пес ее знает... А как увидит кого вблизи, сразу становится мрачнее тучи, отворачивается, шипит, как змея, которой неожиданно наступили на хвост, и тут же спешит удалиться прочь. Поэтому, пока она была здесь, я не высовывал носа из шалаша, не хотел показываться ей на глаза. И хорошо, что ты оказался тут, иначе она еще долго торчала бы здесь, мозолила глаза. — Дядя Юсуф на минуту умолк, а потом, неловко улыбаясь, добавил:—Неудобно говорить: иной раз, когда я в шалаше, из-за нее, окаянной, не могу выйти даже по нужде.

— Она что, тронутая? — спросил я, вновь представив себе, как странно вела себя эта женщина.

— Нет вроде бы, — произнес мой собеседник, а потом, немного подумав, сказал тихо, с сомнением и даже, как мне показалось, с некоторыми нотками сочувствия, невольно просочившимися в его голосе. — А впрочем,

кто знает, сынок. От такой жизни, какая у нее была, не то, что тронуться, повеситься можно.

Поскольку дядя Юсуф не ответил на мой вопрос, что заставляет Марал тащиться сюда в такую жару и в такую даль к этой арке, я вежливо напомнил ему об этом.

— А-а! Ведь эту самую арку в свое время поставил Ошир Тряпичный Котелок. — Он улыбнулся во весь рот, показывая крупные, здоровые, но слегка желтые зубы заядлого курильщика. И как бы объясняя мне причину своей улыбки, добавил: — «Тряпичный Котелок» — такое смешное прозвище было у ее покойного мужа.. Это, знаешь, их, так сказать, фамильная арка, а все виноградники, — мой собеседник сделал широкий жест рукой, указывая на плантацию, раскинувшуюся от арочного сооружения и до самого берега моря, — принадлежали ее мужу, а после его смерти, вплоть до организации колхозов она одна владела ими. Между прочим, я хорошо знал ее мужа, знаю и ее, как облупленную. Да и как не знать, сынок: ведь я работал батраком у ее мужа, а потом, когда он отправился к праотцам, у его вдовы, то есть у этой самой Марал.

Заметив, что я с интересом слушаю его, колхозный сторож внимательно и испытующе посмотрел на меня, а потом неожиданно спросил:

— Хочешь, я расскажу тебе о ней? О, у этой женщины, клянусь своими сыновьями, такая история, хоть в книгах пиши.

Я, заинтригованный его словами, недолго думая, согласился. «Если даже побуду с ним пару часов, — решил я про себя, — у меня все равно хватит времени, чтобы собрать нужный мне материал для написания порученной мне статьи: как колхоз подготовился к предстоящему сезону уборки винограда. Тем более, кое-какие данные об этом у меня были записаны в блокноте, я еще вчера взял их в колхозной конторе.

Велев мне «подождать немного», дядя Юсуф захватил круглую плетеную корзину, лежавшую верх дном под шалашом, зашел в виноградник и на некоторое время исчез среди высоких кустов, точно нырнув в воду с головой. Потом, вернувшись с корзиной в руках, доверху наполненной сочными гроздьями, он молча, кивком головы пригласил меня к старому инжировому дереву с раскидистой кроной, росшему на краю арыка.

Через минуту мы уже сидели в прохладной тени дерева, по-домашнему скрестив под себя ноги. В арыке также тихо и монотонно журчала вода. В дрожащем от зноя раскаленном воздухе стояло ликующее стрекотанье бесчисленных цикад, от которого звенело в ушах. Временами до нас доносились приглушенные расстоянием голоса колхозников, работавших где-то внизу, ближе к берегу.

Колхозный сторож вытер рукавом темной сатиновой рубашки мокрый от пота загорелый лоб, неторопливым движением достал из кармана желтый кисет, пропитанный коричневой табачной пылью. Насыпав в клочок газетной бумаги мелко нарезанный табак, он деловито свернул сигарку, закурил.

— Ты, сынок, угощайся, а я начну свой рассказ, — держа в зубах дымящуюся папиросу, сказал он, гостеприимно придвинув ко мне обеими руками корзину с виноградом.

То, что рассказал мне дядя Юсуф, я лишь дополнил некоторыми деталями и фактами, о которых узнал позже.

«А ДОЧЬ ХАЛВАЧИ ЕЩЕ СЛАЩЕ»²



Дербенте есть старая, очень тихая и ничем непримечательная короткая улица, которая носит название «Садовая». Поэтому, когда теперь идешь по ней, трудно даже себе представить, что некогда здесь было самое многолюдное и оживленное место в южной половине города. Здесь почти рядом находились три нумаза — молитвенных дома. Вдоль всей улицы, тесно прижав боками друг друга, словно каждая хотела вытеснить, вытолкать «соперницу» и сделать себе место попросторнее и быть на виду, тянулся длинный ряд бакалейных и галантерейных лавчонок. Наемные босоногие мальчишки с утра и до вечера, надрывая горло, стараясь перекричать друг друга, пронзительными голосами зазывали людей покупать нехитрый товар своих хозяйчиков: иран-

² Пословица.

ский кишмиш, турецкий табак, ханский рис, астраханскую воблу, сладкую нюгдинскую дыню³, гянджинские платки для невест, готовые чарыки, керосин, спички... Здесь же, прямо на улице, под открытым небом, продавали домашнюю восточную дулму, кислый айран, вареную грушу, разнообразную зелень и всякую всячину.

Но жителей южной части города, главным образом бедноту, привлекали сюда не молитвенные дома и лавчонки мелких хозяйчиков, а небольшая площадь на середине этой улицы, мощенная булыжником и носившая название Фэхле-базари — Рабочий рынок. Сюда обычно сходились батраки и бедняки, где подрядчики нанимали их по дешевке для работы на виноградных плантациях и рыбных промыслах, принадлежащих дербентским богачам. Кроме того, для многих дербентцев Фэхле-базари в то же время был чем-то вроде годекана в ауле, где земляки собираются на досуге, коротают время за тихой, непринужденной беседой, рассказывают друг другу разные истории, были и небылицы.

Здесь же на Фэхле-базари в сыром слабоосвещенном полуподвале с низким прокопченным потолком и унылыми обшарпанными стенами ютилась маленькая кондитерская, где готовили халву. Принадлежала она некоему Худодоту, пожилому невзрачному человеку с узкой впалой грудью, нездоровым чахоточным румянцем на худых впалых щеках и непомерной грыжей, которая мешала ему свободно передвигаться. Но в искусстве изготовления сочной и вкусной халвы не было мастера, который мог бы с ним сравниться. Из настезь открытых дверей его крохотной кондитерской вырывался на улицу такой аппетитный, щекочущий ноздри умопомрачительный аромат, что даже многие из тех, у кого на дне пустого кармана была припрятана одна единственная монета, очутившись рядом с кондитерской Худодота, не могли удержаться от искушения, чтобы не спуститься туда и не попробовать его халвы. Наверно поэтому ныне здравствующие дербентские старики-аксакалы, не раз в свое время отведавшие чудесной халвы Худодота, клянутся своими седыми бородами, что с тех пор они никог-

³ Селение Нюгди славилось не только своей первосортной пшеницей, но и обладавшими высокой сахаристостью и душистым запахом дынями.

да и нигде ничего подобного не пробовали. И они с сожалением говорят, что их покойный земляк (да не взыщет ему бог за это на том свете) всю жизнь держал про себя секрет изготовления такой халвы и унес его с собой в могилу, не передав никому.

Но как ни душиста и сладка была халва, изготовленная Худодотом, некоторые «романтически» настроенные посетители кондитерской, по мелким кусочкам глотая ее, словно густой горный майский мед, мечтательно закатив глаза в темный от копоти потолок со свисающими по углам паучьими «замками», тонко, страдальчески восклицали: «Э-э-эх! А дочь халвачи еще слаще!..»

Говорят, бытующая и поныне в народе поговорка «А дочь халвачи еще слаще» родилась именно в ту пору и ни где-нибудь, а в убогой, как ее хозяин, кондитерской Худодота.

В то время, если не первой красавицей, то, по крайней мере, одной из самых красивых девушек в Дербенте была единственная дочь Худодота-халвачи семнадцатилетняя Марал.

Почти все девушки ее возраста уже давно были замужем, а многие из них имели детей. Ведь для того, чтобы выдать девушку замуж, как говорили тогда в народе, достаточно кинуть в нее папаху. Если девочка при этом устоит на ногах, стало быть, ее можно сосватать и выдать замуж.

Но расчетливый и себе на уме халвачи не торопился, однако, с замужеством дочери. Старый Худодот был уверен, что такая девушка, как его дочь, все равно не засидится в девках, и ждал более «достойного жениха». В его глазах, конечно, это будет тот, кто заплатит ему за нее наибольший рэхь-пули — калым.

У Марал были густые, длинные до пят, черные блестящие волосы, большие черные глаза с пушистыми ресницами, белое продолговатое овальное лицо с нежными чертами. Небольшой, чуть выпуклый лоб будто высечен из мрамора. А когда она улыбалась своей ослепительной лучезарной улыбкой, казалось, само солнце озаряет и ласкает тебе душу. Ростом, правда, она была невысока, но стройна, как тополек. И столько врожденной женской грации было в движениях, походке этой белолицей, чернобровой и жизнерадостной девушки с обворожительными глазами, что многие девушки и молодые женщины с невольным восхищением и тайной недоброй

завистью называли ее Ол,⁴ а неженатые парни и молодые мужчины с сердечным волнением—бике.

Незамужние девушки и молодые женщины были, конечно, неправы, называя Марал именем прекрасной, но злой богини Ол, будто похищающей сердца у рожениц, чтобы погубить их. Если дочь халвачи и похищала или ранила сердца, сама даже того не ведая и не желая, то только не у них, а у «бедных» мужчин. В праздничные дни, когда она, омыв свои пышные волосы в мягкой, как эфирное масло, и прозрачной, как девичья слеза, ключевой воде из знаменитого источника «Шах-булага»⁵, от чего они блестели, словно покрытые лаком, выходила постоять у ворот, многие мужчины, проходя мимо, невольно оборачивались, чтобы еще и еще раз взглянуть на эту очаровательную девушку, полюбоваться на ее красоту. А некоторые после этого надолго теряли душевное равновесие.

Марал знала, что она прекрасна и что парни неравнодушны к ней, а иные совсем без ума от нее, но вела себя тихо, скромно. Однако никакие ее достоинства не смогли оградить юную красавицу от разных злословий. Даже то, что она в свои семнадцать лет, несмотря на свою красоту, все еще ходит в девушках, истолковывалось завистницами и сплетницами как следствие ее дурного нрава, из-за чего якобы никто из юношей или овдовевших мужчин не берет ее в жены.

Но вскоре всю округу обошло известие — Марал вышла замуж, притом за знатного человека.

Очарованный красотой юной дочери халвачи, женился на ней один из дербентских богачей, владелец виноградных плантаций, бездетный вдовец по имени Ошир, дородный мужчина лет сорока с аккуратно подстриженной темно-каштановой бородкой и пышными усами.

⁴ Ол (Дедей-Ол) — злая богиня в татской мифологии в образе красивой женщины с черными густыми длинными волосами. По поверью татов, Ол — гроза рожениц. Она обитает в лесу, ходит нагая, прикрываясь своими волосами. Чтобы погубить роженицу, Ол якобы появляется перед ней в образе одной из ее близких родственниц. Вынув ее сердце и легкие, она спешит обратно в лес. Ополоснув их в лесной речке, Ол проглатывает добычу, после чего роженица умирает.

⁵ По преданию, этот источник был открыт в честь прибытия в Дербент Шах-Аббаса в начале 17 века. Другое предание связывает его сооружение с приездом в Дербент знаменитого арабского халифа Гарун-аль-Рашида, героя многих сказок Шахерезады из «Тысячи и одной ночи».

Ошир в своем роде был белой вороной среди своих земляков: единственным человеком, который любил щеголять в европейской одежде. Его элегантный костюм английского покроя, белоснежные рубашки с высокими накрахмаленными воротничками, украшенными бантом, казались им странными. Но более всего странным и смешным в туалете богача казалась им его тирольская шляпа. Они даже не знали, как называется этот дикий, «несуразный» головной убор и искренне удивлялись: как можно променять гордую папаху — истинное украшение мужской головы — на этот тряпичный котелок, который если и годится на что-нибудь, так разве сороке на гнездо или старой бабке держать в нем свои нитки и спицы для вязанья, а еще хуже — вместо ночного горшка детям, чтобы отправлять в него малую и большую нужду? С тех пор земляки за глаза так и называли его — Ошир Тряпичный Котелок.

Ошир Тряпичный Котелок был еще, пожалуй, и единственным человеком среди своих соплеменников с гимназическим образованием (даже местные богачи здесь были или вовсе несведущие в грамоте или малограмотны, не говоря уже о бедноте) и одним из влиятельных людей в своем родном городе. Он состоял членом городской Думы, которую раз в четыре года избирали на своем избирательном сходе местные беки и богачи-толстосумы — крупные домовладельцы, хозяева виноградных плантаций и рыбных промыслов, ездил не раз на знаменитый заграничный курорт Карловы Вары. А когда последний русский царь со своей семьей совершал увеселительное путешествие из столичного города Петербурга в Тифлис к своему наместнику Кавказа, Ошир был в составе «почетной депутации», которая от имени «местного дворянства и купеческого сословия» приветствовала российского самодержца во время его короткой остановки по пути в Дербенте.

Отец Марал, который в душе тоже разделял нелестное мнение своих земляков относительно туалета своего зятя, считая его вроде шутовским и неприличествующим мужчине, «дерзким вызовом» обычаям и традициям своего народа, тем не менее был до смерти рад, что богатый и почтенный господин породнился с ним, женившись на его дочери. Но больше всего Худодот был рад тому, что получил за нее такой калым, который ему и во сне не снился.

Ошир, то ли желая сделать приятное своей юной невесте, то ли решив тряхнуть мощной, нисколько не торгуясь, с легким сердцем отвалил Худодоту тысячу рублей золотыми царскими монетами. И халвачи, безмерно счастливый и довольный тем, что не поспешил сбыть дочь с рук кому попало, любил как похвалу самому себе произносить к случаю известную поговорку: «На дне терпения оседает золото».

Бедному халвачи женитьба на его дочери расщедрившегося богача показалась истинным спасением. Как он ни выворачивался все эти годы из последних сил, стараясь не щадить себя в деле, беречь копейку, накопить немного деньжонок на черный день, ему это не удавалось. Его крохотное предприятие приносило мизерный доход. Он едва покрывал расходы, связанные с покупкой необходимых продуктов для изготовления халвы, которую надо было скорее продать по сходной цене, чтобы она не залежалась, не портилась, с оплатой за аренду помещения, с налогами. К тому же Худодот чувствовал, как с каждым годом уходит его здоровье, иссякают силы, и может настать такой день, когда он свалится с ног. Тогда не миновать ему горькой участи нищего, ходить с сумой. Этого он страшился пуще смерти. Но о том, что, когда он будет совсем не в силах работать, ему придется жить у зятя, халвачи не только не думал, но и всячески гнал от себя такую оскорбительную для него, для его намуса и достоинства мужчины мысль. Жить у дочери, быть у зятя на иждивении, «нахлебником» считалось унижением, чуть ли не позором у его земляков. Отца на старости лет должен кормить и ходить за ним родной сын, а не «чужой» человек — зять.

Теперь халвачи чувствовал себя, как тот счастливчик-бедняк из известной сказки, который по воле доброго волшебника нашел в земле клад и вмиг разбогател. Поэтому вместе с гордостью за своего зятя-богача он испытывал к нему бесконечную благодарность.

Став обладателем кругленькой суммы, халвачи мечтал расширить свою кондитерскую, нанять двух рабочих и одного помощника, возложить на них всю работу, а самому на старости лет насладиться покоем, приятным времяпрепровождением в кругу наиболее уважаемых и почтенных аксакалов. И халвачи не без гордости считал, что он заслужил такое право благодаря своему

новому, счастливому положению — родству с таким именитым человеком, как его зять, и щедрому калыму, который получил от него за свою красавицу дочь.

Зять халвачи, Ошир Тряпичный Котелок, своей породной фигурой и внешне каменным спокойствием производил на окружающих впечатление человека с могучим здоровьем и железными нервами. Никто никогда не видел, чтобы он волновался, выходил из себя или спешил куда-либо. Люди, близко знавшие Ошира Тряпичного Котелка, рассказывают о нем любопытную историю, лишняя раз характеризующую его, как человека на редкость спокойного и невозмутимого и в то же время очень неглупого.

Однажды на заседании городской Думы обсуждался весьма «деликатный» вопрос, связанный с существованием в Дербенте публичного дома. Дело в том, что некая приезжая мадам с повадками прожженного бизнесмена на ссуды с процентами, которые ей удалось получить у местных купцов, выстроила в Дербенте за крепостной стеной около Шуринских ворот публичный дом. «Предприятие» мадам оказалось настолько «рентабельным», что она вскоре на полученные прибыли смогла не только погасить долги с процентами, но и стать пайщицей одного из крупных рыбных промыслов не遠далеке от Дербента.

Но с возникновением позорного заведения в городе, который всегда гордился строгими нравами и крепкими вековыми семейными устоями его жителей, почтенные и добропорядочные отцы и матери семейств потеряли душевный покой. Женщины и дети, по утрам прогонявшие коров и коз в стадо, не могли миновать Шуринских ворот, за которыми начинались общественные пастбища. При этом они нередко становились невольными свидетелями непристойных сцен, происходивших в открытом дворе заведения мадам между пьяной солдатней, городскими гуляками и его беспутными обитательницами. Многие суеверные дербентцы со страхом думали о том, что по вине этого «исчадия ада» и «начала греха» — проклятой мадам их город ждет ужасная судьба и бесславный конец проклятых богом Содомы и Гоморры. Поэтому не на шутку встревоженные и возмущенные дербентцы в своей коллективной жалобе на имя местных властей категорическим образом требовали от них закрыть это заведение, как они писали, «являющееся позором горо-

да и оскорблением нравственности», а ее владелицу арестовать и выслать из Дербента.

При обсуждении этой жалобы некоторые члены городской Думы, боясь недовольства земляков и потери своего престижа людей добропорядочных и благородных, безоговорочно поддерживали требование, содержащееся в ней. Но городской глава, однако, стал возражать против такой «крайней меры». Свое возражение он мотивировал тем, что заведение мадам построено и открыто на законном основании, с разрешения его высокопревосходительства генерал-губернатора Дагестанской области с целью, как он выразился, «свести к минимуму число жертв общественного темперамента» и что такие дома существуют во многих городах «цивилизованного мира». Существуют они также и в городах Порт-Петровске и Темир-Хан-Шуре, под боком у самого генерал-губернатора⁶.

И как самый главный аргумент в пользу своего довода городской глава ссыался на то, что закрытие заведения мадам явилось бы покушением на священные принципы частной собственности и предпринимательства, охраняемые всей «несокрушимой мощью» государства. Он не возражал, однако, перенести его «в более удобное место», подальше от глаз общественности, чтобы не возбуждать ее недовольства и протеста.

Но находчивая мадам, которая тоже была официально приглашена на это обсуждение, ссылаясь на те же «законные права» и «священные принципы», потребовала, чтобы городское управление в таком случае взяло на себя все расходы по перемещению ее заведения в другое место и, конечно, оплатило все убытки, которые она понесет за время его вынужденного простоя.

Требование мадам поставило городского главу в весьма затруднительное положение. Городская казна и без того была очень скудна, поэтому он сразу пошел на попятный — поспешил взять обратно свое предложение.

И вот, когда жалоба дербентцев повисла в воздухе, заседание городской Думы на некоторое время стало походить на шумный кабак, где между разгулявшимися пьяными посетителями разразился очередной скандал.

⁶ В Темир-Хан-Шуре находилась резиденция генерал-губернатора Дагестанской области.

Между теми, кто поддерживал требование жителей, и теми, кто соглашался с мнением городского главы — оставить в неприкосновенности заведение мадам, возник ожесточенный спор. Почтенные высокородные беки и солидные богачи, точно укушенные мухой, отбросив всю свою важность и солидность, энергично размахивая руками, пустились в громкую перебранку между собой, не устанавливая при этом перед прямыми оскорблениями и угрозами в адрес друг друга. Один только Ошир Тряпичный Котелок, удобно развалившись в мягком кресле и машинально вертя палкой с серебряным набалдашником, с которой он никогда не расставался, хранил абсолютное спокойствие, словно он ничего не видел и не слышал. Он со скучающим выражением на массивном лице все это время смотрел в окно, откуда взору открывался вид на покрытую зеленым бархатом Джалганскую гору, на вершине которой горделиво и величаво возвышалась старинная цитадель Нарын-Кала — немая свидетельница многовековой истории древнего города, его взлетов и падений.

И только когда, несмотря на умоляющие призывы городского главы «сохранить благоразумие» и угрозы присутствующего на заседании сурового полицмейстера вызвать наряд полиции для «водворения порядка», некоторые беки в пылу ожесточенного спора начали хвататься за кинжалы, прикрепленные к наборным серебряным ремням на их элегантных черкесках, а не на шутку перепуганная мадам, приподнимая подол своего длинного, пышного, но сильно декальтированного платья, точно нахохлившаяся наседка, с визгливым криком выбежала из зала, Ошир Тряпичный Котелок неохотно зашевелился и медленно поднялся с места. Он настойчиво постучал несколько раз концом своей палки о полированный паркет тесного зала, призывая не в меру разбушевавшихся членов городской Думы, среди которых он пользовался уважением, выслушать и его мнение на этот счет. Наконец, когда воцарилась тишина, он, обводя внимательным, дружеским и чуть насмешливым взглядом еще не остывших, шумно дышавших своих коллег, заговорил в своей обычной спокойной манере:

— Я вот думаю, господа, коль закрытие заведения мадам считается покушением на принцип частной собственности, а наше городское управление не может взять на себя бремя расходов, связанных с перемещением его

в другое место, я считаю целесообразным... — Он поднял руку и сделал предостерегающий жест. — Только, господа, прошу меня не прерывать!.. Я вот считаю целесообразным оставить заведение мадам на прежнем месте, но... при одном условии: если мадам обязуется обнести свое заведение каменным забором высотой не менее четырех аршин, чтобы скрыть от посторонних глаз то, что там происходит...

Мало сказать, что мнение Ошира Тряпичного Котелка пришлось всем по душе. Они просто были в восторге от него, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. В конце концов никому из этих людей всерьез не хотелось идти наперекор решению генерал-губернатора, которого они, несомненно, почитали и в то же время боялись, как ставленника «его величества» царя. Кроме того, некоторые члены городской Думы, в том числе кое-кто из тех, кто так запальчиво «защищал» жалобу своих земляков, сами были не без греха. Они тоже время от времени, тайком от своих покорных жен, любили заглядывать в «веселое заведение» мадам, с которой поддерживали самую «теплую и сердечную» дружбу и которая сама еще была и не стара и недурна собой.

И вот после «бурных дебатов» по этому щекотливому вопросу в анналах дербентской городской Думы по предложению Ошира Тряпичного Котелка появилось следующее, поистине «соломоново решение»:

«Оставить дом мадам на прежнем месте с тем, чтобы он был обнесен кругом забором не менее четырех аршин высоты, чтобы обитательницы дома не были видны с имеющихся окон и не было разрешаемо им без нужды выходить за забор дома; при желании кого-либо выстроить такой же дом разрешить строить на тех же условиях»⁷.

Но этот полный, очень спокойный, с виду пышущий силой и здоровьем господин, был на самом деле больным и несчастным человеком. Ошир Тряпичный Котелок страдал желудком, почками, его, точно Хюрсенг⁸, души-

⁷ Постановление городской Думы приведено здесь дословно.

⁸ Хюрсенг — невидимое мифическое существо наподобие гнома. По поверью татов, Хюрсенг нападает на человека, когда он один, спит или дремлет и начинает душить его, усевшись ему на грудь. Но шапка на нем обладает волшебной силой. Если человеку, подвергшемуся нападению Хюрсенга, в это время удастся стащить с него его шапку, он быстро разбогатеет.

ла астма. Богач, который мог позволить себе есть, пить что душа желает, из-за своего тяжелого недуга был вынужден отказывать себе в многих жизненных удовольствиях, питался одним молоком и до жути опротивевшим ему пресным сыром.

Он любил и обожал свою юную жену, был ласков и предупредителен к ней. Даже в минуты, когда астма душила его, сжимала грудь как в тисках, он, чтобы не тревожить и не расстраивать Марал, старался скрывать от нее свое мучительное состояние, сохранять на бледном лице нежную приветливую улыбку, незаметно от жены глотая пилюли и вытирая испарину на лбу.

Марал знала, что муж болен, в душе жалела его. Но поскольку он никогда не жаловался ей на свои недомогания, она не испытывала особенного беспокойства и тревоги за его жизнь и здоровье.

Замужем Марал еще больше расцвела и похорошела, была довольна собой и своей жизнью. Отправляясь с мужем на виноградники на собственном фаэтоне или разъезжая с ним по городу, разодетая в шелка, сверкая драгоценностями, она, горделиво откинувшись на мягкую бархатную спинку фаэтона, чувствовала себя в такие часы шахиней, восседающей на троне рядом со своим повелителем и супругом — шахом. Сам городской глава—столбовой русский дворянин—при встрече с Марал и ее мужем, приветствуя ее, почтительно приподнимал на голове шляпу. А начальник военного гарнизона (в Дербенте всегда из-за постоянно натянутых отношений с соседними Турцией и Персией находился крупный гарнизон) бывалый генерал с седыми бакенбардами и гренадерскими усищами, щелкая каблуками сапог и звеня шпорами, лихо, точно молодой, бравый и влюбленный корнет, отдавал ей честь. Молодые мужчины исподлобья бросали на богатую красавицу горящие взоры. Все это очень нравилось Марал, тешило ее самолюбие, вызывая в ней бурную радость.

Но предметом особой гордости и восхищения Марал была высокая полукруглая арка с высеченными на камне профилем Ошира Тряпичного Котелка и священными надписями, возвышавшаяся над дорогой на краю журчащего арыка у входа во владения ее мужа, как символ их непоколебимого семейного благополучия и счастья. Вся арка была выкрашена в разноцветные краски и производила на простодушную дочь халвачи неот-

разимое волнующее впечатление. Проезжая через фамильную арку, она чувствовала себя на седьмом небе, и наивно-восторженное воображение рисовало ей лучезарные райские ворота, услужливо распахнутые перед ней и ее мужем добрыми ангелами-небожителями.

ВДОВА БРАТА — ЖЕНА БРАТА

Дто произошло два года спустя после замужества Марал. Однажды рано утром она проснулась от какого-то холодного и неприятного прикосновения. Охваченная смутным страхом, она резким движением скинула с себя одеяло, быстро приподнялась в постели и с тревогой взглянула на мужа. Тот лежал на спине без нательной рубашки, выставив широкую, голую волосатую грудь. Его полное лицо было сейчас белым, как мел, а глаза с сильно припухшими за ночь посиневшими веками, неподвижно смотрели в потолок, широко раскрытый рот точно застыл в немом крике.

Марал никогда не видела покойников вблизи, но всегда представляла их, как спящих: с закрытыми глазами и сжатыми губами. Поэтому она вначале больше удивленная, чем взволнованная и испуганная, принялась слегка тормошить и окликать его:

— Эй, мерд!⁹ Эй! Что с тобой?..

Но Ошир Тряпичный Котелок не только не отозвался на зов жены, даже не скосил глаза в ее сторону. Теперь она стала по-настоящему волноваться, тормошить его изо всей силы и кричать на всю комнату, окликая его по имени:

— Ошир! Оши-и-ир! Не пугай меня! Зачем ты молчишь?!.. Оши-и-ир!..

Страшная мысль о том, что муж умер, молнией пронзила ее сознание. А невольная догадка, тут же пришед-

⁹ По татским семейным традициям считалось неприличным, если жена окликала мужа по имени. Она, обращаясь к нему, вместо его имени произносила: «Эй!» или «Эй, мерд!» («Эй, мужчина!»).

шая ей сейчас в голову, о том, что ночью он, видно, почувствовав себя плохо, проснулся и вопреки своему обыкновению на этот раз звал ее на помощь — иначе как объяснить, почему он умер с открытыми глазами и открытым ртом, — а она, «трижды проклятая», спокойно спала себе в это время — едва не свела ее с ума, считая себя чуть ли не виновной в его смерти.

Хотя Марал знала о болезни мужа, но тем не менее внезапная смерть его показалась ей страшной неожиданностью, громом среди ясного неба. И она потрясенная, взволнованная и очень напуганная этим, точно в беспмятстве, вскочила с постели, рвя на себе волосы и царапая в кровь лицо, в одной ночной сорочке, босая, простоволосая с громкими рыданиями и отчаянными воплями выбежала во двор.

Сорок дней молодая вдова, одетая во все черное, убитая горем, не выходила за порог своего дома, держа по мужу траур. Она все это время проводила в слезах, в кругу женщин, которые приходили к ней в дом, чтобы вместе с ней оплакивать покойного, разделить ее горе. Печать глубокой печали и невыразимой скорби легла на ее прекрасное лицо.

И все сорок дней почти безотлучно находился в доме покойного его брат Обой, который и ночевал здесь.

Он ни внешностью, ни характером не только не был похож на своего покойного брата, а представлял собой его прямую противоположность. В отличие от полного, трезвого, солидного, всегда спокойного и уравновешенного Ошира Тряпичного Котелка этот высокий, в косую сажень ростом, жилистый и прямой, как жердь, тридцатипятилетний мужчина имел нрав дикий и необузданный. Жесткие и прямые, как у кота, усы на смуглом лице с крупными чертами, большие воловьи глаза с рассеченным нижним веком под левым глазом, глубокий малиновый шрам, пересекавший всю его левую щеку от виска до самого крутого подбородка — след кинжальной раны — придавали ему какой-то пугающий и свирепый вид.

В городе Обой слыл скандалистом первой руки и опасным человеком. От малейшей обиды он моментально вспыхивал, взрывался, как бочка с порохом, и сразу хватался за кинжал. Не один человек в Дербенте носил на своем теле отметины от его кинжальных ударов, да и сам он не раз был ранен в кровавых уличных стычках

с другими. Иного на его месте давно упрятали бы за решетку или загнали бы туда, куда ворон костей не заносит. Но каждый раз, когда его арестовывали, он выходил сухим из воды: дружеские связи уважаемого старшего брата, влиятельного члена городской Думы, и его щедрые пижкеша-подарки помогали Обою избежать наказания, выйти на свободу.

Но Ошир Тряпичный Котелок делал все это не из любви к нему, своему единственному брату, дикие выходки которого осточертели ему до смерти и кроме того стоили ему не только многих хлопот и больших затрат, но и немалого беспокойства и душевного волнения. Он спасал его каждый раз потому, что скандальные истории этого сумасброда очень быстро становились известны всем в городе, прямо или косвенно бросали тень и на их семью, на самого Ошира Тряпичного Котелка, как на старшего брата, который дорожил своей репутацией человека солидного, благородного, добрым мнением людей, среди которых он вращался, не меньше, чем своим достоянием и благополучием. И конечно же, не меньше он дорожил и своим покоем, не только из-за себялюбия и эгоизма, которых, однако, не был лишен, а из-за своего шаткого здоровья. Если бы брата за его непростительные проступки надолго засадили бы в тюрьму или сослали в Сибирь, то ему пришлось бы против своей воли обременять себя заботами о его детях — своих племянниках и племянницах, которые один за другим спешили появиться на божий свет. Такая в целом неутешительная перспектива представлялась ему куда тяжелее и мрачнее, чем с помощью своих связей и тугого кошелька спасать неупутевого брата.

Но в отличие от самого Ошира Тряпичного Котелка Обою любил своего брата слепой и преданной любовью. Как принято в татских семьях, где младшие с самого раннего возраста воспитываются в духе почитания и преклонения перед старшим братом, Обою клялся жизнью, именем своего брата, которого он боготворил и считал самым дорогим ему на свете человеком. Ради него он, не задумываясь над последствиями, готов был в огонь и в воду, подвергнуть себя любым испытаниям и опасностям, если бы даже это стоило ему жизни. Однажды он только за то, что один из его земляков, такой же сумасброд и скандалист, как он сам, посмел оскорбить на улице Ошира Тряпичного Котелка, придя в

страшный гнев, отхватил ему кинжалом левую руку. А тот, здоровой рукой, пытаясь рассечь ему голову, промахнулся и угодил лезвием кинжала Обою в лицо.

Хотя шрам, оставшийся ему на память на всю жизнь после этой драки, портил, уродовал его лицо, Обой несколько не жалел о своем поступке, не расстраивался. Он даже в душе гордился им, своим шрамом, как все равно солдат своим почетным рубцом на теле — следом полученной раны в бою.

Но все это было в прошлом, хотя и в недалеком, но все же в прошлом. С годами его бывшее чувство к брату перетерпело большие изменения. Обой видя, что у Ошира Тряпичного Котелка, в отличие от него, нет детей, и зная о его тяжелом недуге, с течением времени привык видеть себя и считать единственным наследником своего единственного брата. Эта мысль настолько прочно укоренилась в его сознании, что Обой в душе уже не желал брату, чтобы он когда-нибудь испытал счастье отцовства. Поэтому, когда он женился на дочери халвачи, Обой не находил себе места, кипел от злости и негодования. После этого он совершенно перестал видеться с братом, разговаривать с ним.

Об истинной причине своего недовольства и возмущения братом он открыто не высказывался никому, тем более ему. Свое негодование он объяснял тем, что Ошир Тряпичный Котелок, женившись на безродной девушке, не только уронил себя в глазах родных и близких, но оскорбил этим честь их знатного рода, да еще вдобавок дал какому-то «вонючему халвачи» одурачить себя, заплатив за его «презренную дочь» тысячу рублей золотыми монетами, которые в мыслях Обою, конечно, считал тоже своими, как и все состояние брата.

Правда, ненавидя свою юную невестку, как кровного врага, и посылая на голову старшего брата тысячу бед и напастей из-за того, что он женился на ней, единственно чего он не желал все же ему — это смерти: сохранившаяся еще где-то в уголке его души какая-та искра прежнего чувства к брату не позволяла ему желать этого. Но как бы там ни было, истинная подоплека недовольства Обою была вовсе не уязвленная гордость кичливого богача, а боязнь: как бы юная, цветущая дочь Худодота не подарила мужу сына и не лишила этим Обою права на наследство. Но внезапная кончина Ошира Тряпичного Котелка, так и не ставшего, к несказанному удовлетво-

рению и тайной радости Обоя, отцом, разом развеяла его опасения и тревоги.

С первого же дня после смерти брата Обой, вступив в свои права, взял на себя роль безраздельного хозяина в его доме. Он лично договаривался с подрядчиком, который по его указанию нанимал и увольнял батраков, работавших на виноградниках покойного Ошира Тряпичного Котелка, отдавал необходимые распоряжения по дому, хозяйству.

Иногда Обой, заходя в комнату, где собирались женщины в эти дни траура, садился в углу и оттуда все время беззастенчиво пялил свои бычьи глаза на вдову брата. Траурная одежда, выражение глубокой скорби и нежная бледность на лице, задумчивый и печальный взгляд придавали всему ее облику трогательный вид. И Обой, несмотря на свою дикую, грубую натуру, понимавший толк в женщинах, находил ее очаровательно красивой.

Обой, хотя и не отличался особой добродетелью, но еще две-три недели назад, когда был жив Ошир Тряпичный Котелок, даже в мыслях своих не допустил бы, что жена брата нравится ему как женщина. И при всей своей враждебности к ней и недовольстве братом, найдись такой безумец, который позволил бы себе чем-либо, хоть словом, оскорбить женскую стыдливость или честь его невестки, тому бы совсем несдобровать. Обой, если бы и не снес ему голову, но в любом случае основательно пересчитал бы ему все кости. Этого требовали от него, независимо от отношения к брату и его жене, его мужской намус, обычай. Но теперь после смерти брата все обстояло совсем иначе. Согласно опять-таки обычаю, установленному предками, если умирает мужчина, не оставив после себя сына, его здравствующий брат становится не только законным наследником и владельцем всего имущества покойного, но и законным мужем его жены. И она не имеет права уходить от него, выйти замуж за другого человека.

Правда, приличие и уважение к памяти покойного требовали, чтобы, пока в доме траур, деверь не только не помышлял о какой-либо близости с его вдовой, но даже чем-нибудь не обнаруживал бы своего желания и чувства к ней. Но Обой, который еще недавно не прощал больному и несчастному брату того, что он якобы оскорбил

честь их рода, женившись на девушке «черной кости», теперь, не стесняясь присутствия посторонних женщин, самодовольно поглаживая свои колючие усы, бросал на нее нетерпеливые вожделенные взгляды. Он теперь не только не презирал, не ненавидел ее, наоборот, казалось, лучшей женщины себе и не желал. Еще не так давно одна только мысль о том, что она может родить ребенка, бросала его в бессильную ярость или повергала в уныние. Будучи по природе своей чадолюбивым, отцом семерых детей, он теперь был не прочь в скором времени, бог даст, иметь ребенка от этой красавицы.

Под неотступным жадным и беззастенчивым взглядом деверя бедная вдова все время ежилась, как кролик под гипнотизирующим взглядом удава, то бледнея, то краснея от смущения и страха. Она страшно боялась этого человека и всей душой ненавидела его.

Будущий муж Марал к тому же был двоеженцем. Вступая с ним в невольный брак, она должна была кроме всего прочего мириться с унижительным, неравноправным положением младшей соперницы, быть у его жен в подчинении, молча сносить всевозможные обиды и притеснения от них. Сам Обой, правда, несмотря на свой дикий нрав и сумасбродство, по отношению к своим женам вел себя покладисто, даже нежно, насколько он был на это способен: не бил, не тиранил, как иные мужчины своих жен. И жены любили его. Каждая из них, соперничая с другой, старалась больше угодить ему, целиком завоевать его любовь и симпатию.

Марал знала об этом. Поэтому ей невольно приходило на ум, что Обой, пожив с ней, рано или поздно под влиянием своих жен даст ей развод. И она будет вынуждена уйти, не имея права претендовать ни на что из наследства покойного мужа. И уходить-то ей, собственно, теперь было некуда. Мать ее умерла, когда она была еще совсем ребенком, а отца теперь тоже не было в живых.

Не впрок пошло бедному халвачи полученное им за красавицу-дочь от богача-зятя золото. Три месяца спустя после свадьбы дочери, однажды рано утром его нашли повешенным на одной из потолочных жердей в собственной кондитерской. Говорили, что какие-то грабители, узнав о том, что у старого, больного и беззащитного халвачи завелись деньги, проникли ночью в его кондитерскую и повесили. Но по городу ходили и другие

слухи, о которых знала и Марал: будто ее отца убил никто иной, а ее деверь — Обой. Поводом для таких слухов, очевидно, послужил следующий случай.

Как-то раз, вскоре после женитьбы брата на дочери халвачи, Обой, распаленный гневом против него, разъяренный тигром ворвался в кондитерскую. На виду у посетителей он обрушил на голову ошеломленного и на смерть перепуганного Худодота поток угроз и проклятий, обзывая его «низким холопом», «грязным сводником», ради выгоды толкнувшим свою смазливую дочь в объятия его «больного и слабохарактерного» брата. И люди видели, как Худодот, у которого от страха, стыда и возмущения дрожали руки и голос, слезно клялся и божился Обою в том, что он до того дня, как сам Ошир Тряпичный Котелок не пришел к нему, чтобы просить руки его дочери, нигде и никогда с ним не разговаривал. Да и о чем, собственно, было ему говорить с таким важным господином, как его брат, а теперь божьей милостью его зятем? И что он хоть и беден, но честью своей дорожил всегда не меньше, чем иные кичливые богатые и знатные. Никогда и ни за что никому из мужчин сам он не предложил бы свою дочь замуж, унизив себя этим, если бы даже это сулило ему шахскую казну или от этого зависели бы его жизнь или смерть.

Но возбужденный Обой мало слушал халвачи и, покидая его кондитерскую, пригрозил расправиться с ним.

Марал, зная характер своего деверя, его недовольство и возмущение братом за то, что он женился на ней, больше верила этим слухам. Поэтому, кроме личной неприязни к этому противному ей человеку, она ненавидела его и как своего кровника, убийцу ее отца, хотя справедливости ради надо сказать, что к убийству халвачи Обой был совершенно не причастен.

Но размышляя сейчас над своим бедственным тревожным положением, Марал не знала, как ей быть, что предпринять. Мысли одна горестнее и тягостнее другой терзали ее ум и душу. «Мало того, что отец умер такой жестокой смертью и его душа неотомщенная блуждает по свету, не находя покоя¹⁰, — с ужасом думала про

¹⁰ По поверью, пока кто-нибудь из родственников убитого не отомстит убийце или одному из его близких родственников, душа умершего не будет знать покоя.

себя Марал, — да еще я, дочь его, его кровь и плоть, должна спать в объятиях его убийцы...»

Марал верила в то, что если она даже против своей воли станет женой Обоя, то тень покойного отца будет вечно преследовать ее, немой укором стоять перед ее глазами, проклинать тот день и тот час, когда она появилась на свет на его погибель и позор.

И молодая вдова, привыкшая за эти два года к сытой и беспечной жизни, готова была претерпеть любые лишения и страдания, лишь бы не стать супругой своего кровника.

Но видя, какими плотоядными глазами смотрит на нее деверь, приводя в смущение и вгоняя в краску даже посторонних женщин, которые приходят к ней в эти дни траура и которые с осуждением и насмешкой шепотом говорят об этом друг другу, Марал с тревогой в душе думала о том, что он, видно, ни за что не согласится дать ей развод, по крайней мере на ближайшее время, пока не поживет с ней, как с женой. А право на развод признается только за мужем — хозяином. Недаром же покойный отец, отправляя ее в дом мужа в свадебную ночь, напутствовал словами: «Войдешь, дочь моя, в дом своего мужа в этом венчальном платье и выйдешь оттуда только в погребальном саване». И Марал только сейчас, когда на нее свалилась такая страшная неотвратимая беда, стала понимать по-настоящему весь трагический смысл этих суровых и жестоких слов.

Не привыкла Марал да и не умела что-либо решать за себя сама, самостоятельно. Когда она была девушкой, за нее все думал и решал отец, после свадьбы — муж. И теперь она не знала, как ей, слабой, беззащитной, неопытной и одинокой женщине выйти из этого проклятого заколдованного круга, что ей делать.

За эти дни траура Марал заметно похудела, спала с лица и тела, чувствовала себя совершенно разбитой и больной не столько уже из-за постигшего ее тяжкого горя — смерти мужа, сколько из-за тревоги и непреодолимого страха, что станет женой ненавистного ей человека. Если Обой с радостным нетерпением ждал конца траура, когда он сможет держать в своих объятиях эту хрупкую и прелестную женщину, преследуя ее чуть ли не на каждом шагу наглым, похотливым взглядом своих бычьих глаз, то она пряча от него испуганные глаза, молила в душе бога, чтобы он, если ничего другого

для нее не хочет делать, то явил бы чудо — продлил бы до бесконечности этот траур.

Но поскольку бог чуда не проявил и сороковой день — конец траура независимо от желания обоих наступил в свой обычный естественный срок, Марал или должна была покориться своей участи или же на что-то решиться. А на что — сама она не знала, хотя все эти дни траура день и ночь думала только об этом. И все ее думы, усилия найти какой-то выход из положения, в котором она оказалась, точно наталкивались на неприступную стену, неотступно и грозно встававшую на ее пути, и которую невозможно одолеть.

На сорок первый день молодая вдова, подстегнутая отчаянием, придавшим ей силу и решимость, не дожидаясь, пока Обой войдет к ней на правах ее законного мужа, сама предстала перед ним. Хотя Обой не ожидал этого шага с ее стороны, но и не очень удивился этому. «Куда же деваться ей, бедняге! — с довольной ухмылкой подумал он про себя. — Даже зверь, на что так боится человека, бежит от него, как от огня, и то, когда грозит ему смертельная опасность от наводнения ли, пожара ли, чувствуя безысходность своего положения, подавляя страх, невольно ищет у него защиты, жметя ближе к нему, а тем более она, молодая, слабая и неопытная двадцатилетняя женщина, у которой нет ни родителей, никого и ничего за душой...»

На какое-то мгновение в душе Обоя появилось даже нечто похожее на жалость к ней и желание погладить по голове, как маленькую, приласкать. Но он сдержал этот порыв, также и другое свое желание, куда сильнее, чем первое — немедленно схватить ее в свои объятия. Он ждал, пока сама она кинется ему на шею, как своему единственному защитнику и спасителю и признается ему в этом. И он, Обой, со снисходительным великодушием примет эту вполне понятную и заслуженную дань.

И Обой в ожидании этого, растянув рот в широкой улыбке и прищурив левый глаз с рассеченным нижним красным веком, привычно поглаживая пышный ус, молча разглядывал ее лицо, по-девичьи стройную фигуру, неподвижно застывшую перед ним. Обой в эту минуту искренно верил, что ей с ним будет не хуже, а даже лучше, чем с его покойным братом. Он хотя был еще не старый, но больной, холодный и скучный человек. Какой из него,

с позволения сказать, муж для такой молодой женщины, у которой самое время, когда играет кровь?..

Бесцеремонно разглядывая ее сейчас, Обой уже не жалел, что покойный брат ухлопал за нее тысячу золотых монет в виде выкупа. Они теперь, эти золотые монеты, вернулись к нему, его единственному наследнику, в образе этой юной прелестной женщины. И эта мысль примиряла его с памятью покойного, тем более Обой по натуре не был жадным. Эта была в нем, пожалуй, единственная черта, схожая с покойным братом.

Молчала и Марал, низко опустив голову. Хотя она внешне держалась спокойно, но руки, то и дело теребившие друг друга, напряженное дыхание, от которого часто вздымалась грудь, выдавали ее волнение, которое, видно, мешало ей говорить.

— Ну, чего ты молчишь? — с развязной улыбкой произнес Обой, которого уже начало разбирать нетерпение.

— Дай мне развод! — вскинув голову, произнесла она вдруг дрогнувшим, но твердым голосом, с трудом сдерживая подступившие к горлу слезы.

Задыхаясь от волнения и ненависти к нему, она в категорической форме заявила: если он не даст ей развода, она обольется керосином и превратит себя в горящий факел на виду у всего города.

То, что Обой услышал от нее сейчас, настолько для него было неожиданным и настолько расходилось с тем, о чем он только размышлял, что Обой, которого не так-то было легко смутить, уstrasшить, сразу оторопел, растерялся. По выражению лица, голоса этой обычно тихой и безответной молодой женщины Обой понял, почувствовал, что это не пустая угроза и что она и впрямь может это сделать. Случаи самосожжения были нередки среди молодых женщин, доведенных до крайней степени отчаяния. У многих из них жизнь в доме нелюбимого мужа, где царили чрезмерно суровые патриархальные обычаи и традиции, под неограниченной властью капризной и своевольной свекрови, была не лучше, чем у невольницы.

Хотя власти проявляли полную «лояльность, понимание и уважение» к обычаям и обрядам местного населения, как бы они дики и чудовищны ни были в ряде случаев, но демонстративное самосожжение на виду у всех молодой красавицы, вдовы известного в городе богача и влиятельного члена городской Думы, могло обратить

на себя их внимание, иметь для Обоя неприятные последствия. Тем более в городе еще продолжали ходить слухи о том, что невинная кровь халвачи лежит на нем, Обое. В случае ее гибели ему, Обою, могли припомнить и его прошлые, еще не совсем и не всеми забытые грехи. Тем более теперь спасти его было некому.

И Обой, который не отличался ни благоразумием, ни дальновидностью, все же столкнувшись с отчаянной решимостью и упорным сопротивлением Марал, с сердечным сокрушением был вынужден уступить, решив, не доводить дело до греха, «выпустить пичужку из клетки» — дать ей талог — развод.

Но если для мужа дать жене «талог» было так же просто, как выпить стакан воды: написал ей письмо о том, что он ее «увольняет, разлучает, прогоняет» — как будто речь шла не о женщине, которую, может, он еще совсем недавно любил, ласкал, говорил ей хорошие, приятные слова, с которой делил и радость и печаль, которая была матерью его детей, а о бесправной рабыне и домашней служанке, — подкинул его ей или передал через другого — и делу конец, то развод с вдовой брата выглядел совсем иначе. Он был сопряжен с выполнением нелепого, но довольно сложного и унижительного обряда, который почти всегда кончался печальным исходом для нее.

И вот на следующий день Обой, устрешенный угрозой Марал, сам привел пятерых пожилых мужчин, чтобы совершить положенный обряд.

Было начало июля. Стояла жаркая и душная погода. Под палящими лучами солнца уже выгорели травы на склонах джалганских гор, поднимающихся над городом и издали напоминавших рыжие горбы гигантских верблюдов, с медлительной важностью шествующих друг за другом по бесконечному караванному пути, а квадратные островки пшеничных и ячменных полей на их склонах совершенно пожелтели и ожидали появления жнецов.

В середине обширного двора, обнесенного кругом высоким глухим каменным забором, точно крепостной стеной, у колодца, в прохладной тени раскидистого тутовника был разостлан большой разноцветный ковер, на котором заранее были разложены мягкие подушки. Старики со строгими и важными лицами, исполненные сознанием своей «высокой миссии», степенно поглаживая

седые бороды, чинно восседали на подушках, по-домашнему скрестив под собой ноги. Все они были одеты, несмотря на знойную погоду, в темные бешметы, застегнутые на все крючки, в теплые бараньи папахи, под которыми, казалось, при такой жаре могли расплавиться мозги. Но вид у них у всех был довольный и невозмутимый, не было даже и признака того, что они чувствуют себя сколько-нибудь неудобно и стесненно.

Обою и Марал приказали встать рядом на краю ковра лицом к старейшинам. По знаку одного из них, по-видимому, наиболее разбирающегося в тонкостях обряда, служка нумаза¹ — худой, тщедушный человек с длинными журавлиными ногами и тонкой длинной шеей, похожей на голую шею общипанного гуся, принес специальный сапог, окрашенный сажей и поставил у ног Обою. Сапог был сшит из пергаментной кожи, с разрезанным спереди длинным голенищем и с прикрепленными к нему кожаными пуговками и множеством тоненьких ремешков, расположенных в каком-то хаотическом беспорядке. Служка, опустившись на колени, снял с правой ноги Обою сапог, обул ее в пергаментный, наглухо застегнул все пуговки, завязал все ремешки и скромно отошел в сторону. Затем тот же старик, который был за старшего, окинув сумрачным взглядом молодую вдову, которая со смущенным видом стояла по правую сторону Обою, потупив глаза, обращаясь к ней, сказал тихим, бесстрастным тоном, как будто говорил о чем-то обыденном:

— Теперь, дочь моя, встань сама на колени перед твоим деверем и правой рукой, не марая ее сажей, сними сапог с ноги его. Если на то будет божья воля и ты сможешь по правилам обряда выполнить то, что мы сейчас тебе сказали, ты — свободна, можешь выйти замуж за кого пожелаешь или остаться верной памяти твоего покойного мужа. Но если ты не справишься с этим, тогда ты или должна остаться вечной вдовой: тебя никто не должен брать в жены и ты сама не имеешь права выйти замуж за другого, стать женой, матерью, или ты должна быть женой своего деверя и матерью его детей.

Жестокие правила мрачного обряда, о которых Марал по-настоящему узнала только сейчас, непосредствен-

¹ Нумаз — молитвенный дом.

но столкнувшись с ними, испугали ее. Но, покоряясь неизбежности, она с трудом подавив волнение, молча опустилась на колени, отдавая себя на волю судьбы. Первые три верхних ремешка ей удалось развязать сравнительно легко, почти без затруднения, и не марая руку. Это несколько приободрило ее, сообщив ее действиям некоторую уверенность. Но неожиданно на четвертом и пятом ремешках она споткнулась, запуталась. Тревога и беспокойство тотчас же с новой силой охватили ее сердце. Но не теряя еще надежды, она, оставив пока эти ремешки, поспешно принялась за другие, но безуспешно. Некоторые из них так спутались и переплелись между собой, точно клубок сцепившихся ядовитых червей, распутывать которые было также нелегко, как голыми руками забивать гвоздь в каменную стену.

Сильно осунувшееся бледное лицо Марал от напряжения и волнения стало красным, пунцовым и горело, словно она возилась у огнедышащей печи, а сердце бешено колотилось в груди. Пот горячими, обжигающими струями, стекал по ее пылающим щекам, заливал глаза.

Старики молча и выжидательно следили за каждым движением молодой вдовы. Она все время чувствовала на себе их неотступные пристальные взгляды и от этого еще больше волновалась, терялась, но изо всех сил старалась распутывать эти проклятые ремешки, от которых зависела сейчас ее судьба. Но чем больше она старалась, тем сильнее охватывало ее отчаяние и тревожное горькое чувство безнадежности. Перед глазами ее все расплывалось, и вместо злополучного сапога, она видела перед собой какой-то черный предмет невиданной величины, внушающий ей непреодолимый страх и ужас и заслонивший от нее весь белый свет с ярким солнцем, синим небом и все, что есть под ним живое и неживое.

Поняв, что все ее усилия напрасны, Марал, наконец обессиленная напряженной, но бесплодной борьбой, с убитым видом оторвала руки от этого дьявольского изобретения, медленно, в изнеможении откинулась назад. Потом она, низко опустив голову, закрыла ладонями лицо, боясь встретиться глазами со своим ненавистным деверем, взглянуть на мир, который представлялся ей сейчас одним большим Обоем с огромным черным сапогом, готовым наступить ей на грудь и безжалостно раздавить ее. Сраженная всем случившимся, молодая женщина, так и не отрывая ладони от мокрого, горящего ли-

ца, стараясь сдержать рыдание, душившее ее и от которого судорожно вздымалась ее грудь, уронила голову на землю, сотрясаясь всем телом.

Старики, решив, что они выполнили свою богоугодную миссию, ради которой пришли сюда, что их дальнейшее присутствие здесь уже ни к чему, молитвенно воздев лицо и руки к небу, в один голос возблагодарили бога. Затем они, тяжело поднявшись с мягких подушек и на ходу поправляя помятые полы своих бешметов, кряхтя и сонно зевая беззубыми ртами, не спеша засеменили к воротам. Следом за ними, выдерживая почтительную дистанцию, держа в руке черный сапог, путающейся походкой последовал тщедушный длинноногий служка.

Обой стоял в нерешительности возле безутешно рыдающей Марал, задумчиво теребя черный ус. Он, конечно, был доволен в душе таким благоприятным для него исходом дела. Теперь, когда Марал по рукам и ногам связана, судьба ее всецело находилась в его руках. Но все же на сердце Обоя было беспокойно, и это омрачало его радость. Он боялся, как бы Марал с отчаяния не сделала с собой что-нибудь, не осуществила свою угрозу.

Обувшись на скорую руку, Обой еще минуту потоптался около Марал, не решаясь ничего сказать ей ни в свое оправдание, ни в утешение ей. Он понимал, что все это сейчас не только не нужно и бесполезно, но и рискованно, может только еще больше расстроить ее, усилить ее отчаяние. Это — все равно, что лишний раз напоминать ей в такой явно неподходящий для этого момент о том, что у нее, как ни вертись, нет иного пути, иного выхода, как смириться со своим положением его, Обоя, третьей жены. Он поэтому ничего не сказал ей, пошел искать слугу своего покойного брата.

Обой застал его в конюшне. Это был юноша лет семнадцати, хмурый, молчаливый, с большими натруженными руками, со следами давно перенесенной оспы на смуглом скуластом лице. Большие темно-карие глаза его смотрели на мир всегда хмуро, сонно и жалобно. И он производил впечатление человека, которого к его большому неудовольствию, в самый разгар крепкого сна разбудили, не дав выспаться, прийти в себя. Притом, слуга был малый с большими странностями. Он ни с кем не общался. Общество посторонних людей тяготило его, был безразличен ко всему, что происходило вокруг. Он чувствовал себя свободно, как говорится, в своей тарел-

ке, только оставаясь один, наедине с собой или с лошадьми, за которыми присматривал. И почти все свое свободное время он или крутился возле лошадей, или же, зарывшись лицом в ворох сена, беспробудно спал. Даже сейчас, когда у него под боком во дворе разыгралась такая драма, он ничего не видел, ничего не слышал, спал безмятежным сном. Сон его, видно, был настолько крепким, что Обою пришлось поднять его лишь с помощью чувствительных пинков.

— Вот что, Бобои, — проговорил строго Обой, с брезгливой гримасой оглядывая его распухшее от долгого сна рябоватое лицо с жалобно и сонно моргающими глазами и нескладную, слегка сутулую фигуру в помятой, прованявшей навозом одежде, густо облепленной солсмой. — Твоя хозяйка нездорова. Недели две-три, пока она не поправится, не придет в себя, меня не будет здесь. Если ей вдруг станет плохо или с ней что-нибудь случится, беги сразу ко мне, одна нога здесь, другая там!

Сказав это, Обой заставил себя улыбнуться, и поскольку настроение у него сейчас, несмотря на смутную тревогу, вызванную душевным состоянием Марал, было приподнятое, веселое, он, покровительственно похлопав слугу по широкой спине, дал ему на прощанье новенькую хрустящую рублевую бумажку «на халву».

Бобои после ухода Обою постоял минуты две точно оглушенный, с выражением крайнего недоумения на лице, тупо разглядывая рублевую бумажку, переворачивая ее из стороны в сторону, силясь вспомнить, что собственно, сказал ему молодой хозяин и отчего он так вдруг расщедрился? Не то спросонья, не то с перепугу, он ничего толком не разобрал из его слов. А догнать сейчас же Обою, пока он еще недалеко, попросить, чтобы тот повторил то, что он сказал ему, робкий слуга, которому тоже был известен крутой нрав и драчливый как у петуха характер Обою, не решился, боясь получить от него новые пинки и подзатыльники. Поэтому, спрятав деньги в папаху, слуга, улыбнувшись, безразлично махнул рукой, упал на кучу помятого сена и опять погрузился в сон.

* * *

За это время, пока молодая вдова должна была «прийти в себя», то есть волей-неволей смириться с

участью третьей жены Обоя, в мире произошли события, всколыхнувшие весь свет и предрешившие не только судьбы многих тысяч людей, занятых каждый своими повседневными делами, нуждами и заботами, горестями и радостями, но и целых царствующих династий, в течение столетий самовластно распоряжавшихся жизнью и смертью своих подданных — началась война между великими державами, вскоре превратившаяся в первую мировую войну.

В Дербенте, как только стало известно о том, что Германия объявила войну России, по инициативе городских властей и членов местной монархической группы была организована шумная «народная» манифестация. Впереди торжественного шествия в трогательном единении в этот «великий час испытаний» для «судеб родины и трона» вместе с городским главой, членами городской Думы, начальником военного гарнизона и другими официальными лицами шли представители православного, мусульманского и иудейского духовенства и местной знати. В их числе шел, гордо закинув голову, и Обой, ставший теперь после смерти брата одним из самых богатых людей в городе.

Манифестанты дружно направились к главной городской площади, которая находилась перед двухэтажным каменным зданием городского управления и где стояла огромная высокая церковь с голубым куполом, увенчанным позолоченным трехметровым крестом, сверкавшим в ослепительных полуденных солнечных лучах. За официальными представителями местных властей, знати, четко отбивая шаг по гулкой мостовой, шли солдаты с винтовками на плече во главе со своими офицерами, одетыми в парадные мундиры и при всех регалиях. За войском беспорядочной толпой шли служащие государственных учреждений и городские обыватели.

Манифестанты шагали под гром духового оркестра, с портретами царя и наследника, знаменами, транспарантами и лозунгами, то и дело громко выкрикивая угрозы в адрес «немецких разбойников» и патриотические возгласы.

Когда манифестанты достигли площади, перед заполнившей ее толпой и замершими в строю солдатами и офицерами выступили главы всех трех религиозных общин города: православный архиерей, человек богатырского телосложения, с длинной гривой, в черной про-

сторной сутане и блестящим крестом в руке, мусульманский ахунд с короткой, выкрашенной хной бородой, в белоснежной чалме хаджи, совершившего паломничество в священную Мекку и в длиннополом коричневом абае, и иудейский доен — в мягкой каракулевой папахе, шелковом темно-синем бешмете, с густой черной бородой. Они один за другим вознесли молитвы во здравие «божьего помазанника», его «августейшей супруги» и всего царствующего дома, о даровании победы русскому оружию над «немецкими супостатами».

После глав религиозных общин с наспех скролоченной по этому случаю из неструганных досок широкой вместительной трибуны, украшенной спереди большим красочным портретом царя Николая Второго в голубом мундире полковника гвардии, с широкой голубой лентой через плечо, рыжей бородкой, выступили ораторы, главным образом представители богатой верхушки горожан. Не остался в стороне и Обой, который с утра был под мухой. Его бессвязная речь, насыщенная площадной бранью, непристойными словами и угрозами в адрес «немецких свиней» в другое время и в другой обстановке наверняка шокировала бы слушателей из среды почтенной публики, вызвала бы у них брезгливый ужас и негодование. Но присутствующие дамы и господа, сейчас слушая его, снисходительно и одобрительно улыбались, а иные даже аплодировали «темпераментному оратору». А когда не в меру ретивый оратор под воздействием винных паров и собственного «красноречия» все больше распаляясь, с налившимися кровью бычьими глазами внезапно выдернул из ножен свой длинный кинжал и резко взмахнул им в воздухе как бы в подтверждение того, что он завтра же готов отправиться на войну, чтобы, как он выразился, «снести свиньи головы врагов», кто-то в толпе, придя в дикий восторг от его речи и особенно от его «выразительного жеста», нутужным протяжным голосом крикнул «Ур-ра-а!» И многие манифестанты тотчас же подхватили этот возглас. Он многоголосым эхом прокатился над площадью, вспугнув сидевших на кресте над голубым куполом церкви ворон, которые с сердитым тревожным карканьем поспешили покинуть облюбованное ими место.

Но в отличие от государственных служащих, чиновников и богатого сословия, население этого маленького, типично азиатского города, находящегося на далекой

южной окраине обширной Российской империи, несколько не разделяло их воодушевления и воинственного настроения. Подавляющее большинство жителей, придавленное жестокой нуждой, темнотой, вообще не знало где и что творится в мире, что за народ эти немцы, которых так поносят, где они обитают, что народ немецкий и народ русский не поделили между собой, из-за чего, собственно, сыр-бор разгорелся?.. Зато те же бедняки, у которых жизнь и без этого полна тяжких забот и невзгод, хорошо понимали, что война для них — новые жертвы, новые беды, новые налоги, лишения и страдания.

На второй же день войны несколько сот резервистов было мобилизовано в армию¹². Кроме того, в городе в срочном порядке приступили к составлению отряда добровольцев из местного населения для отправки на фронт. Группа учащихся старших классов реального училища, среди которых были активные сторонники большевиков, открыто выступавшие против войны, была арестована, а некоторые преподаватели, поддерживавшие «смутьянов» и «подстрекавшие» их «на бунт» узолены с работы и взяты под строгий надзор полиции.

Были произведены аресты и среди рабочих железнодорожного депо. Здесь, в единственном промышленном предприятии Дербента, трудился сравнительно большой коллектив организованных рабочих, состоявший главным образом из русских. Рабочие в знак протеста против «грабительской войны», развязанной «империалистическими державами», объявили забастовку. Власти, опасаясь распространения их «вредного влияния» на окружающих, всех арестованных объявили мобилизованными в армию и этапом отправили на фронт.

Три дня спустя после памятной манифестации и шумного митинга на городской площади, на котором Обой был одним из «пламенных» ораторов, он верхом на сером иноходце в яблоках тихим, размеренным шагом, точно выступая на параде, въехал во двор своего покойного брата, вернее, теперь его собственный двор. Конь под ним, украшенный расшитой розовой попоной с бахромой, был высокий, стройный, с горящими глазами, пышный хвост которого в конце был завязан в тугой узел.

¹² Таты подлежали мобилизации в царскую армию

Вид у Обоя сейчас был весьма импозантный. На нем была новая с иголки с серебряными газырями на груди элегантная черкеска кремового цвета, красиво облежавшая его высокую ладную фигуру. Вместо обычного кинжала на поясе у него на левом боку висела длинная сабля, а на правом — револьвер в желтой блестящей армейской кабуре. На голове Обоя красовалась лихо заломленная каракулевая папаха, а на прямых плечах — свеженькие вахмистрские погоны — предмет его особенной гордости.

Небрежно и горделиво откинувшись в седле, он левой рукой придерживал повод, а правой, на которой висела плеть, упирался в бок.

Обой и раньше числился вахмистром запаса. Он дважды проходил переподготовку в школе унтер-офицеров в кавалерийских полках сначала при дербентском военном гарнизоне, а затем в городе Темир-Хан-Шуре, где находилась резиденция генерал-губернатора Дагестанской области. После прохождения школы ему было присвоено звание вахмистра запаса. Теперь, видно, он был бесконечно горд тем, что наконец настало время, когда он может щеголять в вахмистрских погонах и в душе лелеял мечту в скором времени в связи с войной сменить их на офицерские.

Марал в это время стояла на веранде, бледная, печальная, горестно сложив руки на груди и опустив глаза. По траурной одежде, которую она до сих пор не снимала, по ее бледному лицу и скорбному виду нетрудно было догадаться, что она еще не оправилась от обрушившихся на нее горя и тяжких испытаний.

Подъехав к дому, Обой натянул на себя повод, остановил лошадь. Не меняя позы, он продолжал еще сидеть в седле, чтобы дать возможность Марал полюбоваться на него, на его погоны, которыми Обой, видимо, хотел ослепить ее. Да и сам он себе казался сейчас великолепным. Сдерживая самодовольную улыбку и играя глазами, Обой исподлобья бросал нетерпеливый, испытующий взгляд на молодую жену, с которой ему, к его большому огорчению, еще не удалось провести ни одной ночи. И новоиспеченный вахмистр, стараясь покрасоваться перед Марал, вызвать ее восхищение им, до того пыжился, напускал на себя важность, то и дело покручивая жесткие усы, что она, несмотря на подавленное удрученное настроение, в котором пребывала, не-

вольно наблюдая за ним, не удержалась от улыбки. И чтобы, не дай бог, не расхохотаться, она больно прикусив нижнюю губу и низко опустив голову, уставилась в пол.

Решив, что дал ей достаточно насмотреться на себя, он легко спрыгнул с коня. Поспешно накинув повод на шею лошади, Обой гордо выпрямившись, придерживая левой рукой эфес сабли, быстро, словно танцуя, торжественный и сияющий, взбежал по невысокой деревянной лестнице. Остановившись перед Марал, Обой, нарочно, точно балуясь, вытянулся в струнку, встав по команде «смирно», и, держа правую руку, на которой висела плеть, у виска, громко, по-военному отрапортовал, точно своему непосредственному начальнику:

— Ваш-ше высокоблагородие! Вахмистр такой-то явился в ваше распоряжение сроком на... час! — И желая объяснить причину столь короткого визита, он, энергично взмахнув рукой над головой и словно сообщая ей о чем-то радостном, значительном и важном, добавил громко, но коротко: — Еду воевать!..

Отправляясь сейчас к Марал, Обой не только надеялся, но почти был уверен в том, что она за этот месяц с лишним, что он не видел ее, наверняка отошла, успокоилась. Иначе и быть не могло. Она даже приятно удивится, увидев его в таком наряде, при погонах. А когда Марал узнает от него, что он едет на фронт, она от неожиданности и испуга даже ахнет, расстроится, заплачет. Хотя она и женщина, но, должно быть, понимает, представляет себе, что война — это не забава, не игра в жмурки. Там на войне на каждом шагу человека подстерегает опасность, он каждый час, каждую минуту может быть убит или изувечен. Чужого и то жалко. А он, как никак муж ей...

И Обой верил, что эта встреча с Марал будет теплой, сердечной и трогательной. И она на прощанье позволит ему заключить ее в свои объятия.

Размышляя об этом, Обой искренне недумевал, почему Марал настаивала на том, чтобы он дал ей развод. Ведь в ее нынешнем положении это не только глупо, но сущее безумие! Конечно, такая юная, красивая женщина, притом одна, без «хвоста» — ребенка не осталась бы долго вдовой. Но кто знает, какой человек был бы ее мужем? А такой, как он муж, богач, состоятельный человек, к тому же еще молодой, полный сил и здо-

ровья, на улице не валяется. Неужели это желание Марал было вызвано ее обидой на него за то, что он сердился на брата за его женитьбу на ней, не разговаривал с ним из-за этого?!

А что Марал помимо всего прочего считала его убийцей ее отца, Обою и в голову не приходило. Обой сам после бурного объяснения с халвачи, когда он разъяренный ворвался к нему в его кондитерскую, понял, что отец девушки был не причем. Да и не такой был его брат человек, которого можно было легко надуть, провести вокруг пальца, тем более такому простаку, как покойный Худодот. А то, что он, Обой, в тот день, с шумом покидая его кондитерскую, пригрозил расправиться с ним, то это сгоряча, в порыве гнева, для отвода души.

Но ни нарядный вид, ни вахмистрские погоны Обою, ни его сообщение о том, что он едет воевать, казалось, не произвели никакого впечатления на Марал. Вопреки ожиданию Обою, она стояла перед ним безучастная, хмурая, скорбная и совершенно безразличная и глядела куда-то мимо него. Это сразу расстроило и сконфузило Обою. Он с огорчением подумал, что за это время после траура по покойному брату в ее чувствах к нему не произошло никаких перемен и что она по-прежнему относится к нему холодно и отчужденно и что все его терпение и старание вызвать к себе ее доверие, уважение и симпатию оказались напрасны.

Веселое, приподнятое настроение, с каким он пришел, предстал перед ней, сменилось горьким разочарованием и досадой. Обой шумно, с обидой вздохнул, молча оглядывая ее застывшую тонкую фигуру, такую близкую и вместе с тем такую далекую от него. После короткого напряженного молчания, он осторожно взяв ее за плечи, заговорил голосом, в котором прозвучали мольба и скрытый упрек:

— Давай, женушка, хоть на прощание побудем немножечко вместе?!

Марал, испугавшись его прикосновения, а еще больше его слов, вздрогнула и мигом отскочила назад. Ее глаза глядели на Обою с каким-то ужасом и отвращением. Но непокорность Марал, ее упорство, тем более сейчас, когда он, ни разу не пожив с ней, как с женой, идет на войну, откуда он неизвестно вернется живым или нет, окончательно вывели Обою из себя. Его густые

широкие брови грозно сдвинулись, бычьи глаза налились кровью, как это обычно бывало с ним, когда он вдруг вспыхивал гневом, а лицо побагровело так, что не стало заметно даже багрового шрама на щеке.

— Я что по-твоему, сделан из дерева или камня?!.. Хватит крутить хвостом! — крикнул он не своим голосом, вращая глазами. — Ты жена мне или кто?!..

Не дав Марал опомниться, Обой тут же схватил ее в охапку, легко, точно перышко, поднял ее в воздух и поспешил с ней в ее спальню. Сердце бедной женщины замерло от страха и провалилось куда-то, по всему телу прошла дрожь, и она, забившись в его руках, точно птица в когтях коршуна, закричала изо всех сил:

— Пусти меня!.. Пусти меня! Я ненавижу тебя!.. Пусти-и-и!..

Но Обой, распаленный животной страстью и разгневанный ее непокорностью и упрямым нежеланием близости с ним, своим законным мужем даже сейчас, в такой момент, сгоряча наступая ногами на свисавшие длинные косы Марал, концы которых волочились по полу, не обращал внимания на ее истошные крики и слезы.

Вдруг Марал внезапно умолкла, тело ее обмякло, руки и ноги беспомощно свесились, а глаза закатились, как у мертвой. Обой, хотя и догадался, что с ней случился обморок, все равно испугался не на шутку, как бы она и впрямь вдруг не испустила дух, если он сейчас же не оставит ее в покое. Обой, все еще кипя от злости, поднес Марал к ее кровати и как какой-то неодушевленный предмет с сердцем швырнув ее, бесчувственную, на постель, тут же, не оглядываясь, заспешил во двор. Подойдя к лошади, мирно дожидавшейся своего хозяина, Обой, не касаясь ногой стремени, ловко прыгнул в седло и, резко взмахнув плетью, словно желая сорвать на ней сердце, с силой огрел ею животное. Конь от неожиданного удара и боли весь вострепнулся. Он с громким возмущенным протестующим ржанием сразу встал на дыбы, сильно мотая головой, едва не скинул хозяина со своей спины. Затем, резко опустив на землю передние ноги, сорвался с места в галоп, промчавшись через настежь открытые ворота на улицу.

Когда Марал пришла в сознание, солнце смотрело в окно и заливало комнату ярким розовым светом, от которого находящиеся в ней предметы, казалось, принимали какой-то неестественный волшебный блеск. Она

сначала очень удивилась и никак не могла сообразить: каким образом она оказалась здесь, на кровати? Почему она лежит, когда на дворе день и светит солнце, что с ней произошло?.. Но прошло несколько минут, прежде чем у нее понемногу начало проясняться в голове. И она медленно, с трудом, словно сквозь какой-то теплый, липкий и одуряющий туман, нагоняющий вялость и сонливость, начала восстанавливать в памяти то, что произошло с ней только что, может всего четверть часа тому назад.

Хотя она чувствовала чрезмерную слабость и неимоверную усталость во всем теле, словно налитом свинцом, а перед глазами все качалось и плыло, Марал через силу заставила себя подняться. Ступая осторожно, неуверенно, точно по мокрой скользкой тропе, чтобы не упасть, она прошлась так несколько раз по комнате взад-вперед. Затем остановившись возле кровати, подняла глаза, полные печали и боли, на портрет мужа в позолоченной раме, висевшей на стене. С портрета муж смотрел на нее своими умными, спокойными и немного грустными, всепонимающими глазами, какими она запомнила их навсегда. Сердце Марал внезапно дрогнуло и закипело слезами, как котел на сильном огне.

— Ошир, дорогой мой, свет моих очей, если бы ты знал, как тяжело мне, как я страдаю!.. — принялась она горько жаловаться на свою судьбу. — Почему ты оставил меня, сироту несчастную? Почему я не умерла вместе с тобой в ту роковую ночь, когда тебя не стало, Азраил унес твою душу? Что мне делать, как мне жить?..

Слезы, частым дождем хлынувшие из глаз, душили ее, мешали говорить, а говорить ему, единственному близкому и родному, надо было непременно. Ведь за это тяжелое время после его смерти столько наболело, накипело у нее на сердце, что, если не говорить, не излить перед ним душу, она не выдержит, разорвется...

От сильного расстройства у Марал опять голова пошла кругом. И она, не в силах стоять на ногах, тяжело опустилась на пол. Подобрав под себя ноги и не сводя затуманенных мокрых глаз с портрета мужа, она принялась, как это делают наши женщины на похоронах близкого человека, бить себя по груди и коленям, причитать, оплакивая себя, свою горькую участь.

К вечеру Марал почувствовала сильное недомогание. Ее от слабости покачивало и знобило как в лихорадке.

В ушах стоял какой-то неумолчный шум, точно она находилась у быстроводной реки, а к горлу подступала тошнота. Все, что она пережила за последние недели, видно, совсем подточило ее физические и душевные силы. Поэтому она сегодня раньше обычного легла, стараясь как-нибудь уснуть, забыться. Единственным для нее утешением теперь, в связи с отъездом Обоя в армию, было то, что этот ненавистный ей человек, внушающий ей почти суеверный ужас и отвращение и во власть которого ввергла ее немилосердная судьба, нескоро вернется назад, а может, там на войне и оставит свою шальную голову и навсегда исчезнет с ее горизонта.

Вскоре озноб прошел, но он сменился сильным жаром. Бледные, похудевшие щеки Марал покрылись ярким нездоровым румянцем и вся она словно горела в огне. Всю ночь Марал металась в бреду, то неистово кричала, отбиваясь руками и ногами от кого-то, призывая на помощь, то заливалась, точно безумная, громким истеричным хохотом, то горько плакала, сетуя на свою несчастную долю...

Лишь на следующее утро она успокоилась, пришла в себя. Открыв глаза, Марал, сначала как в тумане, в дали, а потом совсем близко и отчетливо увидела перед собой своего слугу Бобои, который сидел на краешке стула у ее постели. Вихрастая, нечесаная голова слуги медленно склонялась набок, веки были опущены, рот широко открыт, точно застыл в зевоте. В правой руке, лежавшей на колене, он держал мокрую тряпку. Его широкое, скуластое с оспинками лицо, было серым, утомленным, видно, он не спал всю ночь.

Марал тихо окликнула слугу. Тот, услышав голос хозяйки, сразу вздрогнул, усиленно заморгал своими жалобными глазами и встряхнул головой, как бы собираясь сбросить с себя сонное оцепенение. Потом он тут же встал и быстро отошел в сторону, нечаянно уронив тряпку на ковер.

— Как ты себя чувствуешь, тетя Марал? — справившись с минутным замешательством, с застенчивой печальной улыбкой спросил он сиплым голосом.

Весь его вид выражал сейчас сострадание и вместе с тем тихую радость: слава богу, хозяйке полегчало.

Хотя хозяйка была старше слуги лишь на два-три года, но из почтения к ней он называл ее «тетя Марал».

— Спасибо, Бобои, спасибо, дорогой, — глубоко тронутая его беспокойством и заботой, тихо и ласково проговорила Марал. — А я, признаться, не знала, что лежу больная.

— Хм, «лежу больная!» — как бы удивляясь ее словам, воскликнул Бобои, грустно усмехаясь и пожав плечами, а потом со свойственным ему наивным прямодушием, добавил с тревогой и горечью в голосе: — А я думал, ты умираешь совсем или сошла с ума — и того хуже!.. Я такого страха натерпелся, хо-хо!..

Но о том, что он не спал всю ночь, все время дежурил возле ее постели, накладывал холодные примочки на ее пылающий лоб, с усилием вливал ей в рот сладкий щербет, чтобы сердце его госпожи «держалось на месте» и прикрывал ее одеялом, которое она то и дело сбрасывала с себя в бредовом забытьи — обо все этом он промолчал, не счел нужным говорить. Он сам едва держался на ногах, но старался не подавать виду.

Бобои, несмотря на то, что был всего лишь слугой, пользовался добрым расположением своего бывшего покойного хозяина и хозяйки. Отношение к нему с их стороны было мягким, снисходительным. Бобои наверняка давно бы умер голодной смертью или окошел где-нибудь под чужим забором в одну из зимних ночей, если бы случай не свел бездомного сироту со своим будущим хозяином.

Четыре года назад однажды ранним весенним утром Ошир Тряпичный Котелок, выходя во двор по надобности, вдруг заметил под навесом, где стоял харек¹³, лежавшего там чужого человека. Подойдя ближе, он еще больше удивился, увидев рядом с ним спокойно дремавшую дворовую собаку, которая, свернувшись калачиком, тихо скулила во сне.

Неизвестный, который забрался в чужой двор, оказался мальчиком-подростком лет тринадцати. Он был страшно худ — кожа да кости, в грязных вонючих лохмотьях, без шапки и обуви. Мальчик спал с широко открытым ртом, запрокинув скуластое лицо в оспинках. Мухи роем кружились над ним, словно над бездыханным телом, облепили рот, закрытые веки, ползли по голым

¹³ Харек — специальное сооружение из жженного кирпича или самана для выпечки хлеба.

покрытым грязью тощим, потрескавшимся подошвам. Он их не чувствовал, спал как убитый.

Ошир Тряпичный Котелок, сердито скосив глаза на собаку, мирно спавшую с мальчиком-бродягой, невольно подумал про себя, что тот, видно, не впервые забирается в его двор ночевать, коли она не только не накидывается на него, а напротив, по-приятельски улеглась рядом с ним.

Пес, почуяв появление хозяина, неохотно и медленно поднялся с места. Разинув рот и потягиваясь, он взвизгнул сонно и жалобно, потом осторожно и виновато покосившись глазом на хозяина и, по его сердитому виду поняв без слов, что ему сейчас попадет от него из-за непрошенного гостя, которого он пустил во двор, сразу дал тягу. Ошир Тряпичный Котелок подошел близко к спящему, молча склонился над ним и резким движением крепко схватил его за руку. Тот, вздрогнув всем телом, сразу проснулся, широко открыл глаза и со страхом посмотрел на него. Поднявшись мигом, мальчик, свободной рукой поправляя штаны, которые у него, видно, плохо держались, сделал отчаянную попытку вырваться из рук Ошира Тряпичного Котелка, чтобы бежать от него без оглядки, но тот еще крепче сжал его руку в своей. Почувствовав, что ему не удастся освободиться, он проникся еще большим страхом, завопил вдруг пронзительно и жалобно, заслоняя рукой лицо в ожидании ударов (наверно, его не раз били за такие дела).

— Дяденька, милый, не бей меня! Я не вор, клянусь богом, я не вор! Я только спать прихожу сюда! Дяденька, не бей! У-у-у!...

Слезные мольбы и отчаянные крики перепуганного мальчика, которому Ошир Тряпичный Котелок и впрямь собирался задать хорошую трепку, чтобы он больше не забирался в его двор, его жалкий и очень несчастный вид, казавшийся воплощением человеческого горя, смутили, тронули богача, вызвали в его душе жалость к нему.

— Не бойся, я тебя бить не буду! Я верю, что ты не вор, не бойся, — с необычным для него волнением принялся он успокаивать плачущего мальчика.

И чтобы он поверил ему, Ошир Тряпичный Котелок выпустил его руку из своей и заставил себя даже улыбнуться, затем подавив безразличие, чуть потрогал

своей мягкой пухлой ладонью его черную, покрытую гнидами взлохмаченную голову. Мальчик, почувствовав себя свободным, не пустился, однако бежать, хотя и продолжал смотреть угрюмым, запуганным взглядом затравленного зверька, одной рукой неловко придерживая падающие штаны, а другой вытирая слезы, которые все еще текли у него из глаз помимо его воли.

— Хочешь, оставайся у меня, плохо тебе не будет, — вдруг великодушно предложил он мальчику, а потом чуть помолчав, спросил: — За лошадьми сможешь присматривать?

Ошир Тряпичный Котелок по примеру некоторых дербентских богачей недавно купил фаэтон, завел пару отличных лошадей, и ему как раз требовался человек, который постоянно находился бы при них.

Как только мальчик, который не успел еще как следует прийти в себя, услышал о лошадях, он моментально оживился, сразу перестал хныкать, а мокрые глаза его неожиданно заблестели весело и озорно.

— За лошадьми?!.. — задохнувшись от радости, воскликнул он, придерживая штаны, которые у него на этот раз чуть было не упали совсем, когда он, забывшись от волнения, взмахнул одновременно обеими руками, услышав такое предложение. — Да я люблю лошадей больше жизни!...

Совершенно забыв о том, что каких-нибудь две-три минуты назад он весь трепетал от страха, как под ножом Азраила¹⁴, перед этим полным и грозным на вид господином, мальчик тут же, с необычной для него живостью, принялся перечислять известных ему горожан, у которых были свои лошади, рассказывать о том, как он за кусок хлеба, а иной раз просто задаром сам добровольно напрашивается к ним убирать за их лошадьми, чистить их, водить купать на море.

Вот так Бобои стал слугой в доме богача Ошира Тряпичного Котелка, совмещая обязанность конюха, кучера, сторожа и домашнего слуги. Для жилья ему отвели место в маленькой пристройке рядом с конюшней.

Мальчик и впрямь оказался большим лошадиником. Он старательно ухаживал за животными, в день по не-

¹⁴ Азраил — ангел смерти. По поверью татов, появляется у постели умирающего с большим острым кривым ножом в руке, видимый только ему, больному.

сколько раз менял под ними подстилки из соломы, чистил их, следил за тем, чтобы кормушка никогда не пустовала. А с весны и до середины осени он каждый день вожил купать лошадей на море. И чтобы они выглядели красивыми, маленький слуга любовно сплетал в косички их тяжелые гривы, расчесывал и распушизал их длинные пышные хвосты, награждал своих любимцев ласкательными прозвищами. А все свободное время он только и делал, что спал без задних ног в углу конюшни, растянувшись на куче сена, под громкий лошадиный храп.

Настоящим праздником бывал для Бобои день, когда он по указанию хозяина запрягал в фаэтон сытых, хорошо ухоженных, чистых, с лоснящейся шерстью лошадей, выезжал с ним и хозяйкой на виноградники или просто разъезжал по городу. Этот обычно апатичный, сонный и нелюдимый парень совершенно преображался на глазах до неузнаваемости, когда он, сидя на козлах, держал в своих руках вожжи и кнут с тонким и длинным кожаным бичом. Надо было видеть, как он от переполнявшей его гордости и радости то и дело нетерпеливо вскакивал с места, громко подзадоривал лошадей своим излюбленным: «Ге-ге-й! Ласточки!..», распевал для них, не стесняясь присутствия хозяина и хозяйки какие-то непонятные и одному ему известные песенки или беспричинно заливался тихим, счастливым смехом. Глаза его в такие минуты совершенно утрачивали свое обычное сонное и жалобное выражение, а нередко смотрели почти дерзко, сияли восторгом.

Хозяин был доволен слугой, тем более, что за его усердную работу ему ничего не приходилось платить, кроме как кормить его со своего стола и позаботиться о его одежде. И ему нравилось держаться по отношению к Бобои покровительственно, считая себя его благодетелем и спасителем. Да и молодая хозяйка, сама выросшая в бедности, лишенная предрассудков и высокомерия, обычно свойственных людям из богатых семей, несмотря на странности слуги относилась к бедному сироте хотя и несколько насмешливо, но благожелательно, без неприязни. Лишь иногда, когда почему-либо Марал сердилась на него, она брезгливо морщила тонкий изящный нос и чтобы поддеть его, с преувеличенным ужасом восклицала, махая на него руками:

— Ф-ф-фи-и! Какой вонючий! Прочь с моих глаз!..

Вот и сейчас, как только он услышал голос своей хозяйки, он тут же вскочил со стула, который стоял у изголовья ее кровати, скромно отошел в сторону, боясь, что ей будет неприятно от того, что он рядом и от него исходит неприятный ей запах конюшни. Марал, поняв это, сама смутилась, невольная виноватая улыбка отразилась на ее бледном болезненном лице.

— На стой так, садись, — указывая глазами на стул, на котором он только что сидел, слабым голосом произнесла она.

— Нет, не сяду, — решительно замотал он головой. — Мои лошади с вечера голодные. Я уже дважды слышал их ржание — зовут меня.

Марал в ответ лишь заметно кивнула головой в знак согласия: говорить у нее не было сейчас ни сил, ни настроения, да и считала, что он прав, ему надо уходить, тем более его помощь ей сейчас не требуется, да и самой ей надо попытаться встать и как-нибудь привести себя в порядок. И Бобои, подняв с пола тряпку, поспешил к выходу.

Оправившись от болезни, Марал первым долгом отвела для Бобои маленькую комнатку, совершенно изолированную от остальных ее комнат, которая помещалась в конце веранды и использовалась ею до этого, как кладовая.

Велев слуге переселиться поближе к себе, она тогда и в мыслях не предполагала того, что произойдет потом между ними и, к несчастью, окончится непоправимой бедой, трагедией для обоих, в особенности для юного, наивного и простодушного слуги. А сейчас она предприняла это прежде всего ради своего спокойствия. Марал хоть и жила в доме, окруженном высоким каменным забором с крепкими железными воротами, но ей, молодой и одинокой женщине было спокойнее, когда рядом находился свой близкий, преданный человек. Кроме того, хозяйка жалела Бобои, особенно после того случая, когда она лежала в горячке, а слуга ни на шаг не отходил от ее постели, волнуясь за ее жизнь и здоровье. Благодарная ему за это, она хотела, чтобы он жил в более-менее человеческих условиях.

Все, что было связано с домом, базаром, по поручению Марал делал слуга, белье стирали, хлеб выпекали для нее специальные женщины, нуждавшиеся в заработке, которым она щедро платила за их труд. А что каса-

ется найма батраков, присмотра за обработкой виноградников, сбора урожая, выделки и продажи вина — все это осуществлял ее подрядчик, человек весьма расторопный и опытный в таких делах, работавший многие годы при ее покойном муже. Сама она время от времени выезжала на виноградники вместе со своим слугой не столько ради дела, сколь для того, чтобы хоть немного развеять тоску, отвлечься от тягостных мыслей, которые не покидали ее, давили на душу.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

рошло около года, как началась война и Обой уехал на фронт. Он редко писал письма своим женам, жившим вместе с детьми под одной крышей. А ей, Марал, за все это время он не послал ни одной весточки, ни слова привет.

С фронта то и дело приходили печальные вести о гибели многих несчастных, и во многих домах с утра и до вечера стоял плач: матери и жены оплакивали своих убитых сыновей и мужей. Марал знала об этом, в душе жалела этих людей, глубоко сочувствовала горю овдовевших жен и осиротевших детей. А то, что Обой жив и невредим — у нее вызывало совсем другое чувство. Днем и ночью она молила бога, чтобы он не вернулся живым с войны, чтобы ей никогда не видеть его. Тогда она станет свободной, полноправной хозяйкой в своем доме, законной наследницей покойного мужа, а главное — сможет по своему усмотрению и желанию устроить свою личную жизнь, выйти замуж по своему выбору. А пока жив Обой — ее «законный муж» — она даже не смеет мечтать об этом. Он как камень преткновения стоял на пути к ее счастью и свободе.

Но того подавленного и удрученного настроения, в котором Марал пребывала первые месяцы после смерти мужа и пережитой ею тяжелой драмы, у нее уже не было. Мало по малу она вошла в колею, обрела волю к жизни, и к ней вернулось ее обычное ровное настроение. Она выглядела сейчас такой же цветущей и очаровательной, какой ее знали при покойном муже: время

и молодость брали свое, делали свое дело. Однако беспокойная мысль о ненавистном девере, невольной пленницей которого она себя чувствовала даже в его отсутствие, неопределенность ее положения время от времени давали о себе знать. Оставшись одна в целом доме, избавленная от жизненных забот и тягот, тяжких и мучительных для многих, особенно в такое суровое время войны, полная молодой энергии, она, несмотря на все это чувствовала себя глубоко несчастной и бесконечно одинокой.

День ото дня, слоняясь без дела из одной безлюдной комнаты в другую, она не знала, куда девать себя, и временами готова была кричать от тоски и отчаяния. Тоска о том, чего она была лишена — о любимом муже, о детях, о тихом семейном счастье, о простых человеческих радостях, составляющих смысл жизни, все сильнее овладевали ее душой и сердцем. Иногда, чтобы отвлечься, забыться от этих волновавших ее мучительных мыслей, она выпивала вина, заводила граммофон, слушая часами песни-мугамы с их за душу хватающими мелодиями. Они, эти песни, словно вырывались из глубины ее страдающего сердца, разрывающегося на части, еще больше бередили ее раны. И Марал в такие минуты, хватаясь за голову и качаясь, точно от нестерпимой боли в груди, плакала навзрыд, заглушая своим плачем песню.

Однажды среди ночи, когда слуга спал крепким сном в своей каморке, его разбудил чей-то стук в дверь. Он, с трудом отгоняя сон, сразу вскочил с постели и, приоткрыв дверь, высунул наружу кудлатую голову. На дворе стояла осень. Ночь была лунная, светлая, тихая, но холодная. Слуга, увидев перед собой хозяйку с низко опущенной головой, очень удивился. Вот уже больше года, как он по ее указанию перебрался сюда, он не помнил ни одного случая, чтобы она хоть раз беспокоила его среди ночи.

— Тетя Марал, что случилось? — почесывая волосатую грудь и с трудом подавляя зевоту, заспанным голосом спросил он, выйдя за дверь.

В ответ хозяйка, странно блестя черными большими лучистыми глазами, молча подошла к нему и порывисто схватила его руку, судорожно сжав ее в своей. Слуга только сейчас обратил внимание на то, что его хозяйка, несмотря на ночную прохладную погоду, стоит совсем

босая, в одной ночной сорочке, слегка пошатываясь, с раскрытой белой грудью и распущенными волосами. При свете полной луны ее лицо, на котором блуждала странная улыбка, казалось еще чище и белее, чем днем, точно мраморное, а глаза глядели на оторопевшего слугу тепло, ласково и призывно.

— Я боюсь одна, иди посиди со мной немного, — едва слышно прошептала она с легкой дрожью в голосе, в котором, однако, ничуть не чувствовалось ни испуга, ни тревоги, ни страха, была нежность, волнение и скрытая мольба.

И не дав Бобои опомниться, Марал, выпустив его руку, тут же обхватила слугу за шею, спрятала свое лицо на его груди, обдавая вконец растерявшегося и ошеломленного Бобои теплым волнующим запахом женского тела, ароматом женских волос, смешанным с острым винным духом.

Конечно, будь слуга хоть сколько-нибудь наблюдательнее и догадливее, он давно заметил бы сам, что когда они садятся вдвоем за стол, большие черные глаза хозяйки, устремленные на него, становятся очень нежными, ласковыми и какими-то жалобными, как и интонации ее голоса, что она нет-нет да и коснется «невзначай» его плеча своей по-девичьи упругой грудью или, потянувшись зачем-либо через стол, заденет горячей шелковистой щекой его уже зарастающую темной жесткой шерстью щеку. Но все эти «случайные прикосновения», немые, но красноречивые объяснения ее томных глаз, голос, который при разговоре с ним временами становился необыкновенно теплым, нежным и взволнованным, не вызывали никакого отклика в его душе. Он на самом деле не замечал их, не чувствовал, настолько был далек от мысли, что прекрасная хозяйка может желать с ним сближения.

Наутро, когда приятно расслабленный и словно хмельной слуга проснулся в постели своей хозяйки, которая лежала рядом с задумчиво устремленными в потолок широко раскрытыми глазами, он очень удивился, не увидев на стене над кроватью портрета покойного хозяина Ошира Тряпичного Котелка. На том месте, где он висел еще вчера, виднелись только темные разводы.

— Тетя Марал, куда делся портрет дяди Ошира? — с искренним недоумением спросил Бобои.

Марал молча, недовольно покосилась на него. «Боже

ты мой, до чего же глупый!..»—чуть не простонала она, с досадой думая об этом, и тут же сердито повернулась к нему спиной. Кроме того, после всего, что произошло между ними за эту ночь, ей неприятно резало слух и заставляло краснеть то, что он по обыкновению, продолжает называть ее «тетя...»

Тем не менее, не проходило теперь ни одной ночи, которую одинокая хозяйка и одинокий слуга проводили бы врозь. Но мысль о том, что ее связь со слугой, которому она сама навязала свою любовь, в конце-концов может открыться, кидала ее в дрожь, вносила горечь отравы в ее интимные отношения с ним. Она знала, что если, не дай бог, вернется Обой и ему станет известно о ее связи со слугой, то ей не сносить головы. Он, не задумываясь, убьет ее, чтобы смыть свой позор кровью изменницы-жены. И сочувствие всех — она в этом не сомневалась — будет не на ее, а на стороне «обманутого мужа». Да и в глазах земляков Обой перестал бы считаться мужчиной, достойным носить папаху, если он, зная о ее измене, поступил бы иначе. А он и впрямь может вернуться. Вот уже третий год идет война, а он до сих пор жив и невредим, точно заморожен от пули и сабли. А война не может бесконечно продолжаться.

Но в отличие от хозяйки, ограниченный и простодушный слуга был совершенно спокоен и в ус себе не дул. Он был уверен в том, что их совместная тайна, так надежно укрытая от постороннего глаза глухими каменными стенами вокруг их дома, где они обитают только вдвоем, никогда не станет известной другим. Но, как говорится, домашние секреты узнают на базаре. Многие в городе догадывались об истинных отношениях госпожи со своим юным слугой, за глаза сурово осуждали ее за это: муж, мол, день и ночь ходит под пулями, а она, такая-сякая, крутит любовь со слугой. Иногда эти слухи доходили и до Марал. Поэтому однажды, когда соперницы получили письмо от мужа, в котором Обой писал им о том, что был тяжело ранен, но теперь, слава богу, поправился и скоро приедет домой, Марал прониклась таким страхом перед местью Обоя, что сразу же предложила Бобои перебраться обратно в свое старое жилье рядом с конюшней, и после этого стала строго придерживаться с ним прежних отношений доброй хозяйки со своим верным слугой.

Но Обой почему-то тянул с приездом. С тех пор, как он написал последнее письмо, в котором извещал о своем скором приезде, прошло немало и не много около года. За это время в Дербенте уже дважды сменилась власть. Один раз это произошло вскоре после того, как был объявлен царский манифест о том, что он «божьей милостью Николай Второй, самодержец всероссийский, царь польский, курляндский, эстляндский и прочая, и прочая, и прочая...» отрекается от престола.

В Дербенте, как и почти везде в стране, перемена власти выразилась лишь в том, что во всех государственных учреждениях были сняты царские портреты и царские флаги с византийским двуглавым орлом, вывешены «красные флаги революции», а многие чиновники ходили с красным бантом на груди в знак своей поддержки революции, вернее, своей верности Временному правительству. Но в тех же учреждениях сидели на своих местах прежние царские чиновники и служащие, поддерживали и охраняли те же порядки, что и при «царе-батюшке».

Так же, как и при царе, продолжалась война, так же с фронтов продолжали поступать горестные вести о гибели солдат. С каждым днем увеличивалось количество вдов и сирот. Богачи по-прежнему жили богато, а бедняки еще больше страдали от нехватки хлеба, от дороговизны, терпели голод, холод. В положении рядовых людей ничего не изменилось к лучшему. Поэтому смена власти почти никакого отклика и воодушевления среди них в городе не вызвала. Совсем по-иному восприняли те же люди приход в скором времени другой, новой власти.

Несмотря на огромное расстояние, отделяющее этот небольшой восточный город от столицы Российской державы, весть о том, что в Петрограде восставшие рабочие, солдаты, возглавляемые большевиками, Лениным, свергли Временное правительство и установили Советскую власть, в тот же день молнией пронеслась по всему городу. Он гудел, как улей. Никогда еще древние его стены за всю свою многовековую историю не видели у себя такого бурного всенародного ликования и торжества. Всюду проходили стихийные народные манифестации, митинги в поддержку новой власти. Люди при встрече на улице вместо обычного приветствия, под влиянием неудержимого радостного порыва, вызванного вели-

ким всенародным торжеством, отбросив в сторону традиционную восточную степенность, сдержанность, кидались обнимать друг друга: конец ненавистой войне, конец угнетению, конец нищете, конец национальной вражде и розни, все люди—братья!.. У всех на устах было имя Ленина, ставшее самым дорогим для них. С любовью и гордостью они произносили имена активистов и руководителей местных большевиков, которые еще вчера мало кому были известны.

Новая власть в первые же дни своего существования объявила о конфискации имущества всех контрреволюционеров, убежавших из города после провозглашения Советской власти, о национализации винокуренного завода — единственного завода в Дербенте, установила восьмичасовой рабочий день для рабочих, батраков и служащих. Она наложила один миллион рублей контрибуции на крупных виноградарей и торговцев для оказания материальной помощи голодающей городской бедноте, многочисленным вдовам и сиротам, чьи мужья и отцы погибли на фронте, а также для вооружения и содержания красногвардейских отрядов, состоявших из представителей всех национальностей, проживающих в Дербенте: азербайджанцев, татов, лезгин, армян, русских. В близлежащих селениях уполномоченные Советской власти отбирали у беков — местных помещиков-дворян — землю и раздавали ее безземельным крестьянам.

Было объявлено о роспуске монархической группы и других контрреволюционных группировок и организаций. Наконец был услышан возмущенный голос протеста общественности города — позорное заведение мадам с желтым фонарем за Шуринскими воротами было закрыто, а сама она подвергнута аресту и заключена в тюрьму.

Мероприятия большевиков и та смелость, решительность и последовательность, с какими они проводили их в жизнь, вызвали страх и панику среди местных богачей, точно для них наступил День страшного суда. И только вторжение вооруженных до зубов белоказацких войск царского полковника и английского наймита Лазаря Бичерахова в Дербент, которое произошло три месяца спустя после прихода здесь к власти большевиков, вывело их из этого шокового состояния.

Полковник Бичерахов ознаменовал взятие города и

установление в нем своего кровавого режима расстрелом ряда видных руководителей свергнутой Советской власти, схваченных его палачами¹⁵, массовыми пытками и репрессиями ее сторонников.

Многие жители, с энтузиазмом приветствовавшие установление Советской власти в Дербенте, открыто выражавшие свою симпатию и поддержку ей, боясь кровавой мести и расправы бичераховских казачьих наймитов, вынуждены были бежать из родного города. Было и немало таких, которые вообще, не желая жить под казачьим игом, тайно, целыми семьями покидали город, отправляясь навстречу неизвестности.

* * *

Возвращение Обоя на родину совпало с временным падением Советской власти в Дербенте и установлением в нем оккупационного военного режима, опирающегося на местную знать и богатую верхушку горожан.

Еще раньше, после свержения царского правительства, в Дербенте были созданы так называемые мусульманский и татский «национальные комитеты». Хотя они не очень дружелюбно относились друг к другу, но когда приходилось бороться с «большевистской опасностью», то их сердца всегда «бились воедино», по принципу: враг моего врага — мой друг. Распущенные в первый же месяц после провозглашения Советской власти в Дербенте, с приходом Бичерахова комитеты вновь выступили на арену политической жизни города.

Обой, вернувшись на родину, сразу же вступил в «национальный комитет» и очень скоро зарекомендовал себя как один из активных его деятелей. Одновре-

¹⁵ В августе 1918 г. белоказачьи войска полковника Л. Бичерахова, оттеснив малочисленные и плохо вооруженные отряды Красной гвардии с боя взяли Дербент. В революционном штабе Обороны бичераховцами были схвачены Г. Канделаки, А. Эрлих, И. Кобяков, вскоре и И. Беженцев. После трехнедельного пребывания в застенках бичераховской контрразведки и страшных пыток 27 августа 1918 г. они были расстреляны. А. Эрлиху и его близкому другу Г. Канделаки было тогда всего лишь по девятнадцать лет. Немного позже была учинена зверская расправа над К. Агасиевым и Г. Таги-Заде.

менно он устроился на службу при штабе бичераховских войск в Дербенте. С фронта Обой вернулся в звании прапорщика (сбылась-таки его гордая мечта нацепить на плечи офицерские погоны) и с двумя георгиевскими крестами. Новый «главнокомандующий» Бичерахов, учитывая знатность его происхождения и фронтовые заслуги и ту помощь, которую он может оказать, как активный деятель местной антибольшевистской организации его режиму, одним росчерком пера произвел его в поручики.

Сами члены «национального комитета», куда входила группа лиц из представителей местной буржуазии, встретили Обоя с распростертыми объятиями, как очень подходящего и весьма ценного для них человека.

Хотя все они по закону военного времени по возрасту своему подлежали мобилизации в армию, но мало кто из них нюхал пороху. Все годы войны многие из них преспокойно отсиделись дома возле своих жен и детей, жили в свое удовольствие, или служили в тыловых частях далеко от фронта. Обой был, пожалуй, единственный человек среди них, который прошел всю войну почти от начала до конца, храбро сражавшийся «за царя и отечество» и удостоившийся боёвых наград. И то, что сам «нынешний повелитель Кавказа» Бичерахов произвел его, члена их организации, в чин поручика, как бы поднимало его в глазах оккупационных военных властей, чье доверие и уважение они старались заслужить своим «честным сотрудничеством» с ними в борьбе «с общим врагом» — большевизмом.

Первый месяц после возвращения в Дербент Обой ни разу не показался у своей третьей жены. Хотя Марал была бы бесконечно рада и счастлива никогда не видеть его и не слышать о нем, все же то, что за все это время он ни разу не появлялся у нее, внушало ей сильное подозрение и острое беспокойство. В голову лезли разные тревожные мысли. То ей казалось, что Обой, прослышав о ее связях со слугой, затаил месть против нее и готовится расправиться с ней. То она думала, что он, рассердившись на нее за ее прежние «капризы», решил дать ей развод, попросту говоря, выгнать ее, как выгоняют собаку, уже ненужную хозяину. Неизвестность томила Марал, вселяла в сердце тревогу. Воображение рисовало картину одну мрачнее и ужаснее другой. И она чувствовала себя на краю пропасти.

Как-то утром Марал, погруженная в свои думы, с печальным лицом сидела во дворе под тутовым деревом возле колодца на узкой деревянной скамейке, где они часто с покойным мужем любили просиживать часами. Чтобы как-нибудь убить время, отвлечься немного от гнетущих ее мыслей, Марал, как это она делала иногда и раньше, принялась за вязанье.

Была середина сентября, а погода стояла по-летнему жаркая, почти знойная. Из открытых дверей конюшни, где возился Бобои, вместе с ароматом сухого сена и запахом прелого навоза то и дело доносились храп и громкое фырканье лошадей. Расшалившийся пес, подняв хвост трубой, сломя голову гонялся по двору за тревожно кудахчущими курами. В это время калитка в воротах резко хлопнула, и во двор стремительно вошли две женщины. Увидев Марал, они, не сворачивая в сторону, прямо направились к ней, убыстряя шаг. Одна из них, которая шла впереди, была высокая, худощавая и белолицая с черными глазами, тонким, с маленькой горбинкой носом, а другая — ниже среднего роста, полная, пышногрудая и смуглолицая, с томными карими глазами и сочными алыми губами. Она, придерживая руками подол своего широкого цветастого платья, трусила за своей спутницей, с трудом поспевая за ней. То были жены Обоя.

Их появление было совершенно неожиданным для Марал, поскольку они и при жизни Ошира Тряпичного Котелка не особенно жаловали ее, а после его смерти вообще перестали с ней видаться, ненавидя ее за то, что она стала их соперницей.

Как только они стали приближаться, Марал, отложив вязанье в сторону, встала с места и пошла навстречу им, чтобы как младшая приветствовать их, пригласить в дом. Но глядя на их хмурые, возбужденные лица, она сразу насторожилась, почувствовав что-то неладное.

— Да будет к добру ваш приход: случилось что-нибудь? — с недоумением спросила она.

— Не прикидывайся, сука, невинной овечкой, ничего не знающей! — громко крикнула не своим голосом бледнолицая женщина, у которой злобно сверкнули глаза и затрепетали ноздри тонкого носа, как у загнанной лошади. — Скажи, чем ты присушила и околдовала нашего мужа, что он, как приехал, на нас и смотреть не хочет?!..

— Я что ли не знаю своего мужа, — в отличие от соперницы скорее жалобным и обиженным, нежели негодующим тоном произнесла другая жена Обоя. — Раньше он, бывало, как пчела к цветку лип ко мне, а сейчас и пальцем не коснется, словно я—харам¹⁶ какой-то.

Марал онемела. У нее было такое состояние, точно ее неожиданно оглушили сильным ударом по голове. Если бы все то, что они сейчас сказали ей, было бы произнесено не с такой злобой и неподдельной ненавистью, то можно было подумать, что они просто решили подшутить над ней, разыграть ее.

Сердце у нее бешено забилося, а лицо густо залилось краской. Широко раскрытыми глазами она растерянно и беспомощно смотрела то на одну, то на другую соперницу, не зная даже как ответить на их дикие, нелепые обвинения.

— Клянусь сотворившим меня богом, я совсем ни при чем тут, — дрожащим от волнения голосом промолвила она наконец.

— Хе! Так мы тебе и поверили! — криво усмехнулась толстушка. — Ты своими ласками заворожила нашего мужа. Наверно, так умеешь развлекать его, так умеешь, что после тебя, бесстыжей, он от нас нос воротит.

Жены Обоя—еще молодые женщины, которые все эти четыре долгих томительных года день и ночь, переживая и волнуясь за него, ждали своего мужа и, наконец, дождались, были, действительно крайне удивлены и обижены его поведением. Их муж, обычно такой женолюбивый, крепкий и здоровый человек, после возвращения с войны был к ним безразличен, словно перестал видеть в них женщин. И они были уверены в том, что виною всему этому — проклятая дочь халвачи, которая и моложе и красивее их. Поэтому они, оскорбленные в своих чувствах и охваченные жгучей ревностью и ненавистью к сопернице, решили проучить ее как следует.

— Побойтесь бога, зачем вы наговариваете на меня, невинного человека?! — проговорила Марал плачущим голосом, возмущенная и потрясенная их наглым обвинением. — Провалиться мне на этом месте, если я с тех пор, как приехал ваш муж, хоть раз видела его в глаза, и если хотите знать — и видеть не желаю.

¹⁶ Харам — запрещенное, нечистивое.

Соперницы, конечно, не поверили ей, решив, что она просто хитрит, обманывает, и это еще больше распалило их гнев против нее. Бледнолицая коршуном налетела на Марал. Она с яростью сорвала у нее с головы платок, желая унижить ее этим, и тут же, вцепившись цепкими пальцами в ее пышные волосы, принялась с силой тянуть ее за косы. А вторая подбежала к Марал сзади и начала с ожесточением колотить ее по спине и кусать зубами.

Неизвестно, чем кончилась бы эта потасовка разъяренных соперниц, если бы на отчаянные крики Марал вовремя не прибежал слуга. Размахивая плоской навозной деревянной лопатой, Бобои принялся усердно колотить разошедшихся всюю жен Обоя куда попало, пока они, визжа от боли и страха, не оставили свою жертву в покое и не кинулись бежать со всех ног.

Вскоре об этом скандале, разразившемся между женами Обоя, и о причине его возникновения стало известно многим в городе. Дербентцы, ненавидевшие Обоя, как бичераховского прислужника и друга казачьей банды, оккупировавшей и угнетающей их город, пересмеиваясь между собой, со злорадством рассказывали об этом случае друг другу. После разыгравшейся драки между женами Обоя, пошли слухи о том, что шальной осколок немецкой шрапнели, угодивший многоженцу в такое место, о котором не принято говорить вслух, сделал его непригодным к супружеской жизни.

Лишь на пятую неделю приезда в Дербент и неделю спустя после драки между его женами, Обой наконец явился к своей третьей жене. Но пришел не один, а с каким-то русским полковником интендантской службы, пожилым и тучным человеком невысокого роста лет пятидесяти пяти с круглым розовым добродушным лицом и маленькими веселыми хитрыми глазками. Приказом Бичерахова полковник, который до этого служил заместителем начальника тыла при штабе его армии, получил временное назначение в Дербент, чтобы возглавить снабжение войсковых подразделений, расположенных в этом городе, за счет «местных ресурсов».

Обстановка в Дербенте с каждым днем становилась все более напряженной и угрожающей для бичераховских казаков и тех, кто помогал им хозяйничать в оккупированном ими городе. Несмотря на то, что ряд руководителей свергнутой местной Советской власти были казнены, а в самом городе свирепствовал режим тер-

рора и насилия, в нем, однако, не было спокойно. Партизаны, базировавшиеся в близлежащих селениях, время от времени совершали смелые вылазки против бичераховцев, нередко на утро на улицах города находили трупы казаков, убитых ночью «неизвестными лицами».

Из-за грабежа и бесчинств казаков подвоз продовольствия крестьянами из сел в Дербент почти прекратился. Деньги упали в цене, росла безработица, население голодало, и дербентцы на все лады проклинали своих мучителей. Все это создавало очень сложное положение для бичераховских вояк.

Полковник, видно, пользовавшийся репутацией опытного интенданта, был направлен лично Бичераховым сюда с чрезвычайными полномочиями для того, чтобы, как он надеялся, выправить положение. А Обою, как человеку, хорошо знающему свой город, местные условия и обычаи, штаб вменил в обязанность помочь ему в его «трудной и почетной миссии».

Мало сказать, что встреча мужа с женой была нерастойна для обоих. С минуту они молча стояли лицом к лицу, не зная, как и что сказать друг другу. От волнения и тревоги сердце у Марал беспокойно билось в груди, похолодевшие пальцы нервно теребили край большого белого шелкового платка, которым она была повязана. Обою она показалась сейчас такой же красивой и пленительной, какой он видел ее в день их последней встречи... Воспоминание об этом дне вызвало в нем сейчас острую обиду и чувство неловкости. И он, нахмурившись, тяжело вздохнул и на какое-то мгновение отвел глаза в сторону, чтобы не глядеть на нее.

А Марал Обой показался тоже таким же статным, полным сил и энергии мужчиной. Но в лице он заметно изменился. Он сейчас казался скорее угрюмым, мрачным, нежели надменным и грозным, как раньше. Даже шрам на левой щеке, который теперь время от времени дергался от нервного тика, и рассеченное нижнее веко под левым глазом не придавали его лицу его обычной свирепости. Несмотря на то, что Обою было тридцать девять лет, виски под высокой каракулевой папашой отливали серебром, а две крупные продольные морщины глубокими складками прорезали его покатым упрямым лоб.

Прежде чем сказать ей о цели своего прихода с русским полковником, Обой, не столько из желания раз-

узнать, а сколько приличия ради, хотел спросить, как ей жилось все эти годы, но обратив внимание на следы еще незаживших царапин на ее лице, оставленных его женами (Обой на второй же день узнал об этом, весьма неприятном для него скандале), густо покраснел и ничего не сказал.

— Вот что, Марал, — произнес он после короткого напряженного молчания с деланной бодростью и спокойствием, — господин русский полковник на некоторое время поселится у нас... — Он замолчал, опять нахмурившись, а потом, желая поскорее положить конец тягостному разговору с ней, тут же обернулся к полковнику, с принужденной улыбкой на лице, скороговоркой промолвил: — Это—вдова моего покойного брата. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома.

Поскольку слова Обою, обращенные к полковнику, были произнесены по-русски, Марал ничего не поняла из сказанного, поэтому, она не могла знать, что он назвал ее не своей женой, а «вдовой покойного брата».

Полковник молча и вежливо кивнул головой Обою в знак благодарности. Затем, подойдя ближе, он почтительно взял ручку Марал и, слегка прикоснувшись к ней губами, с искренним восхищением воскликнул:

— О, какая очаровательная мадам!

Он еще что-то хотел произнести в этом же роде, но неожиданно умолк с озадаченным и сконфуженным видом, увидев вблизи (полковник был немного близорук) следы царапин на гладких нежных щеках молодой хозяйки. И это не укрылось от настороженного и беспокойного внимания Обою. Воспользовавшись наступившей паузой он, лихо козырнув ему и сославшись на срочные неотложные дела, попросил разрешения уйти. И, получив согласие, Обой в самом мрачном расположении духа торопливо удалился.

С тех пор он больше не появлялся у Марал, только время от времени посылал одного или двух чаушов — посыльных при «национальном комитете», чтобы доставить из прохладных каменных подвалов своего покойного брата вина к пиршественному столу кутящих бичаровских офицеров.

Полковник, видно, и впрямь был очень деятельным человеком. Он рано утром отправлялся на службу и лишь поздно вечером возвращался домой. Даже и в воскресные дни, как и в другие, обычные, он с утра до вечера

пропадал на работе. Но каждый раз, встречая хозяйку, он галантно расшаркивался перед ней, почтительно целовал ручку и, слегка прищурив свои близорукие зеленоватые жирные глазки, засматривался ей в глаза. Но, не желая оказаться в роли мышиного жеребчика, он не приставал к ней и не докучал своими ухаживаниями. А на праздную болтовню с ней, хотя бы из простой вежливости, внимания к ней, у него не было времени, тем более, он знал, что эта молодая «очаровательная дикарка» ни бельмеса по-русски. А сама хозяйка, не знакомая со светскими манерами, очень скоро составила о русском полковнике не совсем лестное мнение, как о чудаковатом человеке с шутовскими выходками.

Но тревога за свою судьбу, страх перед деверем не покидали ее ни на час. Последний визит Обоя, которого она ждала и которого очень боялась, не внес сколько-нибудь успокоения в ее сердце. Холодность и подчеркнутая отчужденность, которые сквозили в тоне и поведении деверя, еще больше убедили ее в том, что он настроен к ней крайне враждебно и наверняка затекает что-то недоброе. И эта неизвестность, тревожное ожидание беды продолжали пугать ее, отравлять само ее существование. По ночам ей снились сны, полные кошмаров, навеянные ее угнетенным и удрученным состоянием. Очень часто ей приходилось бежать от чего-то страшного, неизвестного, которому не было имени, но от которого невозможно было ни скрыться, ни спастись. Каждый раз, когда она, охваченная паническим страхом, пыталась бежать от него, ноги ее наливались свинцом, точно приклеивались к земле. И это страшное, неизвестное легко настигало ее и тут же на глазах изумленной и трепещущей Марал в мгновение превращалось в грозного Обоя. И он, грубо и больно хватая ее за руку, злобно сверкая налитыми кровью бычьими глазами и дергая парализованной щекой с малиновым шрамом, кричал на нее, ругаясь: «Куда же ты бежишь от меня, несчастная?! Неужели до сих пор ты не поняла, что я—судьба твоя? От судьбы не дано никому ни уйти, ни спрятаться!..»

Сказав это, он тотчас же, довольный и торжествующий, заливался каким-то неестественным, дьявольским хохотом, от которого Марал вся цепенела и дрожала, как в лихорадке. Нередко она просыпалась среди ночи после такого жуткого сна вся мокрая от пота и больше уже не могла сомкнуть глаз.

Но вскоре случилось такое, которое Марал не могла даже и предположить себе. Однажды в полдень, когда она на дворе вешала на веревке мокрое белье, неожиданно пришел полковник в сопровождении какого-то человека из местных жителей, крайне возбужденный и взволнованный. Он никогда раньше не приходил домой в дневное время, и Марал по его виду сразу догадалась, что толстяк явно чем-то встревожен и удручен. Она невольно насторожилась и, перестав вешать белье, молча, в ожидании посмотрела в его сторону. Полковник поспешно подошел к ней, чуть дрожащей рукой почтительно взял ее руку, но против обыкновения, не целуя ее и не заглядывая своим обычным добродушно-лукавым взглядом в лучистые глаза хозяйки, заговорил взволнованным голосом:

— Мадам, я вынужден сообщить вам прискорбную весть: один из ваших соплеменников, видно, красный бандит, час тому назад убил нашего дорогого друга и доблестного офицера...

Когда пришедший с полковником человек перевел его слова Марал, она на несколько минут так и застыла на месте, потеряв дар речи: настолько эта весть была для нее ошеломляюще неожиданной и вместе с тем невыразимо сладостной. Бурная радость горячим потоком захлестнула сердце. Она почувствовала сейчас себя как человек, который был приговорен к смертной казни, но в последнюю минуту, когда ее уже собирались привести в исполнение, вдруг пришло ему помилование.

С этой минуты она—свободный человек. Никто и ничто больше не грозит ни ее жизни, ни ее благополучию и счастью. И в эту минуту она была уверена в том, что сама судьба рукой этого «красного бандита» отомстила Обою за ее бесконечные муки и страдания.

И чтобы не выдать своих чувств, она быстро закрыла лицо руками. Но от их внезапного наплыва из груди ее вырвался громкий крик, и бурное рыдание сотрясло все ее тело. Полковник, который не знал об истинном отношении хозяйки к Обою, видя ее истерику, невольно подумал, что «злодейское убийство» деверя потрясло до глубины души бедную женщину, поэтому он тут же принялся, как мог, утешать ее.

— Мадам, не надо слез, прошу вас, возьмите себя в руки, — глубоко растроганный, умоляющим голосом проговорил он с заметным волнением. — Мы отомстим

за вашего доверия. Сегодня же этот красный бандит умрет лютой смертью.

При последних словах зеленоватые глазки полковника в обрамлении мелких морщин вспыхнули недобрым огнем.

Как только полковник со своим сопровождающим удалились, Марал убрала руки с лица, которое было мокрым от слез, но сияло безмерным счастьем. С радостно бьющимся сердцем она сразу кинулась в дом. Спеша и волнуясь, она быстро сменила домашнее платье на траурную одежду и выбежала во двор. Но прежде чем выйти на улицу, Марал остановилась у ворот и дважды громко окликнула слугу. Тот сидел в это время возле своего жилья у конюшни и, прислонившись спиной к колесу только что до блеска умытого и начищенного им фазтона, чинил хомут.

Услышав голос хозяйки, он сразу оставил свое занятие и поспешил к ней. Но когда он посмотрел на нее вблизи, то тут же застыл в удивлении, беспомощно заморгав глазами. Он давно не видел ее такой веселой и счастливой. И в то же время на ней почему-то была черная, траурная одежда. Это явное кричащее несоответствие между ее настроением и туалетом было совершенно непонятно ему. А она, точно потешаясь над его изумленным видом, с неудержимой улыбкой во весь рот на сияющем лице и озорно блестящими в восторге от чего-то глазами, молча смотрела на него, ничего не собираясь объяснять ему. Потом она, вдруг разразившись звонким смехом, порывисто бросилась на шею Бобои. Крепко, с чувством поцеловав его в обе щеки, хозяйка тут же мягко оттолкнула его и, так ничего не сказав вконец ошеломленному и сбитому с толку слуге, быстро проскочила в калитку.

Очутившись на улице, молодая женщина, не чуя ног под собой, заторопилась к своим соперницам, чтобы «разделить» их горе, а про себя моля бога о спасении души неизвестного «красного бандита» — своего невольного спасителя.

Обширная веранда двухэтажного дома Обоя была полна женщин, которые сидели на полу, усталанном большими разноцветными сумахами. Они, медленно покачиваясь, громко причитали по покойному и ритмично били себя по груди и коленям в такт плачу. Во дворе с сумрачными лицами сидели несколько пожилых людей.

В огромном закопченном медном котле грелась вода на самодельном очаге, чтобы обмыть покойного, прежде чем облачить его в саван. Рядом лежали погребальные носилки, покрытые сверху черной материей.

Как только Марал поднялась на веранду, запыхавшись от волнения и быстрой ходьбы, какая-то старая женщина, увидев ее, тотчас же поднялась с места и со строгим, скорбным выражением пошла ей навстречу. Жены Обоя, сидевшие рядом и повязанные черными платками, завидев Марал, сразу переменялись в лице. Они, недовольно и сердито нахмурившись, начали о чем-то перешептываться друг с другом. И это не ускользнуло от внимания Марал.

Старуха, взяв ее за руку, ввела в переднюю комнату. Здесь в углу, завешенном белой простыней, лежал мертвый Обой. Марал до этого ни разу еще не была в доме своего деверя. Хотя ее мысли сейчас были целиком поглощены совершенно другим, все же, войдя в комнату, она не смогла удержаться от чисто женского любопытства, чтобы хотя бы мельком не оглядеть стены, убранства. Правую стену сплошь покрывал огромный нарядный, цветастый, точно весенний луг, ковер, на котором висели широкий кинжал Обоя с серебряной рукояткой, кавалерийская сабля и пистолет в армейской кобуре. На других стенах, соседствуя рядом друг с другом, висели бронзовые и медные тазы, доска для раскатки теста, сито для просеивания муки. У входа, прямо возле двери, стоял, грубо выпирая пузатым боком, девятиведерный глиняный хрюм¹⁷, как все равно в домах простых бедняков. Марал мысленно сравнивала убранство своих комнат с убранством комнаты соперниц и с тайным злорадством заметила отсутствие вкуса у этих женщин, родившихся в зажиточных семьях и живущих в достатке. Старуха, сопровождавшая Марал, чуть одернула сухой морщинистой рукой занавеску и, указав на мертвого Обоя, у изголовья которого горела лампа, сказала тихим, болезненным тоном, выпустив ее руку из своей:

— Прощайся, дочь моя, со своим бедным мужем!

Сказав это, старуха тотчас же удалилась. Оставшись одна в комнате, Марал медленно опустилась на пол. Покойник, как полагается по обычаю, перед тем, как его обмыть и облачить в саван, лежал голый на спине, лицом

¹⁷ Хрюм—большой глиняный сосуд для хранения воды.

кверху, на полу, вытянувшись во весь свой огромный рост, и потому казался сейчас еще более рослым, чем был при жизни.

При первом же взгляде на лицо покойного, Марал поразило выражение, совершенно нехарактерное для Обоя, когда он был жив. Обычно подвижное, надменное и грозное, полное страстей, каким она помнит это лицо, теперь было спокойным, умиротворенным и каким-то отрешенным. Словно это были не его, а чужие черты. Лицо не было искажено ни гримасой боли, ни муками предсмертной агонии, которые, надо полагать, он испытывал, прежде чем наступила смерть. А в углах губ, почти скрытых под пушистыми, длинными усами, слегка тронутыми сединой, застыла едва заметная насмешливо-горькая улыбка. Казалось, он в момент расставания с жизнью с сожалением и горечью понял сполна, что прожил ее глупо и безрассудно, не останавливаясь ни перед чем ради удовлетворения своих необузданных страстей. А в итоге, как в насмешку—жалкий беспомощный евнух при трех женах-красавицах и преждевременная смерть от руки разгневанного старика.

Обычно робкая, суеверная Марал, боявшаяся покойников, сейчас, к своему удивлению, глядя на труп Обоя, не только не испытывала страха и отталкивающего чувства, а смотрела на него почти спокойно и без неприязни. На какое-то мгновение в ее мягкой, доброй душе зашевелилось даже нечто похожее на жалость и сострадание к нему, которого еще каких-нибудь пару часов назад, до того, как он был убит, боялась и ненавидела всеми силами души и денно и ночью желала ему как раз этого — смерти.

Зная, что за ней наверняка следят, Марал больше для видимости, нежели из душевной потребности, слегка дрожащей рукой провела по холодному лбу, колющей щеке и крутому подбородку покойника, и чтобы женщины на веранде, особенно «соперницы» ее могли слышать, запричитала без слез и без скорби в голосе:

— О ты, славный из мужей, наша единственная опора и защита! Почему ты нас, несчастных женщин, оставил, чтобы последовать за своим любимым братом?.. Неужто привязанность к нему оказалась сильнее, чем твоя любовь к своим златокудым и златощеким женам, ва-а-а-й-й!.

Потом незаметно для себя, под влиянием собствен-

ного печального голоса и общей траурной атмосферы в доме, напомнивших ей сейчас о своих личных потерях — смерти отца, мужа, о страданиях и тревогах, которые ей пришлось испытать, пережить, Марал заплакала искренними слезами. Наконец, когда она, облегчив душу и решив, что просидела достаточно возле покойного, проплакала, встала, чтобы выйти на веранду к женщинам и посидеть там с ними, она, обернувшись, увидела вдруг перед собой жен Обоя, неслышно вошедших в комнату. Их вид, с каким они сейчас смотрели на Марал, не предвещал ничего хорошего. Сердце у Марал сразу замерло. Она боялась, что они, обезумев от постигшего их горя, продолжая, может, по-прежнему верить, что их муж именно из-за нее принижал и отвергал их, после возвращения с войны, а теперь ревнуя ее даже к его памяти, могут запросто оскорбить, а еще хуже — на виду у всех вытолкать с позором и грубой бранью. Поэтому, пока соперницы не успели что-либо произнести, предпринять против нее, она, стараясь не выдать своего испуга и тревоги, с притворной скорбью и печалью глядя на них и как бы призывая «соперниц» последовать ее примеру, принялась вдруг бить себя по груди, царапать щеки, подпрыгивать на месте и в такт ритмичным ударам и прыжкам, громко кричать «Эй, вай, изар!»¹⁸, как это принято делать по обычаю женам и самым близким родственницам покойного, пока его еще не похоронили. Женам Обоя, чтобы не нарушать обычай, не позориться перед людьми, волей-неволей пришлось поддержать ненавистную соперницу, которую они на самом деле намеревались избить, исцарапать, а потом спустить с лестницы. И они вместе с ней, стоя друг перед другом, принялись прыгать, бить себя по груди, шлепать по щекам и тоже кричать «Эй, вай, изар!», пока несколько женщин, услышав их голоса, не вошли в комнату к ним, уговорами и силой не увели на веранду.

Немного погодя Марал из разговора с другими женщинами узнала об обстоятельствах убийства деверя.

В этот роковой для Обоя день он в сопровождении двух вооруженных казаков пришел на Фэхле-базари, куда все же иногда крестьяне тайком, с оглядкой, боясь наткнуться на казачьи патрули, привозили из ближай-

¹⁸ Эй, вай, изар—горестное восклицание, которое женщины произносят при плаче на похоронах по умершему.

ших и дальних селении кое-какие продукты продавать в город или обменять на нужные им товары.

Фэхле-базари теперь только внешне был похож на тот, каким знали, помнили его еще каких-нибудь четыре-пять лет назад. Наемные голосистые ребята больше не зазывали покупателей. Большинство лавок было закрыто, да и в тех, которые еще «торговали», почти ничего не было. Покрытые густой пылью, прилавки были пусты, хоть шаром покати. Из памятной всем дербентцам кондитерской Худодота давно не несло ароматом вкусной халвы. Вскоре после его смерти в бывшей кондитерской открыли мясную лавку с вывеской у входа, на которой была изображена коровья голова с гладкой симпатичной мордой и широко расставленными острыми рогами. Но в ней очень редко продавали мясо.

Но все же какое-то оживление наблюдалось на этом, еще не так давно, бойком месте. Прямо на мостовую свалив свой «товар», кое-кто продавал «тара»¹⁹ и другие съедобные травы, репу, чеснок, вязанки дров или связки сухой лозы для топлива. Батраки по-прежнему, с понурым видом приходили сюда, чтобы наниматься на работу. Истощенные от голода, бледные, исхудалые мальчишки-нищие с протянутыми иссохшими руками и ноющими голосами, приставая ко всем, просили милостыню.

Поразительным контрастом, точно не из реального мира, казалось на этом грустном фоне неожиданное появление лакированного фазтона какого-нибудь богача, который, по-барски развалившись на мягком сиденье, упитанный, нарядно одетый, самодовольный, с шиком проезжал мимо поспешно расступающихся перед ним людей с усталыми, голодными и безрадостными лицами, провожавших его хмурыми взглядами. Обой, придя на Фэхле-базари, постоял с минуту и внимательно огляделся вокруг. Но увидев маленькую, низенькую, словно игрушечную, горскую арбу на двух колесах, накрытую сверху сеном и запряженную тощим бычком, возле которой стояли люди и о чем-то переговаривались, направился к ней. При виде Обоя с двумя вооруженными казаками, собравшиеся сразу примолкли и расступились. Хозяин арбы высокий, сутулый, но еще крепкий старик с длинными усами, одетый в изношенное чохо и опоясанный большим кинжалом в деревянных ножнах без кожу-

¹⁹ Тара—съедобная трава, из которой делают похлебку.

ха, оказался из Ньюгеди²⁰. Обой по его выговору сразу догадался, что он из кайтагских татов²¹.

— Что привез? — начальственным тоном строго спросил Обой старика.

— Сено, — неохотно ответил крестьянин, стараясь не смотреть ему в глаза.

Обой не очень поверил старику: едва ли из-за того, чтобы продать охапку сена, он мог проделать такой путь на своей арбе. И он решил проверить, нет ли еще чего-нибудь в арбе, кроме сена. И старик, вдруг испугавшись, как бы его обман не навлек беды на его голову, как только Обой запустил руку в сено, сразу поспешил признаться, что привез два мешка муки.

— Да чтобы и ты, сынок, увидел радость своих детей, — заискивающим голосом проговорил внезапно заволновавшийся нюгединец, чтобы смягчить в глазах этого сердитого хакима²² свой вынужденный обман. — Младший мой женится, свадьба скоро. Забрал всю муку до последней горсточки, привез сюда в город поменять на нужные мне вещи: одежду для жениха и невесты и сладости для гостей.

Недовольный Обой свирепо посмотрел на старика. С языка у него готовы были сорваться брань, оскорбления, но он сдержал себя.

— Продай эти два мешка муки для нужд армии, защищающей нас от большевистских безбожников и грабителей. А на деньги, что я тебе дам, купишь то, что тебе нужно, — сказал он нюгединцу и, тут же вынув из правого наружного кармана своего френча пачку ассигнаций с изображением Николая II, протянул ему.

Крестьянин даже не пошевелил рукой. Иронически усмехнувшись, он отрицательно помотал головой.

— Николаевские? Нет, не возьму. На что они?!..

Обой с досадой полез в другой карман.

— Не хочешь николаевские, на, бери керенские, — предложил он другую, более объемистую пачку.

— Киринские!²³ — точно удивленный этим, с явной

²⁰ В отличие от селения Ньюгди (Мюшгуьр), находящегося в южном Дагестане, селение Ньюгеди, или как его теперь называют Янгикент, расположено в Кайтагском районе.

²¹ Говор у татов, живущих в южном Дагестане, отличается от говора татов, живущих в Буйнакске, Хасавюрте и Жайтаге.

²² Хаким—начальник.

²³ Киринские—от татского слова—кир—хрен, хреновый.

насмешкой в голосе воскликнул нюгединец. — Слышать не слышал отродясь про такие деньги. Мне их и даром не надо.

Старик прекрасно знал, что такие деньги существовали и кое-где, в том числе и у них, были в обращении. Он просто хитрил. Для него сейчас ни Николай, ни Керенский не имели никакой цены, поскольку не имели цены и деньги, связанные с их именем и властью, теперь канувшими в лету.

«Упрямство» старика, его явное пренебрежение к царским и керенским деньгам возмутили Обоя. Он сразу вспыхнул, глаза налились кровью, а левая щека с малиновым шрамом стала чаще дергаться от нервного тика.

— Может ты, старый пес, ждешь, когда у нас в обращении будут большевистские монеты?! — закричал Обой и, резко взмахнув кнутом, с сердцем стегнул старика по сутулой спине.

Отдав бывшим с ним казакам распоряжение гнать арбу в комендатуру, Обой, весь кипя от злости, схватил крестьянина за пояс, пытаясь отобрать у него и кинжал. Нюгединец сразу изменился в лице, глаза загорелись бешеным огнем.

— Убери руку! — закричал он не своим голосом и замахнулся на Обоя.

Привлеченные шумом, люди обступили их со всех сторон. В глазах старика поступок Обоя выглядел не только как бессовестный грабеж среди бела дня, но и как злонамеренная попытка унижить, обесчестить его. Этого он не смог стерпеть.

Нюгединцы вообще отличались воинственностью, крайней вспыльчивостью и большой привязанностью к оружию. Они никогда не расставались с ним и дорожили им больше собственной головы. И эта привязанность была настолько сильна, что вопреки существующему запрету, они и в нумаз ходили подпоясанные кинжалами и с подвешенными тапанжами — самодельными пистолетами. И прежде, чем коснуться губами священных свитков, молящиеся сначала вынимали наполовину из ножен свои кинжалы, целовали их холодную вороненую сталь. Нередко в самом нумазе, не считаясь с тем, что находятся в «божьем храме», кровники с кинжалами кидались друг на друга, совершая акт кровной мести.

Желая отучить нюгединцев ходить в нумаз при ору-

жию, как-то хъэзон²⁴ предпринял с этой целью попытку пострадать их божьим наказанием. В день какого-то большого праздника, когда помещение нумаза было полно народу, он, возвышая голос и потрясая кулаками, поднятыми над головой, пригрозил им с амвона тем, что бог, разгневавшись на них за такое святотатство, накажет их суровыми карами. И когда пастырь в числе других божьих кар: землетрясения, чумы, лихорадки, засухи и прочего, которые господь может обрушить на головы слушников, назвал и такую кару, как «закрытие естественных отверстий у всех мужчин», многие из них, возмущенные чрезмерной жестокостью своего бога, точно по молчаливому уговору, разом вскочили со своих мест и открыли пальбу из своих самодельных пистолетов вверх, в потолок, грозя всевышнему, чтобы он не слишком расхотелся²⁵...

Дарить же оружие другому, как и у всех горцев, считалось у нюгединцев признаком особого уважения и доверия, но попытка силой или угрозой отобрать его — величайшим оскорблением и бесчестьем.

— Убери руку, говорю! Я сам отдам его тебе! — задыхаясь от охватившей его ярости, придушенным голосом повторил старик, тяжело сопя.

Обой, сердито хмуря брови, отстранился, ожидая, пока нюгединец сам отдаст кинжал. Тот, прерывисто дыша и зло улыбаясь, делал вид, будто расстегивает ремень на поясе, а потом, в мгновение ока, выхватил кинжал из ножен и с силой вонзил его по самую рукоятку Обою в живот...

Члены «национального комитета» были потрясены «злодейским убийством» своего активного соратника. Они решили похоронить Обою как «национального героя», с почестями, речами и ружейными залпами. Члены комитета попросили у штаба бичераховского военного гарнизона роту вооруженных казаков для участия в похоронах и произведения ружейного салюта на могиле павшего «при исполнении своих служебных обязанностей» доблестного офицера и деятельного члена их организа-

²⁴ Хъэзон — служитель культа.

²⁵ Об этом случае еще до войны рассказывали автору двое стариков — нюгединцев — очевидцы этой истории.

ции. На самом деле она больше нужна была им для собственной безопасности, нежели для «воздания почестей» покойному. Поскольку кладбище находилось далеко за городом, у самого подножия горы, недалеко от близлежащих сел, где были базы партизан, они не без основания опасались, как бы похороны «национального героя» не превратились в их собственные, коллективные похороны.

Сопровождаемая ротой вооруженных казаков, процессия шла на кладбище в полном молчании и напряженной тишине по дороге, пролежавшей между садовыми оградами. Участники ее если и перекидывались словечком между собой, то только полупшепотом. Да и самих участников похоронной процессии было намного меньше, чем солдат, сопровождавших ее на кладбище. Мало нашлось охотников даже среди тех, кто не симпатизировал большевикам, чтобы проводить останки этой одиозной личности в последний путь с риском для своей жизни и безопасности. А что касается бедноты, то она со злорадным удовлетворением встретила весть об убийстве бичераховского наймита.

Как только тело Обоя было доставлено на место погребения, несмотря на присутствие вооруженной роты, самообладание и мужество окончательно покинули организаторов похорон, и они сразу потеряли всякую охоту произносить заранее приготовленные речи. И чтобы не затягивать время и не привлекать к себе внимание партизан, во избежание новой, более «страшной беды», участники процессии единодушно отказались и от траурного салюта на могиле покойного.

Похоронили Обоя наспех, в тревожном молчании, то и дело опасливо озираясь по сторонам, как все равно убитого в стычке члена воровской шайки, скрывающейся от закона и возмездия. Едва священник скороговоркой пробормотал заупокойную молитву, участники похорон негромко, с облегчением произнесли в один голос «аминь» и тут же, точно убегая от опасности, подстерегающей их здесь отовсюду, торопя друг друга, поспешно покинули кладбище и ускоренным шагом двинулись обратно в город.

Но в тот же день, примерно за час до солнечного заката, наверно, в то самое время, когда должен был прозвучать несостоявшийся траурный салют на могиле Обоя, прозвучал ружейный залп далеко от кладбища, за го-

родской стеной, где была проведена казнь старого нюгединца, от руки которого пал Обой сегодня утром. После короткого «допроса с пристрастием» его, всего избитого, истерзанного, с запекшимися в седой бороде сгустками крови, с посиневшим и опухшим от побоев лицом, в сопровождении трех вооруженных казаков и есаула вывели за городскую черту. Здесь «красного бандита» со связанными назад руками, босого, без папахи и раздетого, в одном нижнем белье, по приказу есаула казаки приставили спиной к крепостной стене, а сами отошли назад метров на десять. Выстроившись в ряд, они четко отработанными движениями вскинули ружья и замерли в этой позе в ожидании последнего сигнала.

Большое предзакатное солнце багряным светом освещало дорогу, опустевшие бахчи и огороды, раскинувшиеся вокруг, простиравшееся за ними жухлое поле, над которыми нависла неподвижная тишина, фигуру старика и его палачей. Розовые лучи кровавым светом играли на их сверкающих граненых штыках, примкнутых к карабинам, придавая им неестественный, зловещий блеск.

Старик перед смертью окинул мутным прощальным взглядом лежавшую перед ним местность, бросил тоскливый взор на неровную серую ленту дороги, по которой он сегодня рано утром въехал в город, почти всю ночь проведя на арбе, и по которой сегодня же должен был вернуться назад в родное селение с подарками к свадьбе своего младшего. Он стоял, прислонившись к холодному камню стены, уперевшись босыми разодранными ногами в землю: видно, они сейчас с трудом держали его.

Вдруг старик, резко замотав непокрытой седой головой, весь передернулся, словно корчась от острой боли. Затем он, с силой оттолкнувшись от стены и шатаясь, как пьяный, с вытаращенными страшными воспаленными красными глазами, с искаженным от ярости синим опухшим лицом, натужно выкрикивая на ходу какие-то ругательства, грудью двинулся на своих палачей. И в ту же минуту одновременно прогремели три выстрела, сотрясая воздух...



Бичераховским казакам недолго пришлось хозяйничать в Дербенте. Их скоро оттуда вытеснили турки, обеспокоенные успехами Бичерахова — ставленника Англии, с которой Оттоманская Турция воевала на стороне своих союзников — Германии и Австро-Венгрии. Турция, сама бывшая тогда, хотя и разваливающейся но, все еще крупной колониальной державой, издавна мечтала прибрать Кавказ к рукам с его богатыми природными ресурсами, превратить его в один из своих многочисленных вилайетов — провинций.

После взятия Дербента турками место бичераховского полковника в доме Марал занял теперь турецкий офицер. Его привел один из членов «национального комитета», как месяц назад покойный Обой приводил бичераховского полковника.

Казалось бы ее, Марал, как женщину, живущую одну, без мужа, должен был обидеть, возмутить недостойный поступок своего земляка, который привел на постой в ее дом постороннего мужчину, притом иноземного офицера. Но вопреки этому, она без всякого притворства приняла турка приветливо и радушно, как все равно дорогого и желанного гостя. Объяснялось это очень просто. С тех пор, как погиб Обой от руки разгневанного крестьянина-нюгединца, в настроениях и взглядах молодой вдовы произошли большие перемены. При жизни ненавистного деверя Марал, казалось, было все равно, что станет с владениями ее покойного мужа, если большевики вновь возьмут верх: пусть, мол, все пойдет прахом. Но после того, как она стала единственной хозяйкой его наследства, ей уже это было безразлично. Как и все крупные собственники в Дербенте, к числу которых принадлежала теперь и она, Марал боялась большевиков, а в турецких интервентах, как и они, видела своих друзей и защитников.

Да и сам турецкий офицер был такой, будто он сошел с ярко нарисованной картины. (Одетый в голубой мундир с золотыми погонами и серебряными аксельбантами, в красной феске, в начищенных до зеркального блеска высоких сапогах со шпорами, он был строен,

очень молод и очень красив собой. Продолговатое лицо его с тонкими чертами было белое, по-девичьи чистое, гладкое и нежное, большие глаза — голубые, с гордым изломом брови—черные, словно бархатные, небольшой рот с чуть припухшими чувственными губами — алый, точно подкрашенный. Если бы вместо фески ему на голову одели платок, его можно было бы принять за прелестную миловидную женщину. Правда, при внимательном разглядывании наблюдательный взор мог бы заметить в этом красивом лице и что-то неприятное, хищное, которое ускользало с первого взгляда: тонкий, чуть изогнутый в конце ястребиный нос, белые, крупные зубы со слегка выдающейся вперед верхней челюстью, которые казалось, могут раздробить камень и разгрызть железо, какой-то жадный, точно голодный, блеск в глазах.

Увидев Марал, турок, церемонно приложив руки к груди, с почтительным поклоном поздоровался с ней своим сладкозвучным голосом, назвав ее «ханум-эффенди»²⁶.

Говорили, что отец Шефик-паши (так звали турка) был видным сановником при дворе султана в Стамбуле и что он родился от матери-немки, которая, прежде чем стать женой, вернее, одной из жен отца Шефик-паши, несколько лет провела в гареме Абдул-Хамида²⁷, у которого, как и у иудейского царя Соломона, было ни много ни мало тысяча жен, но который последние годы своей жизни после тридцатитрехлетнего царствования провел в заключении и там отдал богу душу. Султан в знак своей особой милости и расположения к своему придворному, оказавшему своему монарху «неоценимую услугу» при устранении от власти и вероломном убийстве великого везира Мидхата-паши²⁸, которого «повелитель ос-

²⁶ «Ханум-эффенди», — обращение к женщине, принадлежащей к привилегированному обществу.

²⁷ Абдул-Хамид II—турецкий султан (1842—1918), свергнутый в 1909 г. в результате младотурецкой революции.

²⁸ Мидхат-паша—выдающийся турецкий государственный деятель, реформатор и замечательная личность. Будучи великим везиром, он добился провозглашения в 1876 г. первой турецкой конституции.

Абдул-Хамид II, боясь огромной популярности Мидхата-паши, его реформ, ограничивающих султанский деспотический режим, отстранил его от высокого поста, упразднил введенную им конституцию, подверг аресту и казни многих его сторонников. Самого великого везира он выслал из страны, а затем по ложному обвине-

манов» и «халиф всех правоверных»²⁹ ненавидел и боялся, запросто подарил ему из своего гарема красивую немку с белоснежной кожей, как обыкновенно дарят коня или ковер.

Многие друзья отца молодого турецкого офицера, хорошо знавшие султана Абдул-Хамида в лицо, находили немалое сходство в чертах юного паши с султаном, а некоторые даже утверждали, хотя с некоторыми оговорками (за глаза отца Шефик-паши, конечно), что он почти живой портрет его. Если даже это было так, то ничего странного или удивительного в этом не было. Шефик-паша родился ровно пять месяцев спустя после того, как его мать из гарема султана попала в дом его сановника-фаворита. Неизвестно только, знал ли сам султан, что он отдает своему приближенному наложницу, которая готовится стать матерью его ребенка? А может и знал, но просто не хотел, чтобы к многочисленным принцам, бывшим в его роду, многие из которых вели себя беспокойно и подозрительно, прибавился еще один возможный претендент на его престол, ради которого каждый из них при удобном случае готов перерезать глотку не только своим единоутробным братьям, но и уничтожить всех своих близких родственников, не щадя и родного отца. Чего-чего, а кровавую историю борьбы за трон, нередко происходившую между представителями многовековой царствующей династии османов, он хорошо знал. Один из его предшественников на султанском престоле не только уничтожил всех своих близких родственников, но и приказал утопить в водах Босфора беременных наложниц своего отца из его гарема. Да и сам он пришел к власти путем дворцовых интриг, заговоров и убийств, проявил себя деспотом, за что в народе был прозван «кровавым султаном».

Но в отличие от восторженной хозяйки, слуга, которого она после смерти Обоя опять приблизила к себе,

никогда не отправил в тюрьму в далекий Таиф (Аравия), являющийся тогда одним из колониальных владений турецкой империи, где он был задушен подосланными султаном убийцами. Вскоре по требованию султана тело убитого великого везира было извлечено из могилы и обезглавлено, а его голова отправлена ему в Стамбул через Японию в специальной шкатулке с невинной надписью: «Японские безделушки из слоновой кости для его величества султана».

²⁹ С XVI в. турецкие султаны, после завоевания Египта, носили также титул халифа—заместителя аллаха на земле.

уже теперь без страха и опасения за свою жизнь и судьбу был явно расстроен и подавлен появлением молодого турка. Какая-то смутная тревога, предчувствие беды охватили его с первых же минут прихода Шефик-паши. Несмотря на то, что турок вел себя отменно вежливо, все время улыбался своей обычной ослепительной белозубой улыбкой, слуга, не умевший скрывать свои чувства, притворяться, стоял, надув губы, как обиженный ребенок, и смотрел на него удивленными и сердитыми глазами. Не то под влиянием зависти к этому изящному молодому человеку, не то из-за внезапно пробудившегося в нем чувства ревности, которого он раньше ни разу не испытывал к своей хозяйке, этот турок почему-то напоминал ему опасную змею шах-мар, которая с виду пестра, гладка и красива, а под языком носит смертельный яд. И он сейчас мучился, страдал от того, что Марал этого не понимает, приветлива и любезна с турком, очарованная или введенная в заблуждение его картинной внешностью и почтительностью.

Внутри у Бобои все кричало, вопило и бунтовало. Ему страстно хотелось упасть на колени перед Марал, слезно умолять ее: «Не будь так доверчива и ласкова с этим проклятым турком. Скажи, проси, чтобы он покинул нас, оставил в покое. Чует мое сердце — он наделает нам бед, тогда поздно будет!..»

Турок не знал, какие мысли и чувства бушуют сейчас слугу, но он не мог не видеть надутое, откровенно недружелюбное выражение на его скуластом рябоватом лице, беспокойный и неприязненный взгляд, обращенный к нему. Но поведение слуги, казалось, только забавляло его, и с его красивого лица не сходила беспечная веселая улыбка.

Молодой офицер продолжал спокойно шагать по коридору, слегка играя хлыстом с разукрашенным кнутовищем, который он держал в руке, пока его денщик, коренастый смуглый аскер с простым грубоватым крестьянским лицом и тяжеловатой медвежьей походкой, расседлав во дворе лошадей, заносил вещи своего барина в отведенную для него хозяйкой комнату. Офицерского денщика Марал устроила в комнатке на веранде, где жил Бобои, а ему, вконец расстроенному и подавленному, вновь пришлось перебраться в свое старое жилье рядом с конюшней.

Марал первый раз в жизни видела живого турка перед собой. До нее доходили недобрые слухи о том, что в тех местах, которые успели занять турецкие аскеры, они ведут себя не лучше, чем бичераховские казаки: тоже стараются всюду насильственно насаждать свои порядки, притесняют население, пристают к женщинам, вешают людей. Но она знала, что больше всех об этом говорят те, кто ненавидел и Бичерахова и турок, сочувствуют большевикам, ждут их возвращения. Марал не верила или просто ей не хотелось верить, что такие люди, как Шефик-паша, могут зря обидеть людей, если даже они чужие им. Если они и прибегают к насилию, то, наверно, в случае крайней нужды, чтобы поддержать закон и порядок. Поэтому, когда вечером Шефик-паша любезно пригласил в свою комнату хозяйку, чтобы отужинать с ним, Марал, правда, немного поколебавшись, все же согласилась, не заставляя себя долго уговаривать и питая к нему полное доверие.

За столом гость показался хозяйке еще более симпатичным, благородным и очень милым. Она даже позволила ему налить ей немного вина, чтобы поддержать компанию. Шефик-паша непринужденно шутил, развлекал ее смешными, но вполне приличными анекдотами, которых у него в запасе, видно, было немало, не позволяя себе ничего, что могло бы быть неприятным для ее слуха или оскорбить ее женскую стыдливость. Хотя офицер говорил на своем родном языке, Марал вполне понимала его, так как она, как и все ее земляки, живущие в Дербенте в дружбе и тесном контакте с азербайджанцами, с детства знала тюркский язык.

Но в середине беседы Шефик-паша, держа в руке хрустальный бокал с вином, чуть склонив на бок свою красивую голову и мило улыбаясь ей, спросил:

— Да, ханум-эффенди, скажите, ради аллаха, что за парень этот ваш слуга? Или он ревнует меня к своей очаровательной хозяйке или просто... большевик?

Когда офицер спрашивал об этом свою собеседницу, ни он, ни она не подозревали, что слуга, о котором неожиданно зашла речь, в это время, покинув свое жилье, которое показалось ему сейчас хуже подземной тюрьмы, метался по двору, точно затравленный зверь в железной клетке. Потом вдруг, привлеченный светом в окне соседней со спальней хозяйки комнаты, до боли знакомой ему, он, подойдя в дереву возле колодца, с

проворностью кошки быстро забрался на него. Отсюда он, глазами, полными напряженного любопытства и ненависти, начал наблюдать за ними, затаив дыхание. В свете горячей лампы, стоящей на столе перед ними, он отчетливо видел их довольные и веселые лица, замечал каждый их жест, каждое движение. И у него было такое ощущение, что он словно сидит сейчас на раскаленных углях.

Замечание офицера, несмотря на то, что оно было высказано им в добродушно-шутливом тоне, смутило и не на шутку напугало Марал. Она вспыхнула и про себя сильно разозлилась на слугу за то, что он вел себя так дико и неосторожно в присутствии господина офицера, дав ему повод для такого «ужасного» подозрения. Но Марал неожиданно для самой себя быстро справилась с минутным замешательством и, принужденно улыбаясь, ответила без волнения:

— Что вы, ага, он о большевиках и понятия не имеет. Он слишком юн и наивен даже для своего возраста. Кроме лошадей, поверьте мне, ничто другое его в жизни не интересует.

Офицер поверил ей, решив, что слуга просто безнадежно влюблен в свою прекрасную госпожу и, видимо, действительно, дурак от природы. Подумав так, Шефик-паша вспомнил, какой глупый, недовольный и несчастный вид был у слуги и как он косился на него, надувшись, словно мышь на крупу, весело, от души рассмеялся.

Вино и усталость начали клонить его ко сну. Откинувшись на спинку стула, он зевнул, изящно прикрыв рот ладонью, потом, с улыбкой посмотрев на раздумывающую хозяйку и указав глазами на кровать, тихо сказал:

— Ну что ж, давайте раздевайтесь — будем спать.

Марал сперва показалось, что она ослышалась или он просто неудачно пошутил. Поэтому в первую минуту хозяйка даже не поверила в серьезность его слов. Но Шефик-паша, заметив ее недоумение и смущение, сразу нахмурился.

— Да, да, ханум, — небрежно кивая головой, без прибавления почтительного «эффенди», вежливо, но твердо произнес он. — Я не оговорился: раздевайтесь — нам тоже пора бай-бай.

Марал вздрогнула, щеки ее сразу запылали, словно ей надавали пощечин, а сердце тревожно забилось в гру-

ди. Она округлившимися глазами посмотрела на турка. Его бесстыдное предложение, притом произнесенное таким спокойным и уверенным тоном, словно речь шла об обыденном и пустячном деле, так поразило и взволновало растерявшуюся женщину, что она была близка к обмороку. «Что он?.. Неужели он думает: я — какая-то падшая женщина и со мной можно поступать как ему захочется?» — пронеслось у нее в затуманенной голове. Все ее самолюбие, вся ее женская гордость и стыдливость встали на дыбы. Прошло две минуты, прежде чем она, хватаясь судорожными пальцами за край стола, чтобы не упасть, смогла сказать ему с вызовом в дрожащем от сильного волнения голосе:

— А если я этого не желаю и не сделаю?!

Офицер вдруг засмеялся беспечным пьяным смехом, настолько ее слова показались ему нелепыми и смешными. Потом он внезапно умолк и, горделиво вскинув голову, посмотрел на Марал повелительным взглядом, скривив припухлые чувственные губы в надменной улыбке.

— Ханум, милостью аллаха и моего повелителя султана я, надо тебе знать, не гость в твоём доме, — строгим голосом произнес он, и, сузив голубые с жадным блеском глаза, прибавил: Я — победитель, офицер победоносной турецкой армии, а ты, ханум — моя сладкая добыча и больше ничто!

Марал только сейчас, в эту минуту, с мучительной ясностью поняла, что вся сдержанность, почтительность и уважительный тон иноземного офицера были всего-навсего маской, коварной игрой кошки с мышкой. Теперь, когда он сбросил маску, этот красивый, благовоспитанный на вид молодой человек с изящными манерами, интересный собеседник и веселый шутник показался ей в тысячу раз хуже, злее и страшнее, чем внешне грубый и необузданно-вспыльчивый ее покойный деверь Обой, у которого, в отличие от этого, все было наружу, и плохое, и хорошее.

Марал чувствовала, как ее руки и ноги цепенеют, а сердце бешено колотится в груди. Она, со страхом и мольбой глядя на турка, заставила себя подняться, чтобы убежать от него. Но офицер «победоносной армии», догадываясь о ее намерении и не желая упускать свою «сладкую добычу», не спуская с нее весело-насмешливого взгляда, тоже поднялся с места. И когда она сде-

лала шаг в сторону двери, Шефик-паша сразу преградил ей дорогу и, схватив ее за тонкие плечи, с силой привлек к себе, впившись губами в ее сжатый рот и тут же при свете горящей лампы повалил ее на кровать, еще днем заботливо убранную ею для него...

У слуги, который с замиранием сердца следил за ними, потрясенного представшей его взору сценой, голова пошла кругом, в глазах потемнело, и он, точно подстреленная птица, с приглушенным стоном упал с дерева на землю.

* * *

...Сама Турция переживала в эти дни самый драматический период своей истории. По воле своих незадачливых правителей, втянутая в мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, насквозь прогнившая Оттоманская империя, претерпев сокрушительное поражение, окончательно развалилась. Турция не только потеряла свои последние колониальные владения, но и значительная часть ее собственной территории, включая столицу Стамбул, оказалась оккупированной войсками Антанты. С кораблей, стоящих в проливе Босфора, жерла дальнобойных орудий, были грозно направлены на султанский дворец. Сам султан, который еще недавно самовластно распоряжался судьбами целых народов, теперь чувствовал себя в своем дворце как пленник. Из страха потерять свой трон и гарем, а может и голову, он вместе со своими приближенными готов был согласиться на все условия, которые диктовали победители. Одним из этих условий было требование, чтобы турецкое командование немедленно вывело все свои войска с территории Кавказа и Дагестана.

Да и в самом Дагестане почва горела под ногами турецких интервентов. Народ ненавидел чужеземных завоевателей. Жители городов и сел всячески старались помешать им осуществить свои порядки, а партизанские отряды повсюду наносили им чувствительные удары.

Победители-англичане, предложившие туркам убрать свои войска с Кавказа, сами хотели превратить его в свою колонию, оторвать от молодой Советской России, занять там место турецких интервентов.

И вот однажды на рассвете холодного ноябрьского дня 1919 года настойчивый голос Шефик-паши разбудил

спавшую крепким сном Марал. Проснувшись, она с недоумением уставилась на офицера, который стоял перед ней у кровати, одетый в полную форму, с саблей и пистолетом на боку.

С того вечера, как Шефик-паша любезно пригласил хозяйку в свою комнату и, злоупотребив ее доверием, насильно овладел ею, прошло немногим более месяца. Она еще в ту ночь, вскочив с постели в состоянии полупомешательства, хотела убежать от этого вероломного и опасного человека. Любая семья, зная каким насилием и бесчестьем грозит ей турок-оккупант, обратись она только к ней за помощью, с готовностью укрыла бы ее. Такие случаи во времена хозяйничанья турок в городе были не редкостью. Но она все же не решилась на это. Марал боялась, что этот жестокий и коварный человек не только разорит ее дом, разграбит ее добро, но если найдет, искалечит, убьет ее, не моргнув глазом.

Как только Марал открыла заспанные глаза, Шефик-паша заговорил с необычным для него волнением и поспешностью:

— Ханум, ханум, вот-вот в город должны вторгнуться проклятые гяуры..., — он хотел сказать — англичане, но решил, что лучше говорить — «большевики», чтобы напугать эту столько же красивую, сколько и недалекую молодую богачку, — да, большевики. Вставай скорее, завяжи в узелок все, что у тебя есть ценного, и сейчас же отправляйся со мной.

Сонливость Марал словно ветром сдуло. Она расширенными от испуга глазами молча и растерянно посмотрела на Шефик-пашу, не зная, что делать, что сказать ему. Турок, который очень спешил и заметно нервничал, видя ее колебания, сильно разозлился. Он грубо схватил ее за руку и резким движением стащил с постели.

— Ну-у, пошевеливайся же быстрее, ха-ну-ум, черт тебя поберит!..

Марал от боли в суставе и от того, что была почти раздетая, дико вскрикнула и тотчас же, стащив с постели простыню, прикрыла ею раскрытую грудь и голые колени. Молодая женщина, которая за этот месяц с лишним была вынуждена жить с ним на правах наложницы в ее же собственном доме и хорошо изучила его нрав, была уверена в том, что он ограбит ее дочиста и бросит где-нибудь на полдороге на произвол судьбы или же, в лучшем случае, по приезду на родину в Турцию продаст

какому-нибудь сластолюбивому богатому паше для пополнения его гарема. И она решила: лучше уж остаться при большевиках, но у себя на родине, чем последовать за этим разбойником в офицерском мундире.

— Не-ет! Не-е-ет! Никуда я из своего дома не уеду! Умру — не уеду! — забившись в угол и дрожа от страха, завопила она истощенным голосом.

Шефик-паша понял, что ее, видно, не так-то сейчас легко будет заставить последовать за ним, а чтобы уговорить, уломать, принудить ее к этому, у него не было времени. Он спешил к назначенному месту сбора, о котором еще вчера вечером известили их, офицеров, в штабе гарнизона под сторожайшим секретом, откуда они должны были в спешном порядке эвакуироваться. Дорога была каждая минута. Задержаться — значило попасть наверняка в плен к англичанам или же погибнуть от рук местных жителей, враждебно настроенных к захватчикам. Поэтому он волновался и нервничал. Вдруг глаза его вспыхнули яростным огнем. Он выхватил из кобуры пистолет и направил его на Марал.

— Последний раз спрашиваю: пойдешь со мной или нет?!

Марал онемела от ужаса, не в состоянии вымолвить ни слова. Она поспешно закрыла лицо простыней из страха встретить смерть с открытыми глазами. В тоже мгновение раздался выстрел. На простыне, там, где была прикрыта грудь, сразу проступило и расплылось большое красное пятно крови. Марал, уронив простыню и, коротко вскрикнув, упала без чувств на пол.

Озверевший офицер, решив, что с хозяйкой покончено, выскочил в другую комнату и в бессильной ярости начал все крушить, палить куда попало: в стенное зеркало, посуду, мебель. Заметив на стене портрет Ошира Тряпичного Котелка, который из позолоченной рамы смотрел на безнаказанно разбойничающего в его доме прищельца-оккупанта, Шефик-паша выстрелил и в него. Он целился в глаз, видимо, раздраженный его спокойным, вместе с тем упорным и строгим взглядом умных глаз, словно устремленных на него. Но пуля попала в верхнюю часть рамы, и портрет вместе с рамой тотчас же вздрогнул, будто живой, покачнулся, и, со скрипом поцарапав стену, за которую он словно пытался удержаться из «последних сил», сорвался и с резким стуком

упал на пол у ног Шефик-паши. Взбешенный и нервно-возбужденный Шефик-паша сам вдруг вздрогнул от неожиданности и отскочил назад, как все равно от брошенной ему под ноги гранаты или бомбы. Но тут же устыдившись своего невольного испуга, он сразу налетел на портрет и, держа в руке пистолет с дымящимся стволом, принялся с мстительным наслаждением, топтать его ногами, как живого, прыгать над ним, точно ди-карь, исполняющий ритуальный танец над трупом поверженного врага.

Швырнув носком блестящего сапога растоптанный и испачканный до неузнаваемости портрет, Шефик-паша, шумно дыша, стремительно выскочил на веранду, на ходу засовывая пистолет в кобуру. Но когда он, скрипя сапогами, уже спускался с лестницы, вдруг увидел слугу хозяйки, с перекошенным лицом, бегущего во весь опор ему навстречу, размахивая топором. На какое-то мгновение Шефик-паша остановился в ошоломлении, но тотчас же спохватившись и овладев собой, он поспешно потянулся за пистолетом. Пока он дрожащими от сильного возбуждения, непослушными пальцами безуспешно отстегивал кобуру, Бобои успел подскочить к нему вплотную и нанести ему страшный удар обухом по темени. Шефик-паша дико вскрикнул и как-то странно раскинул руки в стороны, словно желая оторваться от земли и подняться в воздух, но тут же упал как подкошенный с рассеченной головой на сырую холодную землю.

Денщик в это время, сидя верхом на лошади и держа наготове коня Шефик-паши за повод, с нетерпением ждал его на улице за воротами. Услышав вдруг его душераздирающий крик, он понял, что с ним определенно произошло что-то ужасное. Охваченный тревогой, он моментально спрыгнул с коня и, быстро сняв с плеча карабин, поспешил было на помощь, но в этот самый момент где-то неподалеку в утренней тишине прогремело несколько беспорядочных ружейных выстрелов, а снизу, со стороны моря раздался громовой пушечный залп. Денщик то ли потеряв голову от страха, то ли не желая рисковать жизнью из-за своего хозяина-офицера, тут же вскочил обратно на лошадь и погнал ее вскачь, ведя за повод второго коня с пустым седлом.



зна у Марал, к счастью, оказалась неопасной: пуля прошла косо, пробив лишь мякоть. Через недели три она совсем зажила, оставив лишь маленькое розовое пятно на груди, как память о неблагоприятном иноземном

офицере.

В то же утро, несмотря на царившую в городе суматоху в связи с поспешной эвакуацией турецких частей, отягощенных многочисленными обозами, напоминавшей самое настоящее бегство, и «мирным» вторжением англичан, многим здесь стало известно о ранении Марал и убийстве ее слугой турецкого офицера.

Поскольку турки покинули Дербент, а на их место пришли англичане, никто не стал расследовать обстоятельства ранения Марал и убийства Шефик-паши, привлечь Бобои к ответственности. Никому, видно, в этой обстановке военной вакханалии, смены одного иноземного оккупационного режима другим, неразберихи не было дела до этого. Происходили случаи похуже этого. Тем более, одно было очевидно: турок сам был повинен в своей смерти. Кроме того, новые хозяева, сменившие турок, все еще считались их противниками. Но после этого случая ни при хозяйничаньи англичан, ни при денкинцах, занявших потом здесь их места, в дом Марал больше никого не приводили на постой из господ офицеров.

Бобои, сбежавший сразу после убийства Шефик-паши, на второй же день каким-то образом узнал, что Марал осталась жива. Несмотря на боль и муки, причиненные ему изменой хозяйки, он, который уже не надеялся когда-либо увидеть ее, думая, что она умерла, сейчас несказанно обрадовался этому неожиданному известию. С трудом дождавшись ночи в заброшенных развалинах на краю города, где он, скрываясь, провел это время, Бобои осторожно выбрался на улицу. Боясь натолкнуться на английские военные патрули, шнырявшие по ночным безлюдным пустынным улицам и базарным площадям, Бобои бесшумно, поминутно оглядываясь по сторонам, под покровом темноты, торопливо пробирался к дому своей хозяйки.

Как и слуга, хозяйка тоже не надеялась когда-нибудь увидеть своего верного Бобои. Она была уверена, что турки его тотчас же схватили и растерзали. Поэтому тем больше неожиданной, непередаваемо радостной и счастливой была эта встреча. Едва Марал увидела Бобои, она несмотря на недомогание, вызванное раной и пережитым потрясением, с криком радости кинулась ему на шею. Поток горячих поцелуев хлынул на лоб, глаза, щеки сразу обмякшего, тихо всхлипывающего слуги. Несколько минут они, плача и смеясь, стояли так посредине комнаты, обнявшись, словно не в силах оторваться друг от друга, полные любви, жалости и преданности друг другу.

* * *

...Дни и недели шли своим чередом. Но очень скоро в отношениях Бобои к Марал наступила резкая перемена. Мысли юноши все чаще возвращались к тому времени, когда здесь жил Шефик-паша. Он не мог простить Марал всего, что было между нею и турецким офицером, как она сразу, как тот появился, с легким сердцем отдала его от себя, погнала опять жить рядом с лошадьми. Он продолжал с прежней силой ревновать свою хозяйку к его памяти.

Первое время под влиянием последнего трагического события — ранения Марал и убийства им ненавистного турка и того, что оба они счастливо избежали самого худшего, что могло произойти в результате всего случившегося—это чувство у него, казалось, на какое-то время несколько затихло, притупилось. Но потом оно, точно дремавший до поры до времени действующий вулкан, взорвалось с новой невиданной силой. Нередко в самый неожиданный момент перед глазами юноши словно страшное видение вставала сцена, которую он наблюдал в ту кошмарную для него ночь, сидя на дереве. И это видение порою часами не покидало его, едва не сводя с ума. Он был уверен в том, что, если бы Марал сама не хотела сближения с турком, ничего бы этого не произошло. Ведь он видел собственными глазами, как хозяйка сама пришла в его комнату и долго сидела там, любезничая с ним. Она, должно быть, заранее знала, что все это кончится именно так и втайне, видно, хотела, желала этого. И Бобои в такие минуты ненавидел хозяйку боль-

ше турка, а еще больше и самого себя за то, что не смог перебороть себя, свои чувства, привязанность к Марал, не ушел от нее, куда глаза глядят, а на второй же день, после ее ранения и убийства им турецкого офицера, как только узнал, что она жива, сразу прибежал к ней. Прибежал, как та глупая, слепо преданная собачонка, которую бессердечный хозяин бьет, пинает ногой, гонит прочь, а она с покорным видом заискивающе и жалобно псвизгивает, униженно ласкается у его ног, не в силах покинуть его.

Нередко Бобои среди ночи внезапно просыпался, точно человек, чем-то сильно взбудораженный или напуганный во сне. И он, глядя на сладко и беспечно спавшую рядом хозяйку с чуть раскрытым маленьким ртом и разметавшимися на белой подушке пышными черными волосами, сразу же возле нее вместо себя представлял, как будто он видел это наяву, своего блистательного соперника Шефик-пашу... И он, как ошпаренный кипятком, вскакивал с постели и, невзирая на погоду во дворе, выбегал из комнаты, не находя покоя.

С той памятной ночи, когда одинокая, тоскующая и разгоряченная вином полупьяная хозяйка впервые увлекла слугу в свою спальню, он впервые познал, почувствовал женскую ласку. Несчастный юноша, никогда не испытывавший на себе настоящей человеческой заботы и внимания, росший как одинокий чахлый куст на заброшенном пустыре и не знавший ни материнской ласки, ни тепла и сочувствия родных и близких, которых у него не было, вдруг очутившись в нежных объятиях красавицы-хозяйки, привязался к ней всем сердцем, воспылал к ней безграничной любовью. О своей любви он никому, даже ей, Марал, не говорил. Да он не знал, как о ней можно говорить. Разве есть в человеческом языке слова, способные передать это удивительное и необъяснимое чувство?!

Все это время Бобои жил в каком-то блаженном сне наяву, весь поглощенный своей любовью, до того рокового дня, пока в его жизни не появился чужеземец-турок, не растоптал его душу, его любовь. Турок ушел в небытие, а рана, нанесенная им его сердцу, осталась, превратив все его существование в сплошную незатихающую боль. У него теперь было такое ощущение, будто он заново осиротел и к нему вернулись тяжелые дни его детства, полные муки и гнетущей тоски, и что он без-

защитен и одинок в своем беспредельном несчастье.

Горе Бобои было так безмерно, что он потерял интерес даже к своим любимцам — лошадям. Теперь, появляясь у дверей конюшни, он не окликал их, не произносил озорно и радостно их милые прозвища, как бывало раньше, не разговаривал с ними «по душам», не распевал знакомые им песенки. Да и сами кони теперь не ржали дружески и весело, когда он заходил к ним, не тянулись к нему своими мягкими теплыми губами, тычась ими в руки, в лицо Бобои, точно лобызаясь с ним. Они будто тоже чувствовали, что с их хозяином происходит что-то неладное, ему теперь не до них, и грустно опускали свои лобастые головы, точно молча разделяя с ним его печаль, его горе.

Бобои похудел, сильно осунулся, точно неизлечимый недуг день и ночь, не переставая, точил его изнутри. Оспины на лице, которые еще недавно почти не были заметны, теперь в связи с сильной худобой опять бросались в глаза, как и в те годы, когда он был маленьким бездомным сиротой, жестоко страдал от голода, холода, а нередко от побоев чужих людей, в чьи дворы или сарай он забирался на ночлег.

Марал видела состояние Бобои, знала, что творится у него в душе. Она, в какой-то степени чувствуя себя виноватой перед этим чистым, простодушным юношей, жалея его, старалась как могла утешить его, вывести из этого состояния. Но она, вопреки своему ожиданию, казалось, еще больше бредила его рану.

Видя всю тщетность своих попыток, Марал временами так злилась на своего слугу, что готова была прогнать его, порвать с ним навсегда. Он всем своим видом и поведением вольно или невольно заставлял ее все время вспоминать о ее позоре, о том ужасном времени, когда в ее доме хозяйничал завоеватель-турок. «В конце-концов, — рассуждала она про себя, — почему этот дурень, Бобои, портит мне кровь? Во-первых, недоброй памяти турок силой заставил меня жить с ним, а во-вторых, если уж на то пошло, какое его дело? Я, слава богу, ему не жена, не невеста, вольна распоряжаться собой, как мне захочется...»

Но гнев ее быстро остывал, уступая место жалости и состраданию. Она привыкла к своему слуге, в ласках которого было столько детской нежности и сердечной

привязанности, по-своему любила его. Потом она не могла забыть и то, как этот робкий и застенчивый от природы парень, едва услышав предательский выстрел Шефик-паши и ее крик, рискуя жизнью, бросился на него с топором, мстя ему за нее.

Но Марал ошибалась, живя с Бобои и продолжая видеть в нем прежде всего слугу, с чувством и достоинством которого можно и не очень считаться. И что он, при всей своей наивности и простодушии, все-таки должен понять, что не имеет никаких прав на нее, а должен быть доволен и благодарен ей за все, что она сделала для него, дала ему.

Сам же Бобои давно не чувствовал себя по отношению к своей хозяйке просто слугой. Не он в этом был виноват. Он любил ее, и сама она пробудила в нем это чувство, сама же заронила в его чистое, нетронутое юношеское сердце искру, которая, разгоревшись, превратилась в неугасимое всепоглощающее пламя. Он, может быть, по той самой несчастной причине, что слишком наивен и простодушен, никак не мог полагать, что хозяйка, которая дарит ему свои ласки, не питает к нему даже и частицы того чувства, которое владеет всем его существом, и что она только играет, забавляется им. Он любит ее не за ее положение. Лишись она сегодня же всего, что есть у нее, оставайся она голой, босой, он продолжал бы любить ее больше собственной жизни. А любовь, как цветы: они не могут жить, когда их топчут — они просто погибают.

Общение с людьми — лучшее лекарство от печалей и тягостных дум. Но Бобои по-прежнему вел жизнь замкнутую. У него не было ни близких товарищей, ни друзей среди своих сверстников. Он жил в своем маленьком тесном мирке. И то, что выходило за пределы этого мирка, его мало волновало, интересовало. А в нынешнем его состоянии это обстоятельство еще больше усугубляло тоскливое чувство полного одиночества и потерянности, которое последнее время завладело его сознанием и сердцем, и которое многопудовой тяжестью давило на душу.

А саму Марал теперь беспокоило и удручало не только «дурное настроение» и «несносное поведение» Бобои, но и откровенно недоброжелательное и неприязненное отношение к ней ее земляков. В этом старинном, но маленьком городе, с населением каких-нибудь два с

лишним десятка тысяч жителей, чуть ли не каждый знал, что в ее доме стоял бичераховский полковник, что она у себя принимала чужеземного турецкого офицера — оккупанта и была его ошне³⁰. В глазах земляков, в памяти которых были еще очень свежи недобрые воспоминания о турецких интервентах, совершавших, как и разнузданные бичераховские казаки, грабежи и насилия над мирными жителями, вырезавших за короткое время своего пребывания в Дербенте большую часть армян, живших в мире и дружбе с остальным населением города, — это было тяжким и смертным ее грехом. Кроме того, они давно догадывались, что она превратила своего наивного и безответного слугу-сироту в тайного любовника и довела его до умопомрачения. И у них сложилось о ней мнение, как о женщине, полной греха и коварства. Когда Марал шла по улице, многие дербентцы, переглядываясь и подмигивая друг другу, с откровенным осуждением и язвительной насмешкой говорили о ней:

— Вот она идет, вавилонская блудница!..

— А вы заметили до чего довела она своего несчастного слугу?

— Не плачет ли она о своем турке, хе-хе!

— Да ей все равно, что казак, что турок, что свой, что чужой, лишь бы было с кем трепать хвост.

— А про «энгличоне»³¹ не слыхали? Как его, переодетого в женскую одежду поймали в тот самый момент, когда он собирался пробраться к ней в дом?

— Как не слыхали, слыхали! Говорят, она сама надумила «энгличоне» переодеваться женщиной, когда идет к ней на свидание. «Лиса сунет голову в куст и думает, что никто не видит ее хвоста»³²...

Случай с «переодетым» англичанином, который действительно имел место, произошел на третий день после вторжения англичан в Дербент и ранения Марал Шефикпашой. Хотя Марал не имела к нему никакого отношения, ни слухом ни духом не ведала о нем, тем не менее он послужил темой для нового дурного хабара о ней.

Среди английских оккупационных частей были и шотландские подразделения. Необычная для солдата тра-

³⁰ Любовница, любовник.

³¹ Энгличон—англичанин.

³² Пословица.

диционная форма белолицых и светловолосых молодых шотландских солдат — мягкий берет и короткая клетчатая юбка—первое время вводили в заблуждение многих местных жителей, считавших их женщинами, привезенными англичанами из своей родины для увеселения своих солдат.

Как-то поздно вечером один из загулявших шотландских вояк, напевая песенку, в приподнятом настроении возвращался к себе в казарму. Несмотря на то, что ноябрь был на исходе, погода стояла сравнительно еще теплая, тихая, и солдат был в берете и юбке. В это время двое местных жителей, бывшие тоже навеселе, невзирая на строгий «комендантский час», с пьяной беспечностью разгуливали по темной пустынной улице притихшего города, освещенной лишь призрачным светом луны. Они, увидев молодого шотландского солдата, очень обрадовались, приняв его за публичную женщину из заведения мадам за Шуринскими воротами, которая, кстати сказать, в первый же день захвата Бичераховым Дербента была освобождена из тюрьмы, как «жертва большевистского террора» и получила разрешение продолжать свою «полезную деятельность»...

Гуляки, остановив шотландца, стали лапать его и приставать к нему. У того от перепуга сразу же выветрился хмель из головы. Вырвавшись из их рук, он сразу подбежал к ближайшей калитке и с силой толкнул ее, чтобы спрятаться в чужом дворе, по чистой случайности оказавшемся двором Марал. Калитка на ночь была накрепко закрыта. Тогда шотландец, держась спиной к калитке и громко ругаясь по-своему, в отчаянной решимости вступил в схватку со своими преследователями. Чувствительные удары крепкого, обученного приемам борьбы молодого шотландца, порядочно наставившего им синяков и шишек, быстро убедили обоих гуляк в том, что они по ошибке приняли за женщину мужчину, притом настоящего пехливана³³...

* * *

...Весной 1920 года вместе с ласковым солнцем, молодой яркой травой, зеленым бархатом покрывшей склоны Джалганской горы, первым цветеньем деревьев в

³³ Пехливан—атлет, профессиональный борец.

окрестных садах и прилетом первых ласточек в измученный войной, голодом, хозяйничаньем белогвардейцев и интервентов древний город вновь пришла Советская власть. Рухнула надежда богачей с их помощью удерживать свое вековое господство и вековые привилегии.

Но молодая Советская власть в первые годы своего существования оставила до поры до времени нетронутой собственность многих богачей. В городе были конфискованы в пользу государства лишь дома и земли видных контрреволюционеров, активно сотрудничавших с белогвардейцами и интервентами. Поэтому дом и виноградник Марал по-прежнему оставались в ее владении. Она, как и в былые годы, свободно разъезжала в собственном фаэтоне, управляемом своим кучером.

Марал все еще была молода и красива. Теперь, будучи вольной, независимой, она хотела иметь мужа по сердцу, как и каждая женщина испытать материнское счастье, обзавестись детьми. До сих пор, чтобы скрыть свой грех от людей, она не допускала появления ребенка, по которому давно тосковало ее сердце, зная, что для слуха ее земляков нет более оскорбительного слова, чем слово «биж» — «незаконнорожденный».

Ни с одним из мужчин, с которым судьба сводила ее, она не видела, не испытала настоящей радости, не ощущала полноты счастья. Покойный Ошир Тряпичный Котелок, которого она больше уважала и почитала, чем любила, был в два с лишним раза старше ее, к тому же страдал тяжелым недугом. От второго «мужа» — Обоя у нее в душе ничего не осталось, кроме страха и отвращения. Шефик-паша хоть был и молод и красив, может, даже слишком красив для мужчины, но он, живя в ее же собственном доме, относился к ней как к своей пленнице, а под конец чуть не отправил ее на тот свет. Слуга и молод и любит ее, готов за нее в огонь и в воду, но глуп, со странностями, а последнее время стал точно помешанный и совсем несносный.

Долго Марал не могла забыть случай, который взволновал и потряс ее до глубины души.

Месяц назад как-то рано утром она по обыкновению отправила Бобои на базар за продуктами. Через некоторое время слуга, вернувшись домой, как только вошел в комнату, резко хлопнул дверью и остановился у порога. Кинув на хозяйку свирепый взгляд, он с сердцем швырнул перед собой полную корзину, которую держал

в руке. Мясо, рис, кишмиш, купленные им для плова, выпали из корзины и рассыпались по полу.

Марал, уже давно привыкшая видеть его мрачным и взвинченным, старалась не обращать на это внимание, чтобы не расстраивать себя понапрасну. Но таким страшно взволнованным и раздраженным она видела его впервые.

— Бобои, скажи, что с тобой? — с удивлением, но мягко, с дружеским участием, в голосе, спросила хозяйка, подойдя к нему ближе и стараясь заглянуть ему в глаза.

Слуга будто только и ждал этого.

— Ты — ведьма! Ведьма проклятая!.. — закричал он вдруг резким срывающимся голосом, яростно топая ногами и сжимая руки в кулаки.

Марал опешила. Жгучая обида волной поднялась в душе и захлестнула сознание. Она уже готова была сорваться, разразиться бранью, проклятиями, прогнать его, но тут же, посмотрев на его низко опущенные плечи, на землистое, почти бескровное осунувшееся лицо с сильно заострившимися скулами и глубоко запавшими глазами, напоминавшее лицо обреченного роковой болезнью человека, пересилила себя. У нее даже защемило сердце от внезапной и острой жалости. Она попыталась обернуть его слова, так больно кольнувшие ее, в шутку, поэтому, заставив себя улыбнуться, спросила его с легким укором:

— Бобои-джан, ты соображаешь, что говоришь? Кто сказал тебе, что я ведьма? — Она ласково коснулась рукой его плеча и, показывая на свое чистое и гладкое как мрамор лицо, добавила в шутовом и чуть хвастливом тоне: — А разве ведьма бывает такая красивая и добрая, как я?..

Но вопреки ожиданию Марал, ее слова привели Бобои в еще большее неистовство. Глаза его как-то странно округлились, словно готовые выскочить из орбит, худое, изможденное с рябинами лицо побагровело, точно запылало пожаром.

— Все говорят! И правильно говорят! — закричал он, задыхаясь от распиравшего его грудь гнева. — Все, кто связывается с тобой, кончают плохо. А то нет?!.. Бедный дядя Ошир, какой был мужчина — богатырь! Умер! Дядю Обоя убили. Проклятый Шефик-паша, твой ошне, да, ошне твой тоже... И я умру скоро. Ты — смерть моя. — Он на мгновение умолк, с трудом переводя дух,

а потом, продолжая смотреть на Марал безумными глазами и яростно топая ногой о пол, с плачем в голосе добавил: — Если ты не ведьма, скажи, почему ты околдовала меня? Почему я не могу уйти, бежать от тебя? Почему?!.. Почему-у-у?!..

Подбородок Бобои задрожал, глаза наполнились слезами. Не в силах совладать собой и стесняясь своих слез, он закрыл руками лицо, отвернулся к стене и, низко опустив голову, заплакал громко, навзрыд, вздрагивая плечами.

Марал точно обдало кипятком. Слова и тон, каким они были произнесены сейчас взбесившимся слугой, потрясли ее, глубоко ранили в самое сердце. Она, не помня себя от охватившего ее негодования, сверкая злобно глазами, закричала:

— Ах ты, несчастный холоп, неблагодарная скотина!.. Кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать?! Убийрайся вон с моих глаз на все четыре стороны. Видеть тебя не хочу!...

В тот же день Бобои покинул дом своей хозяйки. И когда он в последний раз шел, крайне взволнованный и возбужденный, через двор к воротам, с одной твердой мыслью на уме: никогда больше не возвращаться к ней, он невольно вздрогнул, услышав громкое, протяжное и прерывистое ржание лошади из конюшни. Ей тут же вторила другая. Ноги Бобои сразу остановились сами собой. Ему почудилось, что лошади — единственные его друзья, так сильно привязанные к нему, рыдают, зовут его, чтобы он не уходил, оставался с ними, будто чувствуют, что он собирается навсегда покинуть их. Сердце Бобои сжалось от боли и жалости к ним и самому себе. На какую-то долю минуты его даже охватило колебание. Но тут же вспомнив разъяренное лицо хозяйки и ее последние слова, брошенные ему в лицо, стиснув зубы, решительно направился к выходу.

Бобои вообще исчез из города. Долгое время никто не знал, где он и что с ним. Некоторые поговаривали, что будто кто-то видел его в далеком Самарканде, что он женился там на таджикской девушке и работает каменщиком на строительстве. Другие утверждали, что видели его в Тбилиси у здания вокзала, где он устроился чистильщиком обуви и что живется ему не худо, во всяком случае намного лучше, чем когда он жил со своей хозяйкой.

Лишь много лет спустя, когда в старинной ханской цитадели Нарын-Кала, рабочие и инженеры вели частичные реставрационные и очистительные работы, стало известно о печальной судьбе Бобои. Оказывается, бедняга никуда из родного города не уезжал и никогда не был ни каменщиком в Самарканде, ни чистильщиком в Тбилиси. Когда в крепости очищали ханский зиндон — подземную тюрьму, вырубленную в скальном грунте глубиной в двадцать метров и напоминавшую бездонный темный колодец, вместе с завалившимися там на дне старыми камнями, мусором, грудой давно почерневших человеческих костей, извлекли сохранившийся полностью скелет в брезентовой куртке и брюках из того же материала. По одному этому не трудно было догадаться, что человека, которому принадлежал этот скелет, никак нельзя было отнести к тем несчастным жертвам, которых свирепые и жестокосердные дербентские ханы бросали в этот зиндон, заживо погребая в нем, пока их там не постигала быстрая смерть или они не сходили с ума³⁴.

Когда начали осматривать полуистлевшую брезентовую куртку, в ее внутреннем кармане нашли сморщенный, покрытый зеленоватой плесенью кожаный бумажник, а в нем — какую-то пожелтевшую бумагу с едва заметными полустершимися буквами, видимо, написанными черной тушью, и со следами круглой печати. Обнаруженный листок, который сравнительно легко удалось прочитать и разобрать, оказался справкой, выданной дербентским батрачком на имя некоего Бобои Рахманова о том, что он работает в качестве батрака у садовладелицы Марал...

Первое время уход Бобои не произвел особенного впечатления на Марал. Она даже почувствовала облегчение от того, что его нет, избавилась от него, считая, что дальнейшее пребывание с ним под одной крышей грозило сделать ее жизнь совсем невыносимой. Но это длилось сравнительно недолго. Понемногу она против своей воли начала скучать по нему, вспоминать его таким, каким она знала, помнила его раньше: тихим, спокойным, покла-

³⁴ Существует предание о том, что дербентские ханы перестали заточать своих противников в зиндоне после пребывания в Дербенте в августе 1722 года русского царя Петра Великого, который нашел такой метод расправы диким и варварским.

дистым, слепо преданным и любящим. Сейчас в разлуке Марал ловила себя на том, что она за годы ее одиночества не только привыкла к нему, ставшему как бы неотъемлемой частью ее жизни, но и любит его. И что эта любовь жила в ней подспудно еще с тех пор, как она привлекла его к себе, но только теперь, с уходом Бобои, она по-настоящему, хотя и не сразу, поняла, почувствовала ее силу. Без него теперь Марал постоянно чувствовала какую-то болезненную пустоту в душе и вокруг себя, видела перед собой его карие, жалобные глаза, его смуглое лицо с печальным выражением. Временами она даже жалела, что сразу же после смерти Обоя не сочеталась с ним законным браком. Теперь она имела бы не только мужа, но и детей, и судьба не столкнула бы ее, замужнюю женщину, с Шефик-пашой, и земляки не стали бы коситься на нее, относиться к ней с насмешкой и презрением, зачастую с нескрываемой враждебностью. И очень возможно, что она со своим милым и добрым Бобой была бы счастлива, а счастье терять легко, но вновь обрести его очень трудно, а нередко — невозможно.

Но гордость богачки и красивой молодой женщины не позволяли ей тогда снизойти до брака со своим слугой, к тому же человеком некрасивым и глуповатым. А теперь ей оставалось только верить, надеяться на то, что, несмотря на последнюю их шумную ссору и взаимные оскорбления и ругань, Бобой не выдержит сколько-нибудь долгой разлуки, вернется, обязательно вернется к ней. И она тогда со своей стороны постарается, сделает все, чтобы искупить свою невольную вину перед ним, излечить его сердечную рану, будет ему верной и преданной женой.

Но видя, что время идет, а Бобой не возвращается, она в душе опять ожесточилась против него. При мысли о том, что он, не простив ей ее измену с турецким офицером, в которой она не считала себя виноватой, отверг ее, молодую, красивую и богатую женщину, которая столько лет грела его на своей груди, уехал от нее, а может и женился на другой, Марал чувствовала себя глубоко оскорбленной, приниженной и несчастной. Она сама теперь терзалась ревностью к воображаемой жене Бобои, проклиная его и свою судьбу. Казалось, та самая роковая стрела, которой она, сама того не замечая, смертельно ранила невинное сердце бескорыстно и пре-

данно любившего ее Бобои, теперь тяжело ранила ее собственное сердце, причиняя мучительные страдания.

Марал была уверена, что это земляки внушили Бобои, будто его хозяйка — страшная женщина, ведьма. В том состоянии духа, в котором он находился последнее время, он мог верить любому навету на нее. И она решила назло им, назло этому глупому и неблагоприятному Бобои (она еще не знала о его смерти) продать дом, виноградники и переехать в другой город, где не знают ни ее, ни ее прошлого, и там она сможет выйти замуж и начать новую жизнь.

Вскоре Марал предприняла такую попытку. Но местные органы власти дали ей понять, что она не имеет права ни продавать, ни передавать в наследство кому-нибудь свои виноградники, ибо земля, на которой они расположены — неприкосновенная государственная собственность.

И как ни странно, потерпев неудачу в этой своей попытке, Марал несколько не расстроилась, не огорчилась, наоборот, она даже почувствовала какое-то облегчение. Слишком большую власть имели над ее душой ее виноградники с разукрашенной каменной аркой, ее собственный дом с привычной обстановкой. Тем более она, как и многие другие крупные собственники, про себя еще продолжала верить, надеяться на то, что рано или поздно наступят «старые добрые времена»...

Потеряв надежду на возвращение Бобои, Марал в конце-концов смирилась с этим, как с очередным несчастьем, испытанием, ниспосланным ей судьбой. Вместо Бобои, во избежание новых сплетен и пересудов, она наняла кучером и дворником одного престарелого батрака, который долгие годы работал в винных подвалах ее покойного мужа. Арку она перекрасила заново. Для нее эта арка, что бы ни говорили новые власти, олицетворяла ее «вечное и незыблемое право» на свои владения. Кроме того, с ней была связана память о лучших годах ее жизни, ее молодости, замужестве...

Но с каждым годом крепнувшая молодая Советская власть упорно игнорировала эти «незыблемые права» крупных собственников. Созданные в первые годы Советской власти батрачкомы строго следили за тем, чтобы хозяева не принуждали батраков работать сверх восьми часов, платили им за сверхурочную работу, предоставляли им оплачиваемые отпуска, снабжали за свой счет

обувью и рабочей одеждой. Невыполнение этих требований грозило им наказанием в судебном порядке, а то и конфискацией собственности.

Больше всех Марал боялась и ненавидела финотдел и его агентов. В ее глазах финотделы, облагавшие кулацкие хозяйства всевозрастающими и непомерными налогами, олицетворяли «злую волю» новой власти по отношению к ним, «богатым и знатым».

Как-то раз утром Марал, закутанная в большую клетчатую шерстяную шаль, с узелочком в руке шла в баню. Недалеко от нее, возле городского сквера, она остановилась, увидев толпу людей, собравшихся посмотреть на какое-то веселое уличное зрелище.

Хотя Марал из неприязни к своим землякам, боязни их пересудов, старалась как можно реже попадаться им на глаза, особенно там, где они собираются вместе, но на этот раз любопытство и желание посмотреть на зрелище взяли верх и она не смогла удержаться от соблазна. Прикрыв лицо краем шали, Марал протолкнулась между ними. Посредине круга выступал с дрессированным медведем какой-то плечистый коренастый мужчина с вихрастой черной головой. Дербентцы, не избалованные зрелищами, с большим интересом смотрели представление бродячего артиста со своим медведем.

Человек и медведь под громкий веселый смех и одобрительные восклицания зрителей сначала исполнили «Как дед с бабкой на радостях танцевали «Шолохо» — популярный у местных жителей зазорный танец, затем — «Как бабушка домой воду таскала». Роль бабушки, на потеху всем очень смешно и забавно исполнял медведь. Был в их репертуаре и, так сказать, номер на «злобу дня»: «Как богач испугался агента финотдела».

В этом номере косолапый изображал пьяного богача-толстяка, который возвращался с какой-то веселой пирушки, выделявая крендели и спотыкаясь на каждом шагу. Не в состоянии дальше двигаться «богач» прилег на тротуар и сразу задал храпака. А артист, изображая случайного прохожего, в «удивлении» остановился возле него и принялся увещевать и стыдить «пьяного», чтобы он, «этакий солидный и важный из себя человек», не валялся на улице на виду у всех, сейчас же встал и пошел к себе домой, к жене, к детям, которые, наверняка, беспокоятся, что так долго его нет... Но «пьяный» и ухом не повел. Тогда, чтобы заставить его подняться, «прохожий»

решил припугнуть его милицией. Но и это не возымело действия. В ответ, косолапый, то бишь «богач» только вяло махнул лапой: отвяжись, мол, и тут же, как ни в чем ни бывало, преспокойно повернулся на другой бочок. В третий раз мужчина, хитро подмигнув зрителям, склонился над ухом медведя, тихо, но так, чтобы все слышали, произнес с притворным беспокойством:

— Ай богач, горе твоему отцу! К тебе направляется агент финотдела за подоходным налогом!..

Едва артист произнес это предупреждение, как медведь сразу встрепнулся. Изображая сильный испуг и тревогу, он мигом вскочил на задние лапы и под оглушительный дружный хохот собравшихся, смешно переваливаясь, во все лопатки пустился наутек, то и дело опасно оглядываясь по сторонам.

В отличие от других зрителей, Марал было не до смеха. Ей казалось, что это смеются над ней, над ее страхами перед финорганами, над ее бессильной злобой к ним. Она была так расстроена и подавлена, что не захотела уже идти в баню, поспешила обратно домой.

Да и в газетах, по радио теперь все чаще стали говорить о «наступлении на кулачество», о необходимости полной ликвидации кулацкого хозяйства, противоречащего природе нового строящегося социалистического общества, и объединении крестьян в колхозы.

Потеряв совсем голову, Марал жила словно в ожидании самого для нее худшего несчастья, когда-либо случившегося с ней. А когда весной 1929 года у нее, как и у всех местных кулаков, были отобраны виноградники и отданы вновь организованному колхозу, она целый месяц не выходила из дому, была как в трауре. Но скоро ей пришлось расстаться и со своим домом, в котором она жила одна. Его вместе с двором и принадлежащим ей имуществом передали в собственность одного из городских колхозов. В бывшем доме Марал разместили колхозную контору и на воротах его, над самой калиткой в тот же день появилась вывеска с крупной яркой надписью: «Колхоз «Заря Востока».

Колхозники — вчерашние батраки и бедняки, несмотря на ее «дурную репутацию», пожалев Марал, предложили, если, конечно, она согласна, перебраться в пристройку во дворе, где раньше жил ее слуга. Они даже обещали придать ей приличный жилой вид. Но Марал усмотрела в этом недобрый умысел: желание унижить,

оскорбить ее, посмеяться над ней. Кроме того, жить там и видеть каждый день своими глазами, как они, чужие и ненавистные люди, отобравшие у нее виноградники, а теперь хозяйничающие в доме, дворе, было бы выше ее сил. И она с вызывающим высокомерием и нескрываемой злобой отвергла их предложение.

Несколько минут спустя Марал с двумя большими узлами — личными вещами уже стояла на улице рядом со своим, теперь бывшим, двором. Хотя вокруг было много людей, каждый из которых, видно, занятый своими делами, нуждами и заботами, спешил куда-то, проходя мимо, но она вдруг почувствовала себя как человек, заблудившийся в незнакомом лесу и незнающий куда ему идти. Ей стало страшно. Вместе со страхом она почувствовала неимоверную тяжесть во всем теле и щемящую тоску в груди. Острый комок подступил к горлу. Она выронила узлы на землю, медленно опустилась на один из них и тут же, точно маленькая девочка, спрятав лицо в коленях, горько заплакала...

Первые годы после раскулачивания Марал жила, хотя и очень экономно и расчетливо, но все же безбедно за счет своих драгоценностей, которые ей всяческими правдами и неправдами удалось утаить от финорганов. А когда кончилось последнее золото, она впервые столкнулась лицом к лицу с настоящей нуждой и неотвратимой неизбежностью самой зарабатывать себе на пропитание. Но одна мысль о том, что ради хлеба насущного ей, которая еще недавно разъезжала на собственном фаэтоне, держала батраков, слуг, придется трудиться в колхозе рядом со своими вчерашними батраками и батрачками, бросала ее в дрожь, больно уязвляла ее самолюбие и гордость бывшей богачки. Чтобы не умереть с голоду, она занялась вязаньем на дому теплых шерстяных платков и журабов, которому Марал научилась, когда еще была девушкой, а потом от нечего делать, увлекалась, будучи уже взрослой женщиной.

Но каждый раз, когда на Марал находил приступ тоски, душу будоражили воспоминания прошлых дней, ее нередко тянуло далеко за город к старой семейной арке. Она подолгу стояла перед ней, как замороженная, уносясь мыслями в мир своих грез. И каждый раз в такие минуты к ней возвращалась сладостная надежда на то, что она когда-нибудь опять станет владелицей всего того, что отняли у нее Советы, и видела себя в мечтах,

как и в былые годы, гордо восседающей на собственном фаэтоне, управляемом собственным кучером, въезжающей через эту каменную арку в собственные владения...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

пустя год после моей случайной встречи с Марал у каменной арки и памятной беседы с дядей Юсуфом у прохладного арыка под инжировым деревом на виноградниках колхоза, я переехал в столицу нашей республики и поступил работать в Институт истории, языка и литературы и одновременно учился заочно в институте. А потом, когда началась война, мне пришлось сменить перо на саблю, кресло будущего ученого на жесткое седло кавалериста.

Вернулся я на родину в Дагестан одиннадцать лет спустя после окончания войны. И все эти годы, куда ни бросала меня моя военная судьба, я часто вспоминал историю Марал, которую рассказал мне тогда колхозный сторож. Я даже набросал первые главы повести о ее запутанной и трагической судьбе, но она у меня так и осталось не законченной. У меня все время было такое ощущение, что чего-то мне не достает, не хватает, чтобы довести ее до конца. Возможно я так и не дописал бы эту повесть, если бы не следующий случай.

После демобилизации из армии, я более десяти лет работал корреспондентом республиканской газеты. Поэтому мне часто приходилось выезжать в различные районы и города нашей республики, в том числе и в Дербент. Поездка в этот город всегда волнует меня. Она представляется мне как бы увлекательным путешествием в далекий сказочный мир. Тот, кто хоть раз побывал в этом одном из древнейших городов мира, который, быть может, древнее «вечного города» Рима и даже воспетой Гомером в «Илиаде» Трои, видел своими глазами гигантские крепостные стены с башнями и бойницами, сложенные из циклопических камней, и поражающую человеческое воображение своей грандиозностью и величию цитадель Нарын-Кала с ее уникальными подземными сооружениями, бродил по живописным окрест-

ностям Дербента, усеянным многочисленными памятниками далекого прошлого, — тот, если он в душе хоть немного романтик, конечно, поймет меня. Я уже не говорю о том удивительном ощущении, которое охватывает тебя, когда, поднявшись на гору, смотришь оттуда сверху на город, лежащий перед тобой, как на ладони. Голова его, как у сказочного великана, покоится на горе, как на подушке, ноги упираются в море, а по обе стороны, сколько хватает глаз, словно густой низкорослый курчавый лес, тянутся виноградные плантации, привольно раскинувшиеся под горячим южным солнцем.

И каждый раз меня неудержимо тянет посмотреть, как на некое чудо, на знаменитую ханскую цитадель Нарын-Калу, на ее внутренние уникальные сооружения, постоять в скорбном раздумьи у памятного «ханского зиндона», где было заживо погребено немало жертв ханского деспотизма и где нашел вечное успокоение от своей несчастной любви бедный юноша Бобои.

Во время одной из своих очередных поездок в Дербент в начале лета тысяча девятьсот семьдесят первого года, я после осмотра Нарын-Калы, решил заглянуть в местный городской музей, который находится в верхнем углу одного из зеленых скверов в центре города. Весною и летом здесь довольно оживленно. Многие, особенно люди пожилого возраста, приходят сюда, чтобы провести время на свежем воздухе, в прохладной тени деревьев в дружеской непринужденной беседе. Им, старикам, много видевшим, много испытывавшим на своем веку, всегда есть о чем поговорить между собой, вспомнить и поспорить. Здесь же находится чайхана, всегда переполненная любителями крепкого бодрящего душистого чая. Почти каждый день молодые воспитательницы приводят сюда малышей из ближайших детских садов на прогулку или поиграть на специальной площадке для детских игр.

Когда я шел по дорожке, усеянной гравием, между зелеными, ровно и аккуратно подстриженными курчавыми кустами, недалеко от здания музея, под высоким тенистым деревом на длинной голубой скамье сидели трое белобородых аксакалов. Я, поздоровавшись с ними, хотел было пройти мимо, но невольно остановился. В одном из них я к своей несказанной радости узнал дядю Юсуфа — моего старого знакомого. Что особенно поразило меня — это то, что он очень мало изменился.

А ведь прошло так много лет с тех пор! А он, как и в те годы, выглядел довольно бодрым, в отличие от своих собеседников, сидел прямо, не сутулясь, а в темно-карих глазах светилась та же знакомая мне лукавая добрая усмешка. Только густая, некогда черная, как смоль борода и усы были белы, как снег.

— Дядя Юсуф, это вы? Здравствуйте! — подойдя к нему, с волнением произнес я, протянув ему руку.

Старик неторопливо взял мою протянутую руку в свою, медленно встал и, точно озадаченный, долго всматривался в мое лицо, стараясь что-то вспомнить. Мне вдруг стало грустно от того, что он не узнал меня, а я все эти годы часто вспоминал о нем, о том, что он мне рассказывал.

— Не узнаете? — спросил я, пряча смущенную улыбку.

Он выпустив мою руку, вежливо взял меня за локоть, отвел немного в сторону и, продолжая разглядывать меня, молча покачал головой.

— Вроде кого-то напоминаешь мне, а кого — не могу вспомнить, — крутя головой, с сожалением промолвил он.

Как только я назвал себя, дядя Юсуф сразу оживился, радостная улыбка озарила его смуглое лицо, которое в обрамлении белой бороды, казалось совсем черным. Он тут же сердечно, по-отцовски обнял меня на виду у своих товарищей.

— Прости, сынок, меня старика, что сразу не узнал тебя, — виноватым, взволнованным голосом произнес он. Потом, словно оправдываясь, добавил: — Я-то помню тебя каким: совсем юношей, а ты поседел весь...

Он, опять взяв меня за локоть, предложил мне сейчас же пойти к нему домой в гости, сказав, что никуда ни на шаг меня не отпустит.

Я чувствовал, что и он рад не меньше, чем я этой неожиданной встрече после стольких лет. И чтобы не обидеть старика, я согласился, тем более мне очень хотелось кое-что спросить у него о Марал, узнать о ее дальнейшей судьбе.

Дядя Юсуф, кивнув своим друзьям, молча попрощался с ними, и мы, оживленно разговаривая, прошли через сквер, направляясь к нему домой.

Было около десяти часов утра. Яркое светило солнце. Воздух был чист и прозрачен, а небо ясное, голубое, без

единого облачка. Под утро прошел короткий, но проливной дождь, поэтому деревья стояли умытые, со сверкающей листвой. Склоны гор, поднимавшиеся над городом, еще были зеленые.

Хотя мне не терпелось услышать от дяди Юсуфа о том, что стало потом с Марал, я сначала, как это принято при встрече с близкими людьми, расспросил его о здоровье, семье, о том, как поживают его сыновья. Насколько я помнил, у него было трое сыновей, двое из них — близнецы.

Из рассказа дяди Юсуфа я узнал, что колхоз еще десять лет назад с почетом отправил его на пенсию. Но когда на колхозных виноградниках начинается обрезка, требующая большого опыта, а также в горячий сезон уборки винограда, он всегда трудится вместе с колхозниками. И что младший сын его работает механизатором в том же колхозе, а старшие близнецы погибли на фронте.

Несколько минут он шел молча, низко опустив голову на грудь, погруженный в свои думы, забыв, наверное, что я иду рядом. Чувствовалось, что старику нелегко вспоминать об этой утрате, несмотря на то, что с тех пор, как его сыновья не вернулись с фронта, прошло столько лет! Я тоже почувствовал себя как-то неловко и почти виновато, что нечаянно коснулся его раны, которую время еще не залечило и, наверно, не залечит никогда. Потом дядя Юсуф, точно очнувшись от своих мыслей, вдруг вспомнив о чем-то приятном, хорошем, прервав молчание, весело сказал:

— А помнишь газету, в которой был мой портрет, и заметку, написанную тобою за моей подписью? Я до сих пор храню ее в рамке под стеклом, придем домой — увидишь.

Откровенно говоря, мне это было очень приятно слышать. Я невольно вспомнил свои юные годы и то незабываемое, памятное для меня время, когда я впервые, что называется, прямо с колхозного поля пришел работать в газету.

— Дядя Юсуф, скажите, пожалуйста, ходит ли старуха Марал по-прежнему к каменной арке, жива ли она? — задал, наконец, я ему вопрос, который все время вертелся у меня на языке.

— Да, ходила, а теперь — все, ходить не будет.

— Неужели умерла?! — невольно вырвалось у меня.

Не скрою, мне стало жаль ее. Хотя молва о ней шла дурная, но она в моем представлении была скорее жертвой, нежели «злодейкой», жертвой диких и жестоких обычаев, жертвой развращающей душу частнособственнической психологии и отчасти несусветной людской молвы.

— А я разве тебе сказал, что она умерла? — перебив мои грустные мысли, словно бы удивленный моими словами, воскликнул старик. — Да и не такая уж она старая, как ты думаешь, — семьдесят пять лет, примерно. Я на каких-нибудь четыре-пять лет старше ее. Мне семьдесят девять лет. Разве это много?

Дядя Юсуф, точно забыв о моем вопросе, начал говорить о своих знакомых стариках, которым перевалило за сто и которым, как он сказал, сам годится в сыновья, а я — во внуки. И что один из этих долгожителей, который приходится ему двоюродным дядей, старик со строптивым характером, не ужившись с сыновьями и внуками, отделился от них и даже женился, притом не на старой женщине...

Я невольно улыбнулся, поняв, что дядя Юсуф твердо рассчитывает на такое же долголетие, и, представив себе его родственника, после ста лет решившего еще раз испытать «супружеское счастье».

— А что касается Марал, то она жива, жива, — возвращаясь к теме нашего разговора, проговорил он и повторил опять: — Но она больше туда ходить не будет.

И вот, что довелось мне узнать из рассказа дяди Юсуфа о дальнейшей судьбе Марал.

...Последние годы Марал не часто, как раньше, но все же несмотря на то, что сама она была теперь стара и не очень здорова, продолжала ходить время от времени далеко за город к старой арке. Некогда белые, гладкие, свежие щеки ее потемнели, впали, чистый мраморный лоб покрылся сплошь мелкими морщинками, живые обворожительные глаза, излучавшие свет и радость, потускнели. У нее не было никого: ни мужа, ни детей, ни родных — одна, как перст, в целом мире.

Только одна радость и была у старухи — это все еще чудом сохранившаяся фамильная арка с изображением ее мужа и священными надписями. Правда, краски на арке давно поблекли и стерлись, густая серая пыль, точно паутиной, покрыла черты покойного Ошира Тряпичного Котелка и другие изображения на ней. Священные над-

писи поросли ржавым мхом, и теперь невозможно было разобрать что там написано.

Но в потускневших глазах старухи Марал, когда она приходила сюда смотреть на эту арку, поблекшие краски вновь оживали в своей первоначальной красе и свежести, а священные надписи приобретали свой прежний смысл и значение. Они, волнуя душу, вызывали в памяти сладостные и гордые воспоминания.

Воспоминания эти приносили ее душе какое-то облегчение, как выплаканные слезы расстроенному сердцу, на какое-то время возвращали бодрое настроение, точно на крыльях мечты уносили ее в другой далекий и желанный мир, как все равно курильщика какая-то доля этой «сладкой» отравы — в мир обманчивых грез.

Очень часто Марал, стоя перед каменной аркой, видела перед собой образы мужа и Бобои. Она, точно, как к живым, обращалась то к мужу, то к Бобои, а иногда и к тому и другому одновременно. Для нее эти два образа были как бы неотделимы друг от друга, слившиеся воедино. Случалось и так, что сквозь черты мужа вдруг явственно проступало печальное лицо безвременно ушедшего из жизни Бобои, глядевшего на нее то с любовью, то с ненавистью. В такие минуты Марал невольно закрывала лицо сухими руками и, покачиваясь, как тростник на ветру, точно от нестерпимой боли, тихо рыдала.

Но в последний раз, когда Марал пришла посмотреть на фамильную арку, ее почему-то не оказалось на месте. Сначала она подумала было, что заблудилась и по ошибке пришла не туда, куда шла. Последнее время память нередко изменяла ей, поэтому она не очень этому удивилась. Но еще раз внимательно оглянувшись вокруг, она поняла, что ошибка исключена, тем более в каких-нибудь трех-четыре шагах от себя она, к своему бесконечному горю и ужасу, увидела на дне узкого арыка, в который сейчас прекратили подачу воды, несколько валявшихся там камней и среди них — камень с изображением ее покойного мужа.

Метрах в десяти-пятнадцати от того места, где стояла Марал, оглушительно гудя мотором и вся сотрясаясь, медленно передвигалась огромная машина-канавокопатель. За ее рулем сидел человек в замасленном темном комбинезоне, с запачканным глиной лицом, похожим на лицо дяди Юсуфа в его сравнительно молодые годы. То был его младший сын.

Последние годы колхозники на сотнях гектарах заложили новые широкорядные виноградные плантации. Существующий до сих пор узкий и неглубокий арык уже не удовлетворял потребности все увеличивающихся площадей колхозных виноградников в поливной воде. Теперь с помощью мощного канавокопателя колхоз расширял и углублял старый арык, чтобы превратить его в большой водный канал. Но для этого надо было убрать никому не нужную арку, стоявшую на самом краю арыка, как унылый призрак прошлого.

Пока Марал стояла, взволнованная и потрясенная увиденным, едва держась на ногах, стальная машина, послушная воле колхозного механизатора, со скрежетом вгрызаясь своим зубчатым ковшом, напоминавшим могучую челюсть сказочного великана с острыми мощными клыками, в темный грунт, медленно и упорно ползла и ползла вперед. Боясь, что машина вот-вот подойдет, выбросит со дна арыка камень с профилем ее мужа, как морская волна мертвую рыбу на берег, засыплет землей, и она больше никогда не увидит его, Марал в тревоге заметалась как безумная около него, не зная что делать. Погон с отчаянием человека, кидающегося в пылающий дом, чтобы спасти своего ребенка, с несвойственной для ее возраста проворностью кинулась на черное илистое дно арыка. Скользя дрожащими ногами, она торопясь и волнуясь, вцепилась судорожными пальцами в холодное тело тяжелого камня. С трудом сдвинув его с места — откуда только нашлись силы — она оттащила его в сторону, в «безопасное место». И тут же, совершенно обессиленная, молча, в глубокой печали и волнении тихо опустилась на колени. Даже не очистив камень от прилипших к нему комьев черной грязи, Марал припала к нему иссохшей грудью и крепко обняла его дрожащими тонкими руками, точно желая согреть его своим дыханием, теплом, вдохнуть в него жизнь. Некоторое время старая женщина так и застыла в этой позе, словно сама превратилась в некое каменное изваяние. Потом вдруг закричала так дико и пронзительно, с такой болью и отчаянием в голосе, сотрясаясь от бурного рыдания, будто прощалась навеки с единственным, самым родным и близким человеком, а вместе с ним с этим миром, где жизнь ее прервалась как долгий, тягостный и запутанный сон...

ВОЗМЕЗДИЕ

ЧАСТЬ I

ХОДИТ ПО СЕЛУ ГУДИЛ



Было начало мая. В садах, сплошным кольцом опоясавших небольшое селение Нюгди, пышно цвели деревья. Легкий, теплый, ласковый ветерок доносил душистые запахи, которые точно молодое бродящее вино, кружили голову. Как охмелевшие на пиру ашуги, самозабвенно пели соловьи.

Последние дни по-летнему пригревало солнце. Поэтому озимые на полях быстро пошли в рост, леса оделись в густую ярко-зеленую листву, а сады зацвели буйно, словно вспенились. По низкому серому небу, как длинный караван лохматых верблюдов, поплыли, клубясь и подталкивая друг друга, тяжелые дождевые тучи.

Селение будто вымерло. Узкие, кривые улочки с приземистыми глинобитными домишками, окруженными невысокими плетеными заборами, были сейчас безлюдны и пустынные. Все взрослые и подростки находились в поле: был разгар весенних полевых работ. Даже собаки и те притихли—не на кого лаять.

Тихо, безлюдно было и на майдане, где на досуге обычно собираются нюгдинцы, чтобы похабарничать о том, о сем, послушать разные новости. Нюгдинец, хоть и не любопытен по натуре, но верит в пророческую силу известной поговорки: «Если в течение дня человек не услышит хотя бы одного хабара, он или оглохнет, или ослепнет». А где, как не на майдане, можно услышать хабар о том, что кого-то забодал буйвол или лягнул осел, как чей-то зазевавшийся глупый теленок угодил в пасть хищника, что у кого-то жена разрешилась благополуч-

но или стала жертвой грозы рожениц — нагой богини Дедей-Ол, узнать, какой еще новый налог придумала казна...

Только двое нюгдинцев в этот день были на майдане. Один из них—горбоносый, коренастый мужчина с густой курчавой бородой, похожей на черную виноградную гроздь, и гордой осанкой — сидел на завалинке, широко расставив крепкие мускулистые ноги, обутые в мягкие сапоги. На нем была серая каракулевая папаха и зеленый атласный бешмет, перехваченный в талии узким наборным поясом, на котором висел небольшой кинжал с серебряной рукояткой. Темно-карие глаза из-под лохматых бровей смотрели строго и чуть хмуро. Это был сельский ковхо—староста Гомуил. Возле него, прямо на земле, устроился худой старик с жиденькой седой бородой, тонкой жилистой шеей. Как и у многих его односельчан, вся одежда старика состояла из бязевой рубашки и шаровар. Они, видимо, служили ему и в будни и в праздники. Поэтому одежда на старике, покрытая заплатами и пропитанная потом и грязью, не имела определенного цвета. А когда он наклонялся, из-под рубахи резко выступали, как обручи на бочке, худые ребра и сутулая костлявая спина.

Гомуил и старик, пожалуй, были единственными мужчинами, которые остались в селе. Дымя кальяном с длинным чубуком и шумно вздыхая, староста долго молчал, сурово нахмурив брови.

— Вот дождя бы сейчас! Начало мая, а дождя все нет и нет!.. — прервав наконец молчание, с нескрываемой досадой, тихо, будто про себя, проговорил Гомуил, провожая долгим тоскливым взглядом ползущие тучи.

Старик, не поднимая головы, исподлобья бросил на старосту недружелюбный взгляд.

«Если бы влага нужна была только твоим полям, то справедливый бог не дал бы упасть ни одной капле. Пусть бы сгорело все...» — со злобой подумал он, а вслух сказал совсем другое, пытаясь даже придать своему голосу сочувствие:

— Бог милостив... Пошлет дождь. Ты же видишь, все небо обложило тучами, как скошенный луг скирдами. Может, даже сегодня пойдет. Зря ты волнуешься, староста.

Гомуил, не поворачивая головы, искоса испытующе посмотрел на собеседника и внезапно почувствовал к не-

му острую неприязнь: глубокие морщины, которыми было изборождено лицо старика, вдруг напомнили ему зловещие кривые трещины на опаленном засухой поле. Полные, чувственные губы старосты, почти скрытые под пышными усами, скривились в злой усмешке. «Зря ты волнуешься, староста...» — мысленно передразнил Гомуил старика, с трудом скрывая раздражение. — Тебе что, ты гол, как ободранная липа. Тебе терять нечего. Если мои посевы и виноградники, не дай бог, загубит засуха, ты даже рад будешь. Знаю я вас, голодранцев. С виду заискиваете передо мной, а в душе завидуете...»

Но староста, как и его собеседник произнес вслух не то, что думал:

— Ах, не говори так, джан Шелбет. Вот и в прошлом году в это время стояла такая же погода. И что же? Тучи прошли караваном на север, не уронив на землю ни капли дождя. — Потом он, немного помолчав и сделав обиженное лицо, добавил: — Клянусь богом, не понимаю, почему в этом году никто не обряжается гудилом?¹ То ли все чересчур заняты, то ли никого еще не одолел голод... Не знаю. Я бы сейчас с радостью плеснул на гудила кружку воды.

Не прошло и получаса, как, словно в ответ на сетования старосты, с окраины села, где за окрестными садами начинался лес, неожиданно донеслись дружные задорные голоса ребятишек:

— Э-э-э-эй!.. Гудил идет! Идет гудил!..

Селение, несколько минут назад погруженное в глубокое безмолвие и казавшееся безлюдным, вдруг ожило, наполнилось шумом, движением, сумахотой. Из разных уголков села, точно юркие мышата из нор, почуявшие поживу, стали выскакивать босоногие ребятишки. Они с радостными возгласами устремились бегом навстречу гудилу. Из домов поспешно выходили оставшиеся в селе старухи и беременные женщины. Они, поджидая гудила возле своих домов, держали наготове глиняные кружки и кувшинчики, наполненные холодной родниковой водой. Следом за ними, нетерпеливо помахивая пушистыми хвостами и косясь по сторонам, выбегали из дворов удивленные, озадаченные псы, не зная,

¹ По обычаю татов, каждую весну, когда посевы жаждали влаги, кто-нибудь в селе (обычно бедняк) обряжался гудилом. Его плотно обвязывали зелеными ветками и с песней водили по дворам.

лаять им наобум или повернуть назад туда, где они только что, сладко позевывая, спокойно дремали под навесами. Всполошилась, взъерошив перья, как еж свои острые иглы в минуты опасности, ворчливая наседка с цыплятами. Завидев приближающуюся крикливую ораву ребятишек и засуетившихся женщин, она, тревожно кудахтая, бросилась со своим пискливым потомством под ветхий плетень.

Гудил медленно двигался к майдану. Он с головы до ног был так закрыт длинными ветками с молодыми маслянистыми листьями, что самого его не было видно. Поэтому казалось, что по улице идет не человек, а густая связка ветвей.

Рядом с ним, держа в руке конец мягкого ивового прута, которым гудил был обвязан, шел худой, бледный мальчик лет четырнадцати, в ободранной папаше, одетый в длинную, просторную рубашку из старой мешковины. На плече у него висел длинный мешок, почти касавшийся земли. Он чуть охрипшим голосом произносил нараспев, а шумная босоногая детвора, веселой гурьбой неотступно следовавшая за гудилом, во всю силу своих звонких голосов хором вторила ему: «Хо! Хо!»

— Идет гудил по селу! — громко, нараспев воскликнул мальчик.

А ребятишки с горящими глазами на озорных, радостно возбужденных лицах неистово выкрикивали:

— Хо! Хо!

— Да отведет от вас бог все беды и невзгоды! — краснея от натуги, кричал поводырь.

— Хо! Хо! — повторяли дети.

— Да пошлет бог небесную влагу!..

Около каждого дома гудил останавливался. Под веселые выкрики разошедшейся детворы мальчик-поводырь каждый раз произносил положенные слова песни-заклинания. А женщины, молодые — с веселым задорным смехом, пожилые — с молитвенным шепотом, выплескивали на гудила холодную родниковую воду и тут же бросали мальчику в мешок куски чурека, сыпали муку, совали в руки яйца.

Увидев приближающуюся процессию, обычно суровый и важный староста по-мальчишески повеселел. Выхватив из рук молодой женщины кружку с водой, он с довольной улыбкой на лице стал терпеливо поджидать, когда гудил поравняется с ним. Но, узнав поводыря, ста-

роста сразу нахмурился, на лице его появилось явное разочарование. На минуту рука с поднятой кружкой застыла, но потом Гомуил, вновь улыбнувшись, энергичным движением плеснул водой на остановившегося рядом гудила, громко приговаривая: «Дай бог дождя! Дай бог дождя!..»

Человек, наряженный гудилом, внимательно наблюдал сквозь ветки за старостой. Увидев, как тот ко всеобщему удивлению, протянул мальчику серебряный полтинник, гудил, вместо того, чтобы радоваться щедрому пишкешу², вдруг в ярости затряс мокрыми ветками, брызгаясь водой, и хриплым, простуженным голосом крикнул:

— Староста! Этой подачкой не искупишь тяжкого греха, который лежит на твоей совести... Поглядим, чья мать заплачет. Я еще жив!.. — Гудил боком подтолкнул мальчика. — Брось, сынок, его монету, пусть он подавится ею!

Растерянный и смущенный мальчик нехотя выбросил монету и, понуро опустив голову, медленно поплелся за гудилом. Больше он не стал выкрикивать слова песни-заклинания и зазывать людей.

Ватага ребятишек, увивавшаяся за ними, огорченная и разочарованная тем, что так скоро и неожиданно закончилось веселое зрелище, стала понемногу расходиться.

Гудил и мальчик не успели дойти до своего жилья, расположенного у южной окраины села, как, словно горный обвал, многократно прогремел гром, а огненные зигзаги в нескольких местах прорезали небо, будто стараясь расколоть его на части. Долго собиравшийся дождь пошел внезапно, гулко барабана по сухой земле тугими струями.

— Сын, развяжи меня скорее! — слышался сдавленный, нетерпеливый голос гудила.

Мальчик поправил на плече мешок, принялся торопливо распутывать ивовые прутья. Вскоре тяжелые, мокрые связки веток глухо шлепнулись о землю. Теперь, несмотря на серую дождевую пелену, нависшую над землей, можно было разглядеть человека, который только что ходил гудилом по селу. Это был высокий худой мужчина лет сорока с ссутулившейся спиной, впалы-

² Пишкеш—подарок, в данном случае—подавание.

ми щеками и тощей бородкой, в серой, не по росту короткой изодранной рубашке, сквозь прорехи которой местами просвечивало посиневшее от холода мокрое тело. Он дрожал, стуча зубами, потом вдруг покачнулся и, чтобы удержаться на ногах, оперся рукой об острое, худое плечо сына.

— Отец, тебе плохо? — спросил мальчик, с тревогой поглядывая на него.

Тот в ответ лишь кивнул головой.

Отец и сын, промокшие до нитки, подхлестываемые косыми струями дождя, крепко держась друг за друга, медленно побрели домой. А небо продолжало яростно греметь, пуская им вслед огненные стрелы, словно желая поджечь их, как высохшие деревья в лесу, которые еще стоят, цепляясь корнями за землю, но давно уже не зеленеют.

Мужчина с помощью сына еле добрался домой и, дрожа как в лихорадке, сказал:

— Сосун, скорее постели мне!

Дом у них, как и у всех нюгдинцев, был глинобитный. Вместо окна в середине потолка — небольшое круглое отверстие, затянутое бычьим пузырем, отчего углы комнаты даже в ясные солнечные дни тонули в полумраке и она напоминала скорее пещеру, нежели человеческое жилье. В одном углу было устроено подобие очага: прямо на голом полу, между двумя большими серыми булыжниками горел огонь, а дым выходил через дыру в крыше. Сейчас, когда во дворе шел дождь, она была закрыта сверху опрокинутым деревянным корытом. Поэтому густой дым стелился по комнате, ел глаза. Чтобы не задохнуться совсем, приходилось время от времени открывать дверь и проветривать комнату.

Сосун торопливо сбросил с плеч мешок, подошел к нише в стене, похожей на темный провал, взял оттуда сложенный вчетверо полуистертый палас, старый облезлый бараний тулуп и рваное грязное одеяло, пропахшее потом и прокисшим сыром. Расстелив на полу палас, а сверху него одеяло, мальчик уложил отца и накрыл его тулупом.

Возле очага, на голом глиняном полу сидела, обняв худые коленки, маленькая глазастая девочка лет шести с бледным острым личиком, с круглой родинкой на щеке и копной давно немытых, спутанных волос. Она безучастно, словно со стороны, глядела на происходящее в доме.

Сосун устало опустился на пол у постели отца, который, свернувшись под тулупом, все еще дрожал. Приглушенные стоны, глуховатый надрывный кашель отца терзали сердце мальчика, вызывая в его встревоженной памяти печальную картину кончины матери осенью позапрошлого года.

Кто-то тихо толкнул дверь, и в комнату тотчас же неслышно вошел, держа в руке маленький узелок, низенький, но плотный подвижный человек с коротко подстриженной ярко-рыжей бородой. Он считался в Нюгди мастером на все руки: был знахарем, цирюльником, мюрдешуром³, но официально числился чаушем⁴ при старосте. Звали его Илогу.

Односельчане относились к нему холодно, отчужденно, а некоторые — с неприязнью, но он был им необходим. Любую болезнь нюгдинцы объясняли вмешательством нечистой силы. А чтобы изгнать ее из тела больного, они приглашали Илогу. Иногда, не дожидаясь приглашения, тот и сам являлся к больному, чтобы кровопусканием и заговором излечить его. Если человек выздоравливал, то это приписывали чудодейственной силе знахаря, а если умирал, то вину возлагали на мрачного и неумолимого ангела смерти — Азраила.

Окинув быстрым взглядом зеленоватых глаз полутемную комнату с голыми глиняными стенами, притихших детей, Илогу неторопливо подошел к постели больного. Опустившись на корточки, он с деловитым видом приподнял край широкого тулупа и посмотрел в багровое пылающее лицо больного.

— О-о! Ты что, дорогой Ишмаил, и впрямь заболел?.. Как себя чувствуешь? — с участием в голосе спросил знахарь.

— О-о-ой! Плохо, очень плохо! — глухо простонал больной, не открывая глаз.

Илогу положил руку на лоб Ишмаила и, сразу почувствовав ладонью жар, убрал ее.

— Ничего, дорогой, поправишься, — бодро проговорил знахарь, а потом тихим, дружеским тоном добавил: — А я не знал, что ты болен, завернул к тебе совсем слу-

³ Мюрдешур—человек, который оmyвает покойников.

⁴ Чауш—посылный.

чайно. Возвращаюсь из соседнего села, куда меня приглашали пустить кровь больному, поэтому аккурат и нештер⁵ при мне...

— О-о-ой, плохо, пло-о-хо мне, — жалобно повторил больной.

В комнате было слышно, как по крыше и в дверь хлещет дождь. Временами доносились глухие отдаленные раскаты грома. Положив узелок на пол, Илогу зябко поежился и, передергивая плечами, энергично потер руки, не сводя глаз с лица больного. С его рыжей бороды и мокрой одежды каплями стекала на пол вода.

— Наверно, сам бог внушил мне завернуть к тебе с дороги, — после короткого молчания вновь заговорил знахарь. — Шел мимо твоего дома и вдруг вспомнил о тебе: дай, думаю, найду и проведу беднягу Ишмаила.. Не горюй. Пущу тебе кровь, прочитаю заговор, и ты поправишься. У меня рука легкая. — Илогу тихо, самодовольно засмеялся, обнажив мелкие острые зубы. — Бог даст, встанешь на ноги, тогда и уплатишь мне за лечение, — деловито заключил он.

Знахарь приказал мальчику принести таз, а сам тем временем помог больному приподняться. Взяв Ишмаила за локоть, Илогу засучил до плеча рукав его рубашки, а затем принялся старательно тереть его худую, как палка, бессильную руку, пока на ней не вздулись синеватые жилы. Поставив перед Ишмаилом таз, он короткими проворными пальцами развязал узелок, достал оттуда нештер, уверенным, точно рассчитанным движением воткнул острие ножа в вену больного. Тот сразу вздрогнул и громко застонал от боли. Из вскрытой вены тугой струей брызнула кровь. Знахарь быстро придвинул таз, повернул мелко дрожащую руку пастуха, и кровь с тонким звоном ударила в гулкое дно таза.

С каждой минутой кровь в тазу прибывала, но Илогу продолжал цепко держать руку Ишмаила. Когда тот начинал делать беспокойные движения, он, недовольно косясь на него, еще крепче стискивал его руку, строго и наставительно приговаривал:

— Не маленький, потерпи еще немного!..

Вдруг Ишмаил обмяк весь, голова бессильно свалилась на грудь. Он потерял сознание.

⁵ Нештер—обоюдоострый нож, которым вскрывали вену для кровопускания.

— Па-па! Па-па!—испуганно закричал тотчас же мальчик и заметался вокруг постели больного.

Услышав тревожный голос брата, девочка, которая все это время молча сидела у тлеющего огня, со страхом и удивлением наблюдая за жуткой процедурой, заплакала.

— Ой, мой папочка!.. Ой, мой папочка!.. — колотя себя кулачками по коленкам, запричитала она.

На какую-то долю минуты растерялся и знахарь. Но тут же его лицо вновь приняло жестокое выражение.

— Да что вы разревелись, ей богу?! — недовольно прикрикнул он на испуганных плачущих детей. — Ничего с вашим отцом не случилось. Так бывает, пройдет. — И пронзив Сосуна острым взглядом, добавил с укором, кивнув на ревущую девочку: — Она девочка, да еще маленькая, а ты-то парень, папаху носишь, не стыдно тебе?!

Больного снова уложили в постель. На рану наложили паутину и завязали тряпкой. Затем Илогу вынул из кармана своего чохо куриное яйцо, покрутил его несколько раз над головой Ишмаила, бормоча какие-то непонятные слова. После этого, обернувшись к Сосуну, он вздохнул облегченно, посмотрел на него дружески.

— Ну, теперь все порядке, — сказал он мальчику и, протянув ему яйцо, мягко добавил: — Возьми это яйцо и отнеси в лес, отыщи дерево с дуплом и разбей об него. В яйце — зародыш живого существа. Пусть он будет жертвой за твоего отца.

Сказав это, знахарь быстро завязал узелок с инструментами и поспешно вышел из комнаты.

ЧЕЛОВЕК МЕЧТАЕТ, СУДЬБА СМЕЕТСЯ⁶

О широкому скошенному зеленому лугу, залитому солнцем, разбрелось стадо. Сельский пастух Ишмаил, опершись на длинную кизилковую палку с крючковатым концом, с улыбкой смотрит на край ясного синего неба, где отчетливо выступают зеленые кроны громадных вековых деревьев. Никогда еще жизнь не казалась та-

⁶ Пословица.

кой ласковой и доброй к нему, как сейчас. Поэтому он мечтает. Но мечты эти не пустые, несбыточные, а реальные, обнадеживающие. Оттого на лице его застыла задумчивая улыбка. Он улыбается своим мечтам, как добрым, приветливым друзьям.

Вот скоро, даст бог, придет наконец время: он навсегда бросит осточертевшую пастушью палку и станет владельцем собственной земли. Пусть это будет небольшой участок, но зато свой. А своя земля, что ни говори, надежный кусок хлеба.

Ишмаил ненавидит работу пастуха, однако вынужден заниматься ею вот уже много лет. Еще в детстве он слышал о том, что быть пастухом — унизительно. Слово «нэхирчи» — пастух — звучало пренебрежительно, почти как оскорбление. Даже сами пастухи, стегнув в сердцах какое-нибудь непослушное животное, норовящее улизнуть из стада, нередко при этом ругали не только беспокойную скотину, а заодно и того, кто много лет жизни отдал этому безрадостному занятию.

В Нюгди пастухами обычно нанимались калеки или нищие, не имевшие ни земли, ни скотины. Сельчане считали зазорным для себя породниться с пастухом. Не каждый, даже самый бедный нюгдинец, согласился бы выдать за него свою дочь или сестру, словно это человек, опозоривший честь своей папaxи.

Хотя сами нюгдинцы не особенно отличались веселым нравом и склонностью к забавам и шуткам, но в песне, которую они нередко распевали на свадьбах или просто к случаю, пастух изображался угрюмым, озлобленным и немного придурковатым человеком. В этой песне отец говорит дочери, что хочет выдать ее замуж за пастуха. А дочь умоляет отца не губить ее молодую жизнь: пастух, мол, рано утром уйдет со стадом, а вернется домой лишь поздно вечером, мрачный и злой, да вместо того, чтобы приласкать молодую жену, примется колотить ее своей палкой...

Может такое неуважительное отношение к пастуху объяснялось тем, что односельчане Ишмаила главным и достойным здорового мужчины занятием считали только то, что связано с возделыванием земли: выращивание хлеба, риса, резведение садов? А может, еще и потому, что пастуха повсюду подстерегали неприятности. Каждый, у кого была корова в стаде, считал своим правом сделать ему выговор, обругать его. Пастух словно для

того и существовал, чтобы угождать каждому, кто держит свою животину в стаде и за это платит ему мерку пшеницы. Одни ругали его за то, что он будто бы слишком рано выгоняет коров на пастбище, и хозяйки не успевают управиться с дойкой, другие, наоборот, считали, что он лодырничает, долго задерживает утром стадо в селе, и телята, чуя присутствие матерей, ведут себя беспокойно, мычат, надрываются, болеют. Если у коровы почему-либо стало меньше молока, хозяйка сразу же бежит к пастуху и принимается обзывать его самыми обидными словами, подозревая в нечистивых поступках. Даже тот нюгдинец, которого и собственная жена перестала бояться, придирается к бедному пастуху, сам не зная зачем и почему.

Поэтому Ишмаил мечтал рано или поздно избавиться от этого неблагоприятного занятия и давняя мечта его, слава богу, теперь, как никогда, близка к осуществлению. Вот уже скоро год подпаском у него работает не чужой человек, а родной сын Сосун. Свой заработок ни с кем делить не придется. Часть зерна, которое он получит от владельцев коров после уборки хлеба, оставит для семьи на пропитание, а остальное можно перемолоть на муку и затем продать ее в городе. Так, года через два-три, бог даст, он накопит немного денег, а потом по сходной цене купит небольшой участок земли.

Ишмаил уже в мыслях видел себя хозяином этой земли, представлял, как он идет за сохой, прокладывая на ней первую борозду, затем с лукошком на шее уверенной рукой разбрасывает по вспаханному полю семена, а к лету—как налитые желтеющие колосья, тихо звеня, волнами переливаются под порывами свежего ветра...

Увлеченный своими думами, пастух не заметил, до чего же сегодня быстро пролетело время. Солнце уже опускалось за ближний лес. Он спохватился, когда случайно взглянул на свою тень, длиннущей узкой темной полосой вытянувшуюся на лугу.

— Сосун! — окликнул размечтавшийся пастух сына, который в это время усердно лупил палкой двух упрямых бычков, выставивших рога для драки. — Собирай стадо, пора домой!

Вскоре сытое, отяжелевшее стадо, поднимая по дороге тучи пыли, нестройно двинулось мимо созревающих пшеничных полей, освещенных закатным солнцем,

мимо огородов, сплошь покрытых буйными темно-зелеными плетями дынь и огурцов, мимо садов и виноградников.

У майдана уже собрались с хворостинками в руках женщины, ожидающие возвращения стада с пастбища. Оглашая воздух разноголосым мычанием, подрагивая вздутыми боками, коровы быстро разбрелись в разные концы селения.

Распустив стадо, отец и сын направились домой. Сбросив с себя одеревеневшие чарыки и пропитанные пылью портянки, они стали умываться, готовясь к ужину.

Маленькая дочь пастуха Пери, привыкшая целыми днями оставаться дома одна, играла во дворе сама с собой. Подражая взрослым нюгдинкам, она хлопала в ладоши и бойко бранилась, приговаривая: «Да лишится глаза тот, кто сглазил мою коровушку, да отсохнет селезенка у того, кто завидует моему добру!..»

Увлеченная игрой, девочка не заметила, как во двор вбежал мальчик лет десяти с живыми карими глазами на светлом курносом лице. Он хотел было направиться прямо в дом пастуха, но, увидев маленькую Пери за потешной игрой, остановился. Девочка сразу умолкла, застеснялась, в смущении опутив кудрявую головку, принялась водить босой ногой по голой земле. А чужой любопытный мальчик, продолжая глядеть в ее зардевшееся лицо, вдруг весело и звонко расхохотался.

— Клянусь папой, ты ругаешь и хлопаешь точь-в-точь, как старая бабка Эвшаг, — с откровенным восхищением на простодушном мальчишеском лице проговорил маленький гость. — Каждое утро на заре она взбирается на крышу своего дома, хлопает в ладоши и кричит на весь квартал.

— А почему она ругается? — поборов смущение, не глядя на словоохотливого мальчика, с любопытством спросила Пери.

— Она ругается потому, что кто-то по ночам у нее с крыши таскает сушеные сливы и абрикосы, — с готовностью пояснил мальчик, а потом вдруг, точно спохватившись, он прервал свои объяснения, быстро заморгал глазами и на лице его появилась виноватая улыбка.

— Вай! Меня же послали сказать... — он запнулся, почесал за ухом, потом, стараясь казаться серьезным и важным, добавил: — Знаешь, иди скажи своему папе, что мой папа велел ему прийти к нему сейчас же, поняла?

Мой папа — староста, а меня зовут Эсеф, — с видимой гордостью уточнил мальчик.

Девочка ничего не ответила, сразу же сорвалась с места и побежала в дом.

— Приходи на нашу улицу играть! — крикнул ей вслед Эсеф, уже не важным, а ласково-дружеским голосом, почему-то приподнявшись на цыпочки.

Пери на минуту задержалась у двери, обернулась к гостю и, прежде чем юркнуть в комнату, как мышонок в норку, крикнула ему в ответ:

— Я с мальчишками не играю!..

Не прошло и четверти часа, как пастух Ишмаил уже стоял на улице у ворот старосты, с покорным, но совершенно спокойным видом слушая Гомуила. Оказывается, его корова по кличке Джайран не вернулась со стадом.

— Она самая дойная из всех моих двадцати коров, — с видимым беспокойством говорил староста. — Джайран одна стоит десяти коров. Знай, если она не найдется, мира между нами не будет, — мягко, но внушительно пригрозил он пастуху.

Ишмаил не придавал значения этой угрозе. Нередко бывали случаи, когда чья-нибудь корова, отбившись от стада, забиралась на полянку с вкусной травой или в густые заросли и задерживалась там. Когда становилось темно, она, едва заслышав тоскливый вой шакалов или подозрительный шорох, сама спешила в селение. Иногда заблудившуюся корову разыскивали и приводили обратно. Поэтому Ишмаил не стал тратить время на то, чтобы успокоить преждевременно разволновавшегося хозяина. Он сразу отправился на поиски в полной уверенности, что через час-два найдет пропавшую скотину.

Но вернулся он домой поздней ночью, без коровы. Ишмаил обошел все поля и луга, по которым бродил сегодня со стадом, забирался в глухие лесные чащи, спускался в темные овраги, лазил по камышовым зарослям, но пропавшую корову так нигде не встретил.

Несколько дней пастух, оставляя стадо на попечение сына, ходил по лесам и полям в поисках Джайран. Он спрашивал о ней всякого встречного, описывая ее приметы, но все без толку: корова как сквозь землю провалилась.

Пастух за эти дни вконец изодрал последнюю одежду, износил до дыр чарыки, похудел, осунулся, лишился сна и покоя.

Староста, окончательно потеряв терпение, стал грозить пастуху судом, клялся, что не заплатит ему ни одной мерки пшеницы за пастьбу своих коров.

На восьмой день после пропажи коровы начальник Уллусийского участка в селении Кулларе, находящемся в четырех-пяти верстах от Ньюгди, вызвал Ишмаила на допрос, и больше он оттуда не вернулся. По селу прошел слух, что пастуха посадили в тюрьму за кражу коровы.

А спустя несколько дней после ареста Ишмаила, Гомуил, пользуясь своим положением старосты, запретил Сосуну пасти общинный скот.

Неизвестно, сколько еще пастуху пришлось бы томиться в тюрьме, если бы неожиданно не объявилась пропавшая Джейран. Произошло это в первых числах апреля. День был праздничный, и все сельчане находились дома. Седобородые старики сидели у старых токов на мягкой траве, греясь на солнце и мирно беседуя между собой. На почтительном расстоянии от аксакалов молодежь шумно играла в чехарду. Женщины, собравшись у своих дворов, лузгали семечки, громко разговаривали, перебивая друг друга. Вдруг на окраине села, там, где начинались сады, раздалось протяжное мычание коровы. Вскоре, точно из-под земли, выросла пятнистая Джейран. Она побежала во весь опор, словно спасаясь от преследования. Оказавшись в селе, корова внезапно остановилась, задрала голову, внимательно осмотрелась по сторонам, будто желая убедиться: туда ли она попала, куда так спешила, и с радостным громким мычанием помчалась мимо удивленных людей.

Неожиданное появление коровы Гомуила обрадовало земляков пастуха. Прошел почти год, как Ишмаил был заключен в тюрьму. Сельчане узнали недавно, что он в неволе тяжело заболел. Дети его, оставшиеся без кормильца, страшно бедствовали. Они жили на то, что давали сердобольные соседи. Теперь все убедились: пастух ни в чем не виноват. Было решено всем джамаатом⁷ написать прошение окружному начальству, которое находилось в Касумкенте, чтобы его оправдали и отпустили домой.

⁷ Джамаат—мир, сход.

...Однажды под вечер собравшиеся на майдане нюгдинцы увидели приближающегося к ним высокого, худого и чуть сгорбленного человека.

— О-о! Да это никак Ишмаил, мой дорогой сосед! — радостно воскликнул невысокий плотный нюгдинец Рахмон, первым узнав в нем пастуха, и бросился ему на встречу.

Как только Ишмаил подошел к сельчанам, они тотчас же окружили его и радостно приветствовали:

— С приездом, дорогой!..

— Чтоб тебе век жилось на радость твоим детям!

— Да минуют тебя все беды и невзгоды!

Ишмаил, растроганный и взволнованный, пожимал дружески протянутые руки, добрым словом выражая каждому свою благодарность.

— Теперь скажи, как жилось тебе в этой проклятой тюрьме? — выступив вперед, спросил его старый Шелбет.

— Э-э-э! — недовольно покосился на него Рахмон. — Разве по нему не видно, что жилось бедному не лучше, чем грешному в аду. Дай бог старосте такую жизнь.

Только сейчас односельчане заметили, как изменился Ишмаил за те одиннадцать с лишним месяцев, что провел в тюрьме. Лицо его вытянулось, заострилось, лоб и щеки прорезали морщины. Глубоко запали, потухли карие глаза. Седина посеребрила поредевшую бороду. Ишмаила покачивало: он через силу держался на ногах.

Как ни велика была радость встречи с односельчанами, ему не терпелось скорее увидеть своих детей. И, скоро, попрощавшись, он поспешил домой.

Сердце Ишмаила учащенно забилось, когда он приблизился к своему дому. Прежде чем толкнуть калитку, он немного постоял, чтобы побороть волнение. Ишмаил хотел еще с порога бодро окликнуть детей, но голос его осекся и прозвучал как сдавленное рыдание. Сосун и Пери с радостными криками бросились к отцу на шею. Он, задыхаясь от волнения, обнимал своих детей, прижимал к груди, осыпал поцелуями, с болью всматриваясь в их землистые, изможденные лица.

— Бедные мои дети, маленькие мои страдальцы! — проговорил он дрожащим голосом.

На другой день Ишмаил проснулся рано. Его разбудил чей-то приглушенный плач и сердитый шепот. Сначала ему показалось, что он все еще находится в тюремной камере, усталый и измученный постоянным не-

домоганием. Открыв глаза и вспомнив, что он дома, Ишмаил внезапно ощутил острую радость. Закрыв глаза, он стал прислушиваться.

— Хлеба хочу, хоть корочку... — тихо хныкала маленькая Пери.

— Замолчи, сатана, откуда я возьму тебе сейчас хлеб?! — говорил Сосун. — Разбудишь отца!.. Потерпи немого, сбегая в лес, наберу грибов, нарву тары⁸, сварю похлебку — не умрешь!

Но уговоры брата не действовали на голодную девочку. Из стесненной груди Ишмаила вырвался вздох, похожий на стон от внезапной боли. Сосун сурово посмотрел на мигом умолкнувшую сестру.

Ишмаил, кряхтя и вздыхая, приподнялся на постели, сел, горестно опустив голову. Потом он посмотрел на сына и сказал тихо, еле слышно.

— Сосун, зайди к Рахмону, попроси у него топор. Мы пойдем с тобой в лес. Нарубим веток, обрядишь меня гудилом и станешь водить по селу. С неделю проживем на то, что подадут, а там, бог милостив...

Сосуну было тяжело слышать эти слова. Мальчик знал, что обычно гудилом обряжаются нищие, которые не стесняются просить милостыню, или же озорные юноши, потехи ради.

— Обойдемся как-нибудь, не надо, — попытался он отговорить отца.

— Надо, надо, сынок, другого выхода нет у нас, — с трудом поднимаясь с постели, ответил Ишмаил.

После неприятной встречи с гудилом на майдане, староста Гомуил вернулся домой взволнованный и очень раздраженный. Его бесило то, что какой-то пастух, нищий, осмелился пригрозить ему, нанести оскорбление, с презрением швырнув на землю его деньги. Староста привык к тому, что никто в селе не смел ему перечить, и вдруг — такая пощечина. И как только его рука, в тот момент невольно схватившаяся за кинжал, не вырвала его из ножен и не нанесла обидчику удар!.. Сидя дома на двух подушках, он как бы заново переживал все случившееся и жаждал мести.

— Проклятый Илогу! Это он во всем виноват! — в сердцах произнес Гомуил.

Вспомнив о своем чауше, староста в бессильной зло-

⁸ Тара — съедобная трава, из которой варят похлебку.

бе принялся ругать и поносить его, призывая тысячи напастей и проклятий на его голову. Поэтому, когда несколько минут спустя к нему пришел ничего не подозревавший Илогу, насквозь промокший под дождем, староста, багровея от злости, устремив на чауша свирепый взгляд, вместо ответа на приветствие, обрушился на него с бранью и упреками:

— Скажи, негодяй, как ты мог так обмануть меня?! Не ты ли клялся повернуть это дело так, что кроме нас с тобой ни одна душа ни о чем знать не будет?! Теперь по твоей милости все на селе шушукаются, перешептываются за моей спиной, провожают меня косыми взглядами. А еще этот голодранец Ишмаил вот только что...

Староста, шумно вздыхая, прервал свою речь, нервным движением сунул руку в боковой карман атласного бешмета, вынул оттуда кальян и кисет с табаком. Илогу, улучив момент, быстро достал кресало с кремнем, торопливо выбил искру и зажег сушеный мох. Угожливо опустившись перед старостой на корточки, он с почтительным видом положил дымящийся, приятно пахнущий мох в набитый табаком кальян Гомуила.

— Я, клянусь богом, тебя не обманывал, все делал как надо, ты об этом знаешь. Но если вышло не так, как нами было задумано, я не виноват, — сделав страдальческое лицо, обиженным голосом произнес Илогу.

...Случай, на который намекал Илогу, произошел почти год назад. Как-то весенним вечером староста сидел дома и сосредоточенно стучал костяшками на счетах. Он прикидывал, во что ему обойдется новая водяная мельница, которую собирался строить. От нее он рассчитывал получить немалый доход, и все же было жалко денег.

— А что, если я пастуху Ишмаилу дам не сорок мер пшеницы, которые причитаются, а?.. — Гомуил вопросительно уставился на своего чауша, который сидел напротив него и любопытными глазами следил за движениями волосатых пальцев, перебирающих костяшки на счетах.

Безмерная алчность старосты даже у Илогу, не отличавшегося добропорядочностью, вызывала отвращение. Но он, чувствуя свою зависимость от Гомуила, всячески угодничал перед ним.

— Да, ты прав: сорок мер пшеницы жирно будет для

этого авдала⁹, — с готовностью поддакнул старосте Илогу. Он немного помолчал, словно обдумывая что-то, затем, подавшись вперед и вытянув короткую шею, заговорил тихо и доверительно, хитро прищурив глаз: — Если ты согласишься, можно устроить так, что пастух не получит ни одной мерки пшеницы.

Гомуил, откинувшись к стене, завешенной большим разноцветным ковром, невольно засмеялся, недоверчиво глядя на своего подчиненного.

— Тебе, я вижу, хочется пошутить?..

— Какие шутки? — с серьезным видом произнес Илогу. — И это можно сделать очень просто. Вот послушай. Надо тайком от пастуха вывести из стада одну из двадцати твоих коров, угнать ее в какое-нибудь дальнее селение и продать там. А потом, когда обнаружится пропажа, обвинить Ишмаила в краже. — Илогу, не сводя испытующего взгляда своих зеленоватых кошачьих глаз с лица старосты, которое сразу приняло озабоченное выражение, самодовольно и весело добавил: — Это же сущий пустяк по сравнению с тем дельцем, которые мы с тобой однажды обтяпали на берегу Григоринчая... Помнишь?..

Что-то дрогнуло в лице Гомуила. Он резко наклонился вперед и, недовольно окинув взглядом приземистую фигуру своего чауша, оборвал его на полуслове:

— Замолчи, ты, безумный!.. — И, с нескрываемой тревогой скосив глаза на прикрытую дверь соседней комнаты, глухо добавил: — Там же жена, услышит!.. Тоже, нашел время вспоминать!

Но через минуту Гомуил успокоился и, как ни в чем не бывало глядя на Илогу, ободряюще улыбнулся ему:

— А насчет коровы, клянусь богом, ты неплохо придумал.

От похвалы хозяина рыжий чауш расплылся в самодовольной ухмылке.

И вот в тот самый летний день, когда пастух Ишмаил, пустив коров на широкий скошенный луг и опершись на свою кизилковую палку, видел себя в мечтах хозяином собственного поля, чауш, оглядываясь по сторонам, осторожно, как зверь, подстерегающий добычу, подкрадывался к стаду. Когда одна из коров старосты, пятнистая

⁹ Авдал—нищий, бродяга, оборванец.

Джейран, пощипывая траву, подошла к густым камышовым зарослям на краю луга, Илогу, накинув веревку, заарканил ее, как заправский конокрад, и потащил в камыши.

...Неожиданное появление Джейран, которая спустя много месяцев сбежала от своего нового хозяина, не только спутало расчеты Гомуила, но и вызвало у него серьезное беспокойство. Оба сообщника сидели сейчас вдвоем и ломали голову, как выпутаться из этого весьма неприятного для них положения.

— Ладно, давай теперь решим, что нам делать, — примирительно проговорил Гомуил, но тут же, строго посмотрев на собеседника, угрожающе добавил: — Если твоя проделка с коровой станет известна, я ничего не знаю, отвечать будешь ты, только ты!

Он откинулся спиной к коврику и сделал несколько глубоких затяжек, испытующе и выжидательно глядя сквозь табачный дым на угрюмо молчавшего чауша.

— Я многим обязан тебе, — со смиренным видом и внешним спокойствием проговорил Илогу и, преданно заглядывая в его глаза, добавил: — Если надо, я готов все взять на себя, и не только... ты знаешь.

Первый раз за время разговора Гомуил улыбнулся, ласково посмотрев на своего верного чауша.

— Да ты особенно не сокрушайся, — вкрадчиво сказал он. — Есть выход. Говорят, пастух очень болен. Если это так, то надо ему, пока еще не поздно, пустить кровь...

На лице Илогу выразилось недоумение:

— Но как же... я пускаю кровь, чтобы изгнать из тела болезнь, нечистую силу?

— Верно, но не забывай, что душа человека блуждает в его крови.

— Ну и что из этого? — усмехнулся чауш.

Староста хмуро посмотрел на него:

— Недаром же говорится: «Умному — намек, глупому — объяснение», — сердито произнес он, покачав головой, и тихо, почти шепотом, добавил: — Если пустить больному больше крови, чем надо, то вместе с нечистой силой можно изгнать из тела и его душу...

На какое-то время Илогу впился в Гомуила застывшими глазами, пораженный не столько жестокостью, сколько простотой его коварной выдумки. Потом, не произнеся ни слова, он резко распахнул дверь и выбежал на улицу под шумный проливной дождь.

К вечеру состояние больного резко ухудшилось. Временами он впадал в беспамятство и не узнавал людей, приходивших навестить его.

Сосед Ишмаила Рахмон всю ночь, не смыкая глаз, провел у изголовья больного, стараясь хоть сколько-нибудь облегчить его страдания. Холодный пот зативал еще более осунувшееся после кровопускания, почерневшее лицо пастуха. Неестественно блестящие глаза смотрели бессмысленно, в груди хрипело и клокотало. Он задышался и беспокойно метался на постели.

Обычно веселый, жизнерадостный, Рахмон сейчас, глядя на соседа, бьющегося из последних сил в когтях смерти, на его испуганных детей, украдкой утирал невольные слезы.

Рахмону едва минуло тридцать лет, а он уже был дедушкой. Нюгдинцы обычно рано женили своих детей, словно боясь, что или родители, или сами дети не успеют дожить до этого счастливого события. Мальчика уже в четырнадцать лет считали женихом, мужчиной, а девушку в возрасте двенадцати-тринадцати лет нередко выдавали замуж.

Самого Рахмона женили, когда ему шел пятнадцатый год. В прошлом году он выдал замуж свою тринадцатилетнюю дочку, и та недавно стала матерью. Жена его, Майрам, маленькая, смуглая, худенькая женщина с бледным измученным лицом и заостренными скулами, рожала чуть ли не каждый год. Про нее говорили в селе, что она вечно беременная. Такая чрезмерная плодовитость жены не на шутку огорчала мужа. Иногда, глядя на жену и тяжело вздыхая, Рахмон говорил ей с горькой усмешкой:

— Эх, корова из тебя вышла бы на зависть всему свету, а как жена, ты—божья кара для бедняка.

— Ах, не гневи бога, Рахмон, прошу тебя, — страдающим голосом умоляла его Майрам, которая и сама была не рада, что так часто рождает. — Ведь это он, всевышний, дает нам детей, то ли за нашу доброту, то ли за наши грехи.

— Если бог добр к нам, почему же наша единственная корова часто остается яловой, из-за этого у нас в доме ни

молока, ни сыра, а ты рожаешь каждый год, — не уни-
мался Рахмон.

Суеверная жена, боясь, как бы жалобы и упреки не-
сдержанного на язык мужа не разгневали грозного все-
могущего бога, и он не наслал бы за это на них новые
беды, каждый раз слезно умоляла Рахмона не сетовать
на судьбу.

Но Рахмон, хотя был обременен большой семьей и,
как большинство его односельчан, жил в бедности, ни-
когда не унывал. Он любил шутить, балагурить, хорошо
играл на зурне, а иногда и сочинял песни. За эти «пустые
затеи» степенные крестьяне считали его чудачком и пусто-
мелей.

Но этот человек обладал добрым и отзывчивым серд-
цем. Вот сегодня, после тяжелой работы в поле, он, не-
смотря на усталость, сидел у больного соседа: то выти-
рал полотенцем пот, заливавший ему лицо, то, обхватив
руками, крепко держал, когда тот в бредовой горячке
порывался вскочить с постели.

После полуночи Ишмаил, уже совершенно обессилен-
ный, лежал неподвижно. Глаза его потеряли прежний
неестественный блеск и затянулись мутной пеленой. Ды-
хание стало тяжелым, из груди вырывался лишь слабый
хрип. Жизнь едва тлела в нем, как угасающие угольки
под остывшей золой.

Когда в разных концах села пропели петухи, возве-
щая о близком рассвете, больной судорожно вздрогнул,
вытянулся и больше не шевелился.

Утром тело покойного обмыли, зашили в саван, куп-
ленный в лавке старосты на гроши, собранные у сельчан,
положили на носилки и быстро понесли на кладбище.
Саван был, пожалуй, единственной обновкой, которую
первые за долгое время видели на пастухе.

Предав тело земле, нюндинцы собрались на краю
кладбища, у ручейка, заросшего темно-зеленой осокой.
Наскоро умывшись, они застыли в молитвенных позах.

Один из пожилых мужчин, худой высокий человек с
курчавой длинной бородой ассирийского царя, раби
Шафад¹⁰, поманил к себе сына покойного.

— Сын мой, повторяй дословно за мной то, что я
сейчас буду говорить тебе, — обратился он к мальчику
и звучным внушительным голосом, отчеканивая каждое

¹⁰ Раби — служитель культа.

слово, начал так: — Я — родной сын своего отца, кровь от крови и плоть от плоти его, заявляю перед лицом всего джамаата, что, кроме меня, у моего отца нет сына.

Когда Сосун, сдерживая рыдания, вслед за раби произнес эти слова при строгом и скорбном молчании односельчан, тот, придав своему звучному голосу грозные и торжественные нотки, продолжал:

— Если кто-нибудь под моим именем и обликом явится к моему отцу, будет тревожить его покой, пусть того постигнет божья кара и проклятия народа! Аминь!

Сосун слово в слово повторил все, что говорил раби. Нюгдинцы вслед за ними воскликнули: «Аминь» и тут же во главе со своим пастырем поспешно покинули кладбище.

Вечером в осиротевший дом пастуха пришли односельчане и односельчанки, чтобы почтить память усопшего, разделить горе его детей. Лица мужчин при колеблющемся свете дымящей коптилки были задумчиво-сосредоточены и торжественно-печальны. Набив табаком кальяны, они повели тихую беседу. Сначала поговорили о покойном, о том, какой он был добрый, честный человек, заботливый отец. Вспоминая его достоинства, сельчане говорили, что не произойди этот нелепый случай с пропажей злополучной коровы Гомуила, не проводи Ишмаил почти целый год в тюрьме, он бы жил до старости и растил своих детей. Потом разговор незаметно перешел на старосту. Собравшиеся дали выход давно копившейся обиде.

— Теперь нам и повернуться негде, — с горечью проговорил Офдум — мужчина лет тридцати пяти с большими черными усами на худошавом бритом лице. В селе его в шутку прозвали Офдум Четверть Быка, так как он и три других нюгдинца сообща владели одним единственным рабочим быком. — Сейчас куда ни повернешься, чуть ли не везде натыкаешься на владения старосты, пропади он пропадом. Мало ему своего добра, так он еще наши общинные луга и леса начинает прибирать к рукам. Скоро он потребует, чтобы мы платили ему и за выпас, и за лес.

— Да, к этому дело идет, — поддержал Офдума сидевший рядом с ним маленький пожилой мужчина с густой проседью в пышной бороде. Одет он был в старый бешмет, подпоясанный красным кушаком.

У Одома — так звали пожилого мужчину — было четверо дочерей и ни одного сына, поэтому он считался «хьомолом» — несчастным бездетным. Чтобы всевышний обратил на него внимание и послал ему сына, старик носил, как полагалось по обычаю, красный «кушак бездетности». В комнате было жарко натоплено, но Одом сидел в шубе, накинутой на худые плечи: уже много лет его мучила лихорадка.

— И без того сколько разных поборов: царю плати подушный налог—раз,—старик заломил один палец на левой руке,—хозяину за аренду земли—два, старосте за то, что стоит над нами, — три, рабы за то, что молится за нас, — четыре, знахарю за то, что бреет нас и пускает кровь, — пять...

— Да будет счастливым твой конец, дядя Одом, не надо, не считай, все равно пальцев не хватит, придется их занять у меня, — перебил его Рахмон и, хитро усмехнувшись в черные усы, добавил: — Чем вести бесполезный счет, кто сколько с нас шкур сдирает, давайте лучше я расскажу вам, как наш староста, да чтоб он провалился, ездит к губернатору и выпрашивает у него купчую на наши общинные земли и леса, наивные вы глупцы!

Рахмон молча обвел присутствующих карими, лукаво-насмешливыми глазами. Его слова вызвали у одних недоверчивые улыбки: знаем, мол, какой ты чудак и пустомеля, а у других — откровенный интерес и любопытство. Но и те, и другие приготовились слушать его со вниманием. И когда в комнате воцарилась тишина, Рахмон начал говорить о губернаторе, о его привычках, вкусах, торжественных выездах и семейных делах с такой «осведомленностью», словно нюгдинец не раз проводил время в обществе губернатора и лично знал правителя Дагестана.

По рассказам Рахмона, губернатор Дагестана живет в роскошном мраморном дворце в Темир-Хан-Шуре, как все равно падишах. Да и сам он, оказывается, приходится царю Николаю не чужим, а родным племянником и даже чуть ли не наследником, так как царь не имеет сына, у него одни дочери. Но царь вместо «кушака бездетности» на бедре носит голубую шелковую ленту через всю грудь. Если Николай умрет «хьомолом», губернатор Дагестана взойдет на его престол, как законный наследник. Поэтому он держится чрезмерно важ-

но. И каждый, кто идет к губернатору, будь то по делу или просто поглядеть на него, должен согласно обычаю приподнести ему, как пишкеш, полную четверть монопольной водки и свиную голову.

— Губернатор и его жена, которую зовут Каспожой, — рассказывал Рахмон, — от чрезмерного употребления крепкой монопольной водки и свинины раздулись как бочки, лопаются от жира. Их возят на арбе, запряженной четверкой здоровенных рысаков.

Рахмон, польщенный вниманием слушателей, все больше воодушевляясь, принялся далее, не жалея красок, описывать характер и поведение Каспожи-губернаторши.

— На виду у всех она ходит почти раздетая: с открытой белой грудью и широкой голой спиной, — уверенно продолжал Рахмон. — Каспожа позволяет всякому мужчине целовать ее руку при муже и без него, а нередко на виду у губернатора даже танцует в обнимку с офицерами...

Мужчины весело смеялись, а женщины в ужасе от услышанного, неодобрительно цокая языком, осуждающе покачивали головами.

— Вай аман!.. Как же ее муж, этот самый губернатор, терпит такое: не отсечет кинжалом ей голову или не прогнать вон?.. Где же его намус¹¹? Зачем он тогда носит папаху? — удивленно воскликнула повитуха Эвшаг, пожилая женщина с полным круглым лицом и крашенными хной волосами.

— У них обычай такой, — с видом знатока заявил Рахмон. — Да и носит губернатор на голове, скажу тебе, Эвшаг, не папаху, как наши мужчины, а фуражку.

— Неужели и Гомуил возит губернатору свиную голову? — возмущился старик Шелбет и брезгливо поморщился. — Да как же ему не противно прикасаться к свинье, как он осмеливается нарушать святые законы наших отцов?

— Если хочешь знать, дядя Шелбет, наш староста сам не прочь откусать вместе с губернатором и Каспожой от свиной головы, только бы ему прирезали лишний участок нашей общинной земли, — зло усмехнувшись, произнес Рахмон.

¹¹ Намус—честь.

— Вай! Хватит!.. — запротестовала одна из женщин, прикрыв ладонью рот.

— Клянусь богом, пошел бы я к губернатору с жалобой на нашего старосту, но как вспомню, что ему надо нести пишкеш — свиную голову, дрожь меня пробирает, — с возмущением проговорил старый Шелбет.

В разгар беседы в комнату вошли Гомуил и раби Шафад. Все поднялись с места и продолжали стоять, пока они не пошли в глубь комнаты и не уселись между пожилыми мужчинами. Собравшиеся, соблюдая приличие, молчали, ожидая, когда первым заговорит раби.

Некоторое время он сидел молча, опустив голову и медленно водя ладонью по длинной, в колечках, седеющей бороде. Присутствующие догадывались, что раби Шафад сейчас мысленно подыскивает тему для душевспасительной беседы, и выжидающе смотрели в его сторону. Будучи людьми темными и очень суеверными, они с доверием и почтением относились к своему духовному пастырю, хотя многие из них осуждали его за глаза за дружбу со старостой.

Он начал говорить о том, что душа человека после его смерти, отделившись от бренного тела, предстает перед божьим престолом на небесах. И там в присутствии ангелов бог взвешивает на чашах весов все добрые и злые дела покойного, затем решает, куда поместить его душу: или в райские сады, находящиеся на седьмом небе, — и тогда его ожидает вечное блаженство, или в подземный ад, где он будет гореть в геенне огненной...

Раби Шафад говорил о врожденных дурных наклонностях человеческой натуры, легко поддающейся соблазнам, злым и губительным страстям. И чтобы хранить душу в чистоте, надо, говорил он, обуздать плотские желания и за мирской суетой не забывать о боге, прощать обиды, не завидовать ближнему...

Гомуил, сидевший рядом с раби, делал вид, будто все, что он говорит, его, как человека набожного, глубоко трогает. А нюдинцы слушали своего красноречивого пастыря с искренней верой и почтительным суеверным страхом перед всемогущим господом.

Когда раби закончил проповедь, на некоторое время воцарилась глубокая тишина. Первой нарушила ее любопытная Эвшаг, сидевшая с остальными женщинами в нижней половине комнаты, отдельно от мужчин.

— Прости, раби, — тихо и боязливо произнесла она, скромно прикрывая рот краем темного платка, — вот когда покойный Шемей, да простит нам бог, что производим его грешное имя, приходил к нам с того света, его душа была с ним?

Вопрос старой Эвшаг насторожил всех. Присутствующие с выражением крайнего любопытства и некоторого замешательства молча уставились на Шафада. У каждого, из сидящих здесь, был еще свеж в памяти случай, о котором говорила Эвшаг, но который нюгдинцы всегда избегали упоминать в разговоре друг с другом, как нечто грешное и запретное.

...Лет десять назад нюгдинцы похоронили своего односельчанина Шеменя. Это был высокий крутоплечий мужчина лет сорока, удивлявший всех своей недюжинной силой. Работая на току, Шемей без особых усилий поднимал с земли тяжелые мешки с зерном и легко, словно сухие снопы, закидывал их в арбу. А если случалось, что лошадь не могла вытянуть повозку, застрявшую в липкой грязи или на ухабе, то он сам впрягался в оглобли и вытаскивал ее.

При жизни Шеменя нюгдинцы очень часто с гордостью и веселым смехом вспоминали о победе своего односельчанина, силача Шеменя, над приезжим иранским пехливаном. Произошло это года за четыре до смерти Шеменя. В то время некий странствующий борец по имени или по прозвищу Пулат-Пехливан¹², разъезжал по селам южного Дагестана.

Иранец невысокий, но кряжистый, как дуб, с бычьей шеей и резко очерченными мускулами, напоминавшими тугие узлы, действительно производил впечатление человека, отлитого из стали. У него был собственный крытый фургон, как повозка у вечно кочующего цыгана. Пехливан останавливался в каждом селении. Выступая перед жителями, он демонстрировал свою силу, вызывал охотников на борьбу и с каждого зрителя брал за представление по одному шаи¹³ или шааду¹⁴ зерна.

Честно говоря, нюгдинец, никогда в жизни не боровшийся на ковре, никакой победы над иранским пехливаном не одержал, но он заставил его расплакаться, как не-

¹² Пулат-Пехливан—стальной богатырь.

¹³ Шаи—пять копеек.

¹⁴ Шаад—небольшая деревянная посуда—мерка для пшеницы.

заслуженно обиженного ребенка. За это нюгдинцы прозвали иранца «Пехливан гирис-гирис»¹⁵.

Пулат-Пехливан приехал в Нюгди в тот самый день, когда в селе справляли весенний праздник Шаами-весал¹⁶, на улицах и на окраине села весело трещали жаркие праздничные костры.

Остановившись на прошлогоднем току, заросшем вокруг молодой шелковистой травой, пехливан принялся проворно выгружать из фургона двухпудовые гири, кузничную наковальню, два тяжелых молота и широкий, истертый, покрытый пылью ковер с порванными краями.

Вскоре все население села и стар и млад потянулись к тому току, чтобы посмотреть на представление.

Пехливан выступил на середину ковра в одних трусах и тут же стал подбрасывать вверх двухпудовые гири и ловить их на лету, словно это были не железные гири, а тряпичные мячи, набитые шерстью. Показав несколько номеров с гирями, пехливан подозвал двух молодых здоровых нюгдинцев, а сам лег спиной на ковер. По его указанию молодые парни поставили на волосатую грудь пехливана наковальню, а затем вооружившись тяжелыми молотами, начали, по сигналу пехливана, с силой бить по наковальне. И она при каждом ударе молота подпрыгивала на груди силача. В теплом весеннем воздухе далеко разносился перестук молотов, точно из кузницы.

Этот номер привел нюгдинцев в дикий восторг и в тоже время вызвал у многих острую тревогу за жизнь и здоровье приезжего пехливана. В рядах зрителей, особенно пожилых мужчин и женщин, стали раздаваться протестующие голоса, предостерегающие «молотобойцев»:

— Хватит!.. Прекратите!..

— Имейте совесть, харамзаде!¹⁷

— Смотрите, убьете гостя и опозорите наше селение на весь свет!

Нюгдинцы облегченно вздохнули, когда «кузнецы»

¹⁵ Пехливан гирис-гирис—пехливан-плакса.

¹⁶ Шаами-весал—языческий обряд. В день шаами-весал, который приходится на начало весны, зажигаются костры, вокруг которых исполняются обрядовые песни, танцы, а молодежь прыгает через костры. Люди просят огонь, чтобы он очистил их от болезней, предохранил посевы и скот, а также их самих от духов, различных «стихийных бедствий».

¹⁷ Харамзаде—нечестивец.

перестали бить по наковальне, а пехливан, как ни в чем не бывало, живой и невредимый, встал, учтиво и с достоинством поклонился зрителям. Потом пехливан, гордо подбоченившись, окинул всех самодовольным и горделивым взглядом, громко сказал:

— Если кто из вас хочет померяться со мной силой, милости прошу, — и небрежно, указав на ковер, добавил: — Вот — конь, вот — ристалище¹⁸.

Все смущенно умолкли, а некоторые многозначительно захихикали: дескать, кому охота, чтобы этот медведь наломал бока.

Когда иранец повторил свой вопрос, в котором на этот раз прозвучали высокомерные и насмешливые нотки, неожиданно среди общего молчания раздался голос Шеменя:

— Я хочу!

Пехливан, даже не удостоив взглядом Шеменя, с готовностью произнес:

— Выходи!

— Прошу прощения, — скромно сказал Шемей, вставая с места. — Я только на минутку сбегая домой, приведу себя в порядок.

Сказав это, Шемей сразу побежал домой. Нюгдинцы, хотя и знали о том, что их земляк обладает буйволиной силой, но были твердо уверены в том, что пехливан непременно победит Шеменя, а то чего доброго, в горячке еще и искалечит его. Ведь пехливан не только силен, но и владеет искусством борьбы. В то же время смелый вызов Шеменя вызвал у них невольное уважение к своему односельчанину и гордость за него. И зрители, охваченные острым любопытством, с нетерпением ждали начала схватки.

Вскоре появился Шемей. Он был в одних кальсонах, но неаккуратно, видимо, в спешке подрезанных сверху выше колен. От него даже на расстоянии разило протухшим топленным маслом. Ступив на ковер, он с ходу бросился на иранца. После первой же схватки пехливан с омерзением вырвался из цепких объятий Шеменя и возмущенно крикнул:

— Поди прочь, вон! Я с тобой не желаю бороться.

¹⁸ Поговорка, применяемая в том смысле, что, мол, выходи, на виду у всех и покажи, на что ты способен.

Ты вымазался вонючим маслом да и ногти у тебя, как у жанавара¹⁹!

— Не хочешь бороться, признавай себя побежденным! — крикнул кто-то из толпы, и многие присутствующие поддержали его.

Шемей, ободренный поддержкой земляков, вновь бросился на пехливана. Борьба возобновилась. Видимо, иранец испугался, что нюгдинцы не заплатят ему за выступление или сочтут его отказ от борьбы как признание им своего поражения.

Несмотря на все свои старания, иранцу не только не удалось положить своего противника на лопатки, но даже схватить его хоть раз, зажать в железные тиски и бросить на ковер. При каждой такой попытке Пулат-Пехливан Шемей ускользал из его объятий, точно угорь. Зато нюгдинец с необыкновенным проворством хватал своего противника и тут же отпускал. Не соблюдая никаких правил борьбы, он при этом нещадно царапал голую спину, бычьей шее и волосатую грудь пехливана.

Вдруг к удивлению и смущению нюгдинцев произошло неожиданное: пехливан перестал сопротивляться. Он, прекратив борьбу, усталый, мокрый весь от пота, раздосадованный неудачей, с кровавыми полосами на всем теле от острых ногтей Шемея, сел на ковер и горько заплакал.

И вот этот самый Шемей — «победитель» «Пехливана гирис-гирис» — как-то раз отправился в лес заготавливать уголь. К вечеру односельчане, возвращавшиеся домой с поля, нашли его в лесу безжизненно лежащим у дороги возле большой кучи дымящегося угля. Шемея на руках принесли домой, обливали холодной водой, дергали за бороду, кололи шилом пятки, хлестали по щекам, но он не приходил в себя. Тогда старейшины решили, что дело тут вовсе не в угаре: видимо, когда Шемей спал в лесу, ангел смерти Азраил, спешивший в это время за чьей-то душой, случайно наткнулся на него и забрал его душу вместо той, за которой он шел. Поэтому они распорядились немедленно предать тело Шемея земле, как того требует обычай.

На следующее утро всем джамаатом похоронили Шемея. Нюгдинцы то ли по издавна установившемуся у них порядку, то ли потому, что за оврагом, где раскинулось

¹⁹ Жанавар — зверь, хищник.

кладбище, подпочвенные воды были близко, обычно рыли неглубокие могилы — в полчеренка лопаты глубиной. Сверху ямы закладывали толстыми сучьями, покрывали ветками, сухой соломой, а затем засыпали свежей землей.

Лунной ночью, когда селение было погружено в сонное безмолвие и лишь время от времени далеко раздавались в застывшей тишине хриплые, похожие на протяжные стоны, крики петухов и лай собак, потревоженных тоскливым завыванием шакалов в окрестных садах и ближних лесах, какой-то человек огромного роста, совершенно голый, преследуемый целой стаей неистово лающих псов, вбежал во двор, откуда накануне вынесли покойника, и постучал в дверь.

— Кто там? — слышался хриловатый голос вдовы покойного.

— Это я, Шемей, открой скорее! — ответил голый человек, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Жена сразу узнала родной голос. Но вместо того, чтобы отшвырнуть засов, распахнуть дверь и кинуться на свою чудом воскресшему мужу, кричать на все село о своей радости, она пришла в ужас. Бедная женщина решила, что к ней стучится не сам Шемей, а его душа, мечущаяся после расставания с телом, или же это дьявол принял образ мужа.

— Вернись в свою обитель, дорогой, успокойся, — принялась умолять Шемея жена, трепеща от страха.

Но тот, потеряв терпение, стал ломиться в дверь, крича на весь двор:

— Клянусь могилой своего отца, если ты сейчас же не откроешь мне дверь, я пересчитаю твои ребра, дочь хромой Божи!..

Шемей всегда так грозил жене, если почему-либо сердился на нее. Но она, боясь, что мертвец вот-вот ворвется в дом, подняла дикий вой.

Разбуженные среди ночи криками жены Шемея, не утихающим лаем собак соседи, а вслед за ними и другие сельчане, сбежались во двор. Неожиданная встреча с усопшим ошеломила и сбила всех с толку, вызвав страх и замешательство. А Шемей, увидев родные и знакомые лица, перестал ломиться в дверь. Шатаясь, как пьяный, он вышел на середину двора и, прикрыв рукой наготу, закатился долгим истерическим смехом.

— О, джамаат, смотрите, что творится на белом свете: жена усыпила меня и похоронила как покойника, а теперь боится пускать домой, потому что она прячет там своего ошне²⁰. — Он внезапно умолк, потом обращаясь ко всем умоляющим голосом, заговорил опять: — Ради бога, помогите мне войти в мой дом, обнять моих детей.

Сельчане, оцепенев, продолжали глядеть на Шемей в немо́м ужасе. Все то, что видели сейчас нюгдинцы, было непостижимо для них. Они знали — умершие не воскресают, но твердо верили, что иногда дьявол может принять облик покойного и явиться в село, чтобы покалечить скот, повредить посе́вы, напустить на людей мор...

— Чего стоите, как истуканы! — крикнул Гомуил, с трудом пытаясь унять дрожь, охватившую его при виде мертвеца. — Это не Шемей, а дьявол в его образе! Убейте его!..

Услышав грозный призыв старосты расправиться с ним, Шемей сначала опешил, потом от сильного волнения забыв, что он голый, протестующе взмахнул руками и с возмущением крикнул:

— Староста! Побойся бога, почему ты толкаешь людей на грех?! Почему они должны убить меня?! Разве вы не видите, что я не дьявол, а ваш односельчанин Шемей, победитель «пехливана ги́рис-ги́рис»?

Едва он произнес эти слова, как тут же почувствовал тупой удар в бок. Шемей вскрикнул от боли, зашатался, но удержался на ногах. Увидев искаженное лицо старика Шелбета, стоявшего перед ним с тяжелым колом в руке, он отпрянул:

— Шелбет, отец мой, не бей меня!.. Что я сделал плохого вам? Почему вы меня хотите снова загнать в могилу?!

— Если ты Шемей, то где саван, в котором мы хоронили тебя сегодня? Разве Шемей показался бы в селе с открытым срамом? — крикнул кто-то из толпы.

Голый человек, вытянув шею, сделал несколько шагов вперед, чтобы узнать, кто это говорит, но заметив, как сгрудившиеся односельчане всполошились, в испуге подался назад, сразу остановился.

— Да вы не бойтесь меня! — с обидой и насмешкой в голосе проговорил он. — Саван я разорвал и сбросил по дороге, а то эти проклятые собаки мне проходу не

²⁰Ошне—любовник.

давали, чуть не загрызли. — Он нагнулся и показал рукой на свои искусанные ноги. — А голого, сами знаете, собака не кусает.

Слова Шемея на минуту заставили их поверить в то, что перед ними действительно их односельчанин, а не какой-то оборотень. Но вновь раздавшийся голос Гомуила, который больше всех боялся, как бы дьявол не погубил его скот и посеvy, поколебал их уверенность:

— Не дайте бесу попутать себя! Беда обрушится на ваши головы! Прогоните дьявола или убейте его!..

Мгновенно в чьей-то руке блеснул кинжал и с размаху опустился на большую бритую голову Шемея. Он с протяжным воплем обхватил голову обеими руками и, обливаясь кровью, стал метаться по двору, стараясь вырваться из людского кольца, но та же неумолимая рука настигла его. От второго удара Шемей застонал, отпрянул назад и плашмя упал на землю. И тут в толпу возбужденных нюгдинцев ворвались Рахмон и пастух Ишмаил, громко перебивая друг друга, закричали:

— Это — Шемей!

— Не трогайте его!..

— Вот его саван!

— Могила его открыта! Своими глазами видели!

— Не берите греха на душу!..

Но было уже поздно. Шемей лежал на спине, вытянувшись во весь богатырский рост, разметав руки в стороны, с рассеченной головой и зияющей раной на груди. Глаза его были открыты. Они с немим криком смотрели на мерцающие звезды, словно призывая их в свидетели дикой расправы над ним, ни в чем не повинным человеком.

На следующий день Шемея хоронили вторично, на этот раз на склоне небольшого холма, за кладбищем. Раби даже запретил родственникам поставить надгробный памятник, а сельчанам — упоминать об умершем. Могила постепенно заросла терновником и колючими кустами ежевики, навсегда скрылась от глаз.

Но то страшное ночное происшествие продолжало жить в памяти людей, будоражить воображение суеверных нюгдинцев, вызывая самые разнообразные толки и догадки.

И когда в этот вечер о нем снова вспомнили, раби, задумчиво оглаживая свою окладистую бороду, произнес с сомнением в голосе:

— Трудно судить: был ли то Шемей или дьявол в его образе. Если даже Шемей, то он вернулся с того света не по велению бога или ангела, а по наущению дьявола, потому что ни один мертвый не воскреснет, пока не наступит день Страшного суда над живыми и мертвыми...

Сын покойного Ишмаила сидел рядом с Рахмоном, подавленный и растерянный, с недоумением и страхом прислушиваясь к разговору старших. То, что он пережил сегодня и услышал сейчас, казалось ему каким-то тяжелым, запутанным сном, полным ужасов и гнетущей тоски.

«ПИРАМИДЫ ФАРАОНА»

Это было в разгаре, июльское солнце обливало землю горячим зноем. Травы давно выгорели, пожелтели хлеба, и когда налетал свежий ветерок, тугие колосья, ударяясь друг о друга, тихо звенели. Дрожащий воздух дышал жаром, обжигал лицо. Кое-где уже начинали осыпаться хлеба, и крестьяне спешили с уборкой.

Свободную землю вокруг села заранее очистили, разровняли и утрамбовали, превратив в тока. Когда почти вся пшеница была скошена и вывезена в село, у токов неровными желтыми холмами выросли скирды. С утра до вечера под палящим солнцем кипела работа: одни длинными кнутами гоняли по кругу мокрых от пота лошадей, тянувших по раскинутым снопам молотильные доски, другие деревянными вилами сгребали мякину, третьи сушили зерно и ссыпали его в сучалы.

Для Гомуила подготовили сразу несколько токов, соединив их как бы в один большой ток. Словно горы, возвышались возле него желтые скирды. Сельчане между собой называли их «пирамидами фараона». Об этих гигантских сооружениях они слышали от раби и представляли их себе похожими на огромные скирды пшеницы. Но в название крестьяне вкладывали и свое отношение к старосте, сравнивая его с библейскими фараонами, на крови и костях невольников построившими знаменитые усыпальницы.

В эти страдные дни на Гомуила работало много батраков, начиная с престарелого Шелбета и кончая под-

ростком Сосуном. Его тока и вечером были самым оживленным местом. Когда наступали первые сумерки и прохлада и с ними прекращалась работа, почти все мужское население стекалось сюда. Детям нравилось играть среди «пирамид» в прятки, а взрослым тока Гомуила на время обмолота заменили майдан. Они шли сюда, чтобы после жаркого трудового дня передохнуть, скоротать время за приятной беседой.

Почти каждый вечер приходил вместе со всеми и Рахмон, захватив с собой зурну. В вечернем воздухе разносились ее то печально-заунывные, то задорно-веселые звуки. Нередко кто-нибудь из молодых нюгдинцев, в отсутствие стариков, лихо пускался в пляс, а остальные азартно хлопали в ладоши, подзадоривая танцующих.

Взрослых сельчан тянуло сюда и другое. Старший сын Гомуила Шоул, который учился в гимназии, каждый год во время летних каникул приезжал из города в родное село. Это был худощавый юноша среднего роста, со светло-карими, немного близорукими глазами и открытым добродушным лицом.

Крестьяне относились к нему с большой симпатией. В отличие от отца он держался с ними просто, как равный с равными. Очень часто он рассказывал жителям селения удивительные истории.

В один из лунных вечеров, когда на току было особеннолюдно, Шоул говорил сельчанам о том, как три года назад в морозный январский день русские рабочие со своими женами и детьми огромной толпой шли к царскому дворцу, чтобы просить у царя хлеба для своих голодных семей, чтобы найти защиту от притеснителей-хозяев.

Когда гимназист сказал, что царь приказал стрелять войскам в безоруженых людей, нюгдинцы были потрясены услышанным. Только Илогу, язвительно усмехаясь, заметил:

— Трудно поверить, чтобы царь стрелял в свой райят²¹, если они шли к нему с миром.

Несмотря на сумерки, почти все заметили, как обычно спокойный, уравновешенный гимназист, резко подавшись вперед, взглянул на чауша своими близорукими глазами с откровенной ненавистью и презрением. Шоул сдержал

²¹ Райят—поданные.

себя и, помолчав, вновь заговорил обычным спокойным тоном:

— К сожалению, рабочие, идя к царю, тоже думали, что он выйдет к ним и выслушает их жалобу. Но хозяин всегда на стороне хозяина. Вот поэтому царь, Николай—сам первый богач в России—и приказал стрелять в рабочих, которые пришли жаловаться на своих хозяев.

— Известное дело: ворон ворону глаз не выклюет, — не без ехидства произнес Рахмон.

Загорелое лицо Шоула осветилось улыбкой:

— Верно ты сказал, дядя Рахмон, верно.

— А как такое злодейство сошло царю с рук? — неспокойно заерзав в ворохе соломы, на которой сидели собравшиеся, подал голос старый Шелбет.

— Хо-хо! Вот и сказал! — удивился Рахмон наивности старика. Похвала гимназиста, казалось, воодушевила его. — Попробуй пойти против царя — мигом на тот свет отправят. У него ведь войска, офицеры...

Все напряженно молчали, ожидая, что скажет Шоул на этот раз.

— Да, верно, у царя большое войско, полиция, — подтвердил гимназист, — но это, однако, не испугало русских рабочих...

И Шоул рассказал, как возмущенные чудовищной жестокостью царя рабочие боролись с казаками, а крестьяне в деревнях сжигали усадьбы помещиков.

Гимназист говорил сельчанам в тот вечер о такой человеческой общине, в которой не будет ни бедных, ни богатых, и даже сказал, что называется она социализм.

Все, что рассказывал Шоул нюгдинцам, казалось похожим на сказку. Но его беседы волновали их, вызывая смутные догадки и новые мысли.

Для тех, кто работал на токах старосты, день обычно начинался задолго до восхода солнца, когда еще очень зябко от предутреннего холода, а ноги мокры в густой росе. Каждый занимался своим делом. Одни развязывали снопы, равномерно раскидывали их на токах, другие запрягали в волокуши лошадей, успевших за короткую летнюю ночь набраться сил, и гоняли их по кругу. Третьи, вооружившись широкими деревянными лопатами, провевали зерно.

Утром в разгар работы на ток явился староста. Лицо его было угрюмым, чувствовалось, что он не в духе. Остановившись на краю тока, у двухярусного шалаша, в тени

которого обычно отдыхали батраки во время короткого перерыва, Гомуил хмуро и рассеянно смотрел, как лошади с лоснящимися от пота боками, фыркая и мотая головами, тащили за собой по сухим помятым колосьям волокуши. На другом току, гладком и чистом, как пол в комнате прилежной хозяйки, стояли тяжелые бунты очищенной пшеницы, а дальше высоко вздымались огромные скирды.

Люди усердно работали, несмотря на усиливающуюся жару. Но старосту, казалось, ничто не радовало сегодня. Он с недовольным видом смотрел на работников, словно ища, на ком бы сорвать зло. И тут ему подвернулся маленький батрак Сосун, который зажав в зубах папироску, длинным жестким веником подметал плотно утрамбованную землю вокруг пшеничного вороха.

— Эй ты, а ну-ка поди сюда! — сердито окликнул Гомуил, поманив его пальцем.

Мальчик бросил веник и подбежал на зов старосты, пряча папироску, которая предательски продолжала дымить в его зажатой ладони.

— Это что у тебя в руке? — Гомуил окинул злым взглядом маленькую худую фигурку, побагровев, несколько раз хлестнул по лицу испуганного, растерянного мальчика. Из разбитого носа хлынула кровь. Бросив папироску и инстинктивно прикрыв запыленными руками окровавленное лицо, Сосун упал на землю. Вид крови, казалось, еще больше взбесил Гомуила, и он принялся пинать батрачонка ногой, не обращая внимания на отчаянные вопли.

— Ты что, поджечь меня хочешь, гаденыш, разорить?! Вот тебе, вот, вот!.. — иступленно рычал разбушевавшийся староста.

Услышав крик мальчика, несколько мужчин, бросив работу, прибежали к месту происшествия... Откуда-то появился и Рахмон, хотя его крохотное гумно находилось на противоположной стороне села. Он сразу кинулся на старосту и с силой толкнул его кулаком в грудь, едва не сбив с ног.

— Не смей бить мальчика! — дрожа от гнева, закричал он.

Гомуил, оставив избитого плачущего Сосуна, с ненавистью посмотрел на Рахмона.

— А тебе какое дело, мерзавец?! — прошипел он, взбешенный его дерзким поступком.

В ответ на старосту посыпались упреки и прямые угрозы батраков:

— Если мальчишка сирота, его, по-твоему, можно обижать, бить, калечить?!

— С жиру бесится...

— Ничего, найдется и на него управа!

Гомуил сперва опешил, он с явным недоумением оглядывал присутствующих: еще не было случая, чтобы батраки позволили себе так дерзко и вызывающе разговаривать с ним, а тем более поднять на него руку. Округлившись глаза его налились кровью.

— Бу-у-нт?! — зыдахаясь от злости, истощно закричал староста. — Бунт?! Вы все, все за это поплатитесь!..

Увидев подоспевшего Шоула, он резко повернулся к нему:

— Это ты во всем виноват, ты!.. Никогда бы эти люди не дошли до такой наглости, чтобы так разговаривать со мной, если б не твои безбожные, подстрекательские хабары!..

Шоул, не слушая отца, подошел к судорожно всхлипывающему мальчику, который все еще лежал на земле, вздрагивая всем телом. Он поднял его, успокаивая, вытер платком испачканное кровью лицо и велел пойти умыться. Батраки в молчании разошлись, снова принялись за работу. А Гомуил все не унимался, продолжая негодовать на сына.

— Не кричи на меня! — произнес Шоул. — Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори спокойно, без раздражения!

Непочтительный тон сына оскорбил отца. Но больше всего его злило другое.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты вчера вечером болтал здесь этим голодранцам? — крикнул он, кивнув головой в сторону работавших на току. — Мне все известно, все...

Трясущимися от волнения руками Гомуил вынул из кармана кальян, набил его табаком и сделал несколько глубоких затяжек. Затем, отойдя к шалашу, он устало опустил на ворох мятой соломы, не спуская с сына недовольного взгляда.

— Подумать только,—сокрушенно заговорил староста, словно рассуждая сам с собой, — человек казенный, учится в гимназии с сыновьями благородных отцов, сын старосты, а якшается со всякими голоштанниками, будь

они трижды прокляты. И чего он нашел хорошего в этих недостойных людях — ума не приложу! Разве для того я его учил, тратил уйму денег? — Гомуил, шумно вздыхая, покачал головой, потом, испытующе взглянув на сына, требовательно спросил: — Ты мне скажи, кто этот смутьян и злодей, о котором ты вчера вечером упоминал здесь, этот самый... Сосализм, не к добру будь упомянуто его окаянное имя! Кто он? Русский, мусульманин, иудей?

— А на что это тебе! — невольно усмехнулся Шоул, заложив руки за спину и со скучающим видом глядя в сторону.

— Не твое дело! — вспыхнул Гомуил — Раз отец спрашивает — отвечай! Кто этот проходимец?! Ты знаешь его?

— Допустим, а что? — уклончиво ответил юноша, словно нарочно дразня отца.

Староста стиснул еще крепкими зубами чубук кальяна, укоризненно покачал головой.

— Вай, вай, горе из-за тебя, — продолжал он сокрушаться, раскачиваясь, как от нестерпимой боли. — И ты, сын старосты, понимающий человек, вместо того чтобы сообщить о нем полиции, избавить нас от этого преступника, повторяешь его бредни, да еще перед кем. Перед своими же работниками!.. В своем ли ты уме, сын?! — чуть не плача от расстройства и досады, — произнес он.

Тут к Гомуилу подбежал его десятилетний сынишка Эсеф. Радостный и возбужденный, он кинулся отцу на шею.

— Тебя-то, сынок, я не отдам ни в какое учение, ни в какие гимназии, будь они неладны, — как бы в укор старшему сыну, произнес он. — Лучше куплю тебе быстрого инходца и хорошую плетъ. Будешь разъезжать на коне и охранять отцовские владения.

Мальчик вдруг вырвался из объятий Гомуила, забежал сзади и с разбегу вскочил на него верхом. Вообразив себя всадником на лихом скакуне, он пятками «пришпорил» отца и победно гикнул:

— Ге-е-ей!.. Поехали!..

У Гомуила от резкого толчка выпал кальян изо рта, но он не рассердился на проказливого малыша, схватил его маленькую ручку и с чувством поцеловал.

День медленно угасал. В высоком небе отчетливо обозначился бледный серп полумесяца. Постепенно за-

мирали дневные звуки. Становилось тише и прохладнее. Из ближних лесов раздались привычные для слуха нюгдинцев тоскливые вечерние завывания шакалов. В ответ со всех концов селения сердито залаяли собаки.

Уставшие после тяжелой работы под палящим солнцем, крестьяне как всегда в это время, группами и по одному начали сходиться к токам старосты. Они расположились возле скирды, как утомленные путники у подножия горы. Свежий ветерок приятно охлаждал лицо, шуршал сухими листьями веток, покрывавших стоявший рядом шалаш. Набив кальяны табаком и свернув сигарки, сельчане, мирно беседуя меж собой, наслаждались коротким вечерним отдыхом.

Среди собравшихся на току сегодня не было Рахмона. Его отсутствие больше всех ощущал Сосун. Рахмон был единственным человеком, который всегда по-отечески ласково и внимательно относился к мальчику. После сегодняшнего случая маленький батрак еще больше привязался к нему, как к самому родному и близкому человеку. Поэтому Сосун побежал в противоположный конец села, где на краю глубокого обрыва, на небольшом пятачке земли, разместился ток Рахмона.

Рахмон молча сидел, обняв руками колени, около маленькой кучки пшеницы, вокруг которой в беспорядке валялись деревянные грабли, вилы, лопаты и метла. Казалось, он не то дремлет, не то о чем-то задумался.

— Добрый вечер, дядя Рахмон! — негромко произнес Сосун.

— Ах, это ты?! — словно очнувшись от забытья, усталым голосом проговорил Рахмон. — Садись, сынок, садись.

Мальчик сел, поджав под себя босые, покрытые пылью ноги и молча уставился на Рахмона. Он почувствовал, что сосед его чем-то сильно озабочен.

— Что-нибудь случилось, дядя Рахмон? — с беспокойством спросил Сосун, глядя в бритое смуглое лицо соседа.

Рахмон кивнул головой, потом тихо заговорил:

— Вот посмотри, — указал он рукой на кучку пшеницы, — это все, что осталось у меня после обмолота. Урожай в этом году был плохой, и того, что я собрал, едва хватило, чтобы уплатить долг старосте за аренду земли и за то, что пахал его буйволом. Сорок мерок пшеницы я остался ему должен еще с прошлого года. Сегодня он

мне пригрозил, что, если я не верну ему прошлогодний долг, он отберет мой виноградник. А у меня кроме полдесятины виноградника, сам знаешь, ничего нет. Как тогда жить?..

Ничто в Рахмоне не напоминало сейчас того лукаво-насмешливого, вечно неунывающего человека, каким его привыкли видеть все.

— А ведь я мог бы хоть завтра же рассчитаться с Гомуилом, покарай его бог, — после короткого молчания, словно рассуждая сам с собой, продолжал он. — Но верно говорится: «Несчастливого волк даже с горба верблюда достанет». — И Рахмон, как с другом, поделился с мальчиком своей бедой.

Боясь, что староста отнимет за долги его виноградник, Рахмон решил зарезать свою единственную корову, чтобы продать мясо сельчанам и расплатиться с Гомуилом.

Когда ее выводили со двора, жена и дети, громко плача, умоляли отца не забивать их любимицу. А корова, вытягивая шею, лизала шершавым языком протянутые ласковые детские руки, будто прощаясь.

Возле гумна ей связали ноги, повалили на бок. Подошел раби Шафад с большим острым ножом...

Когда корову освежевали, раби, присев на корточки, принялся придирчиво ощупывать еще теплые внутренности. Рахмон с напряженным вниманием следил за каждым его движением. Наконец Шафад поднялся, рассеянно глядя на свои испачканные кровью руки, и мрачно произнес:

— Харам!..

Это роковое слово ошеломило Рахмона. Ноги его подкосились.

— Раби! — взмолился Рахмон. — Какой харам?! Смотри лучше, корова здоровая, тучная, никакой болезни у нее нету. Не губи меня и мою семью, заклинаю тебя богом и памятью твоего отца!..

— Как бы ты ни просил меня, — угрюмо сказал раби, неторопливо вкладывая нож в футляр, — ничего не смогу сделать, не могу разрешить единоверцам есть такое мясо. — И, помолчав немного, добавил: — У коровы в легких порча²².

²² Согласно своей религии, таты могли есть только мясо животного, зарезанного человеком духовного звания и разрешенное им к употреблению. Словом «харам» накладывался запрет на мясо.

С этими словами Шафад удалился. Весь остаток дня Рахмон метался по селу в поисках телеги и лошадей, чтобы отвезти мясо на вокзал и продать там хотя бы по дешевке русским железнодорожникам или в соседнее азербайджанское село. Но все лошади были заняты на токах и полях. К вечеру, когда ему, наконец, удалось найти подводу, было уже поздно: от жары мясо стало портиться, густо покрываться белыми червями...

— Идите к черту, проклятые! — вдруг сердито крикнул Рахмон, обернувшись назад.

Мальчик в недоумении взглянул на него, потом повернул голову в ту сторону, куда смотрел сосед. Шагах в десяти от тока целая стая псов, глухо рыча, рвала желтовато-белую коровью тушу.

— Не могу спокойно глядеть, будто они мое тело терзают, — страдающим голосом произнес Рахмон, — и в доме тоже все плачут, как по покойнику.

Сосун молчал, подавленный его горем. На небе продолжал светить острый, кривой, как сабля, холодный полумесяц. Равнодушно глядели на землю далекие мерцающие звезды. Безмолствовало все вокруг...

ТАЙНА РЕКИ ГРИГОРИНЧАЙ

Живописны густые леса и солнечные поляны, раскинувшиеся вокруг селения, щебра земля нюгдинская. Здешняя дыня источает такой аромат, будто это не дыня, а букет благоухающих роз, и такая она сладкая, словно ее вырастили на почве, сдобренной медом. А есть ли где вкуснее и прозрачнее виноград, румяней и сочнее персики, зернистее пшеница, чем в Ню́нди?! Наверно, поэтому нюгдинцы в своих песнях сравнивают дыню с грудью возлюбленной, сочную виноградную ягоду — с оком красавицы, а про свою пшеницу говорят иносказательно: «Пшеничный хлеб — стальной желудок».

Своей красотой и плодородием нюгдинская земля обязана прежде всего быстроводной реке Григоринчай, берущей начало на горных снеговых вершинах. Вода в ней не совсем прозрачная, немного илистая, но мягкая и приятная на вкус.

Как сердце человека, которое не перестает работать и тогда, когда он спит, так и река Григоринчай, неугомонная и шумливая, течет день и ночь, летом и зимой, по сотням каналов посылая живительную влагу полям и садам. Если бы не было реки, не было бы и самого селения. Поэтому нюгдинцы смотрят на нее, как на свою кормилицу и защитницу. Нередко влюбленная девушка, не в силах противиться самовластным родителям, запрещавшим ей выйти замуж за избранника своего сердца, бежала к реке, чтобы найти в ней вечное успокоение, как испуганное дитя в объятиях родной матери. Забравшись на крутой обрыв или высокое дерево, нависшее над Григоринчаем, она, в предсмертном крике произнося имя возлюбленного, бросалась вниз головой в быструю реку. Случалось не раз, что следом за девушкой бежал к реке юноша, чтобы разделить участь любимой: разлука для любящих мучительнее смерти. С Григоринчаем у нюгдинцев было связано много самых разнообразных историй и преданий.

Река кормила их рыбой, которая водилась в ней в изобилии. Часто на ее берегах можно было видеть плавающие в ночи костры рыбаков.

...Летним вечером сидели у ярко горевшего костра дедушка Шелбет и маленький батрак Сосун. Было тихо. Только говорливый шум реки, блесневшей при лунном свете, нарушал глубокое безмолвие. Языки пламени освещали склоненные у огня фигуры рыбаков, отбрасывали красные отсветы на густо рассыпанные по берегу тяжелые камни. От реки тянуло успокаивающей прохладой.

Старик Шелбет с ранней весны и до поздней осени работал на чужих полях, а вечером ловил рыбу в Григоринчае. Жил Шелбет одиноко. Детей у него не было, а старуха умерла несколько лет тому назад от укуса змеи. Не было у Шелбета ни земли, ни хозяйства. И дом старика, покосившийся от времени, как покрытый мхом надгробный камень на старой могиле, сиротливо стоял на отшибе, словно стыдясь своего убожества,

Шелбет слыл среди односельчан хорошим рыбаком и опытным пловцом. Никто лучше него не знал, где нужно ставить сеть, чтобы наловить побольше рыбы. Часть добычи он продавал по дешевке односельчанам, а остальное солил на зиму.

Отправляясь вечером на реку, старик всегда брал с

собой кого-нибудь из сельчан и по-братски делил с ним улов. Чтобы при этом тот не чувствовал себя неловко, он говорил:

— Тяжело мне одному с неводом управляться, годы не те... Спасибо, что пришел...

Сегодня Шелбет позвал на рыбалку Сосуна.

— Наверно, ты и вкус свежей рыбы забыл, — сказал старик.

Сосун по-домашнему устроился у костра, скрестив ноги, и с задумчивой улыбкой рассеянно смотрел в огонь. Время от времени он поднимал голову: что-то волшебное и таинственное чудилось ему во всем окружающем. Мальчик радовался, что сейчас, когда его сверстники спят дома, он, как взрослый мужчина, сидит здесь, рядом с прославленным рыбаком дедушкой Шелбетом, а рано утром появится в селе, нагруженный добычей. Мальчишки будут с завистью и уважением смотреть на него...

— О, если бы ты знал, дядя Шелбет, о чем говорил нам сын старосты вчера вечером на току!.. Ой, как было интересно и весело... — тихо засмеялся Сосун.

Шелбет, ссутулившись, сидел молча с дымящимся кальяном во рту.

— О чем? — посмотрев на Сосуна, спросил Шелбет.
— А ну, расскажи.

— Он говорил о луне, о звездах. — Запрокинув голову, Сосун с любопытством посмотрел на звезды, будто желая убедиться: на месте ли они, потом, переведя взгляд на старика и загадочно улыбаясь, добавил: —

А еще он нам говорил про обезьяну...

Хотя старик тоже был вчера на току и слышал, о чем говорил гимназист, он сделал вид, будто ничего не знает.

— Ну-ну, что же говорил Шоул?

— Он говорил, будто звезды — это вовсе не звезды, а луна вовсе не луна а... вроде как наша земля, а чело- века, хи-хи, породила обезьяна...

Мальчик посмотрел озорно блестящими глазами в сухое, морщинистое лицо старика, желая угадать, какое впечатление произвело на него это сообщение.

Шелбет вынул изо рта трубку и, слегка постукивая ею о загнутый кверху носок своего чарыка, стал выбивать пепел. Затем вытащив из костра сырую головню, которая шипела и сильно дымила, отбросил ее в сторону реки, словно она мешала ему думать. Огненной дугой

очертив воздух, головня упала на камни и рассыпалась яркими искрами.

— Шоул умный, ученый человек, а главное — любит нас, бедных;—заговорил старик тихо, глядя в раздумывшееся лицо мальчика. — Много хорошего узнал он от русских людей, разным наукам обучился. Но с неумными людьми тоже, видно, встречался, немало глупостей от них наслушался. Посуди сам: разве могут эти звезды, махонькие, словно ночные светлячки, быть такими, как наша Земля? Они давно упали бы и раздавили нас всех... А обезьяну я видел—обыкновенный зверь. И никогда не поверю, чтобы она могла породить человека, вроде меня или тебя. Не думаю, чтобы и сам Шоул верил этому...

Старик умолк, чуть отодвинулся от костра, снял с головы мохнатую папаху, вытер ею пот с лица и снова водрузил на место.

— Да, чуть не забыл тебе сказать, дядя Шелбет, — вновь заговорил Сосун. — Раби Шафад так обозлился на Шоула за его слова, так обозлился, что стал кричать, тряся бородой: «Скажи, говорит, богохул, сукин сын, а ты сам произошел от обезьяны со стороны отца или матери?» Шоула, ты знаешь, все уважают, а после слов раби люди громко засмеялись, хоть и неудобно было.

— А что ответил ему Шоул?—спросил Шелбет, пряча хитрую улыбку.

— Что ответил? «Лучше, говорит, быть безобидной обезьяной, ползать на четвереньках, чем быть обманщиком...» Клянусь богом, дядя Шелбет, я не вру: Шоул так и сказал.

Шелбет дружески кивнул ему головой, давая понять, что он верит, и спросил:

— Что же было дальше?

— Потом все смеялись над раби Шафадом, когда Шоул сказал ему, что обезьяна никого не обманывает, а ты, говорит, обманываешь, да еще за свой обман с каждого деньга берешь—пожертвование, и не смотришь, сыт этот человек или голоден, вдова ли, сирота...

Хотя Шелбет сам был свидетелем словесной перепалки между гимназистом и раби, но сейчас он заново представил эту сцену, в душе посмеиваясь над посрамленным Шафадом, которого недолюбливал за дружбу с Гомуилом. А Сосун, довольный тем, что его рассказ заинтересовал и развеселил старика, спросил:

— Я, дядя Шелбет, удивляюсь: как раби Шафад осме-

лился при всем джамаате оскорбить отца Шоула — Гомуила. Ведь он не кто-нибудь, а староста. И потом, раби со старостой—большие друзья.

Лицо Шелбета стало суровым, резче обозначились морщины.

— Гомуил не отец Шоула, — после продолжительного молчания произнес он, глядя на своего собеседника.

— Как же это?! — воскликнул мальчик. — А разве он биж²³?

— Нет, нет, — поспешно ответил старик, как бы защищая Шоула от оскорбления. Затем оглядевшись вокруг, словно опасаясь, что их могут подслушать, с волнением сказал: — Гомуил убил отца Шоула, когда Шоул был еще в утробе матери. А труп Юсуфа — отца Шоула — я нашел вот здесь, в реке, на этом самом месте. — Шелбет указал рукой, в которой держал потухший кальян, в сторону Григоринчая.

Радостное настроение, которое было у мальчика с самого начала вечера, внезапно упало, все вокруг казалось теперь не таким привлекательным, как еще минуту назад. Ему вдруг стало неуютно, даже жутко от мысли, что придется лезть в воду за неводом.

Шелбет достал кисет с табаком, скрюченными худыми пальцами медленно набил кальян. Потом выхватил из костра раскаленный уголек, перебрасывая его в ладони, осторожно, стараясь не уронить, положил в трубку и большим пальцем чуть придавил сверху. Сделав несколько глубоких затяжек, Шелбет рассеянно посмотрел на притихшего мальчика и снова заговорил:

— И вот как это было. Жил у нас в селе старый мельник по имени Худили. До того он был стар, что годы согнули дугой его спину, а седые брови закрывали подслеповатые глаза. И был у Худили единственный сын, но такой славный, что стоил десяти иных сыновей. Звали его Юсуфом. Он был красив и нрав имел добрый, веселый. Никто на наших свадьбах так лихо не отплясывал лезгинку, как Юсуф. Бывало, музыканты уже устали дуть в зурну, у демкеша²⁴, кажется, вот-вот лопнут раздутые, как мехи, потные щеки, барабанщик сбился с ритма, а наш Юсуф продолжает кружиться, словно вихрь.

²³ Биж—незаконнорожденный.

²⁴ Демкеш—второй зурнач на свадьбе.

Старик умолк, придерживая чуть дрожащей рукой дымящийся кальян, задумчиво опустил покрасневшие от дыма глаза, потом продолжил свой рассказ:

— А самой красивой девушкой в Ньюди была тогда Гюзюргул, дочь старой вдовы Мозол. Много парней сваталось к ней. Набивался в женихи и Гомуил. Он уже двенадцать лет был женат. Первую жену взял из Дербента, из богатой семьи. Но она оказалась бесплодной. Гомуил несколько раз посылал сватов с богатыми подарками к Гюзюргул, но та отвергла его. Она любила Юсуфа, и вскоре они поженились.

Но Гомуил никак не хотел мириться с тем, что такая красавица досталась другому и что Гюзюргул предпочла ему сына какого-то бедного мельника. Он задумал черное дело—убить Юсуфа и Гюзюргул, избрав для этого день их свадьбы. В тот вечер, когда свадебная процессия направлялась от дома невесты к дому жениха, Гомуил укрылся на крыше, под стогом сена, держа наготове заряженное ружье. Но что-то помешало ему тогда осуществить свой подлый замысел.

После свадьбы Гомуил как будто не только забыл о своем неудачном сватовстве к красавице Гюзюргул, но даже стал дружить с ее мужем. Он часто бывал у Юсуфа в гостях, приглашал его к себе, хвалил на людях. Никому бы тогда и в голову не пришло, что этот человек может стать убийцей своего друга.

Шелбет замолчал, нахмутив брови. Он взял несколько сухих веток, подбросил их в костер и, когда они с треском стали разгораться, заметно волнуясь, продолжил:

— Как-то раз под вечер сижу я один на этом самом месте у костра. Кругом тишина. Только слышно, как гудит река, да соловьи поют. Меня стало клонить ко сну, и я вздремнул. Но вдруг сквозь сон слышу, кто-то меня окликает: «Шелбет-холу! Шелбет-холу!»²⁵ Открываю глаза: передо мной, бледный и взволнованный, стоит лезгин Гасан. Он одно время жил у нас в селении, сторожил наши виноградники.

— Да минует тебя беда, что случилось, Гасан? — спрашиваю его. — На тебе лица нет!..

— Убили, Шелбет-холу, убили... Вот на моих глазах только что убили!.

²⁵ Холу—дядя, почтительное обращение у лезгин к старшему.

Как услышал это, сон мой будто ветром сдуло. Я вскочил с места, говорю ему:

— Скажи толком, кого убили, кто?..

Он, не отвечая, медленно опустился на землю и долго качал головой, совершенно подавленный.

— Недалеко отсюда, с полверсты...—промолвил он наконец. — Я косил траву на поляне, вдруг слышу —выстрел и чей-то крик. Такой ужасный крик, он и сейчас у меня в ушах стоит. Я косу выронил, выбегаю на опушку леса, смотрю: Гомуил и Илогу с ружьями за спиной и кинжалами на поясе поднимают с земли убитого Юсуфа. Я скорее спрятался за деревья. Они перекинули его через седло, сели на лошадей и поскакали вверх по течению. А за полчаса до этого я видел, как Юсуф шел с лопатой на плече к реке, чтобы заделать плотину, отвести воду на свою мельницу.

Мы долго сидели вместе и думали, не зная, что делать. Но потом решили никому о том не говорить.

— Почему?! — удивленно подняв широкие брови, спросил Сосун.

— Свидетелей-то, кроме Гасана, никого не было, — ответил Шелбет. — А Гомуилу, у которого много друзей среди больших хакимов²⁶ в округе, ничего не стоило бы свалить всю вину на бедного Гасана... Когда Гасан ушел, я разделся и полез в воду. Только приблизился к неводу, вдруг что-то большое и скользкое коснулось моих колен. Сначала я думал, что это теленок, которого унес поток. Ощупываю — человек! У меня дрожь пробежал по всему телу. Я сразу решил, что это Юсуф. И когда я еле живой от страха выволок его на берег, уложил у костра, смотрю—действительно он.

Много лет, сынок, прошло с тех пор, но я и сейчас отчетливо вижу его перед собой. Он лежал вот здесь, у шалаша, который я тогда себе строил. Глаза были открыты как у живого, и смотрели на меня в упор, как будто он силился сказать мне что-то, но не мог. Я снял с него пояс с кинжалом, спрятал в шалаше под соломой и побежал в село известить отца и жену Юсуфа. Но о том, что рассказал мне лезгин Гасан, я, конечно, умолчал. А спустя три месяца Гомуил угрозами и угрозами заставил Гюзюргул обвенчаться с ним. Через шесть месяцев

²⁶ Хаким — начальник.

после этого родился первый и последний сын покойного Юсуфа — Шоул.

Шелбет умолк. Низко опустив голову и прикрыв глаза, застыл в неподвижной позе. Казалось, что он уже дремлет. Но когда мальчик, взволнованный рассказом, спросил, знает ли Шоул о том, что Гомуил—убийца его отца, старик встрепенулся и посмотрел на Сосуна.

— Знает, — кивнув головой, уже почти спокойным голосом произнес он. — Раньше не знал, теперь знает. В прошлом году, когда он приезжал, как всегда, на лето домой, я встретился с Гасаном, и мы с ним договорились обо всем рассказать Шоулу. Было бы тяжким грехом скрывать от сына тайну убийства его отца.

...Шелбет, как и многие батраки, почти каждый год в разгар лета работал на токах Гомуила. Однажды вечером, когда Шоул шел домой, старик догнал его. Поздоровавшись с ним, он некоторое время шел молча, а потом неожиданно сказал:

— Мне необходимо рассказать тебе об очень для тебя важном деле, сынок. Поэтому я прошу, зайди ко мне.

Юноша не придавал особого значения словам Шелбета, но все же пошел с ним.

В убогой хибарке, освещенной чадающей коптилкой, их уже ждал худощавый, но крепкий на вид пожилой мужчина с длинными усами—лезгин Гасан. Он по-дружески пожал Шоулу руку, расспросил о его здоровье и учебе.

Шелбет усадил гостей рядом, а сам нетвердой старческой походкой подошел к деревянному сундуку, стоявшему у голой закопченной стены. Подняв крышку на заржавленных петлях, он достал пояс с длинным кинжалом и, вернувшись к гостям, молча положил его перед удивленным гимназистом.

— Что все это значит, дядя Шелбет? — с недоумением спросил он и шутливо добавил: — Не собираешься ли ты мне сделать подарок?

— Я ничего не думаю тебе дарить, — нахмурившись произнес Шелбет, опускаясь на пол перед юношей. Старик коснулся рукой кинжала: — Он и так принадлежит тебе.

— Мне?! — удивился Шоул, приняв его слово за добрую шутку. Но в то же время ему казались загадочными заметное волнение старого Шелбета, предупредительная учтивость и мрачная торжественность Гасана.

— Да, сынок. Шелбет-холу прав, — строгим голосом произнес молчавший до сих пор Гасан. — Это кинжал и пояс твоего покойного отца Юсуфа, которого мы хорошо знали и уважали. Покажи матери, она сразу признает их.

Полудетское добродушное лицо гимназиста с едва обозначившимся на губе темно-каштановым пушком стало вдруг скорбным и задумчивым. Он бережно взял пояс с кинжалом и принялся внимательно разглядывать их, словно силясь восстановить по ним родные, но незнакомые ему черты отца, погибшего раньше, чем он успел появиться на свет. Первый раз в жизни сын держал в руках вещи, принадлежавшие отцу. Шоул тяжело вздохнул и с волнением спросил:

— А как они попали к вам?

Пока Гасан и Шелбет рассказывали, лицо его, искаженное болью, то бледнело, то вспыхивало краской гнева. Судорожно сжав рукоятку кинжала, Шоул вдруг резким движением наполовину выхватил его из ножен, представляя, как он, мстя за кровь отца, наносит удар за ударом ненавистному отчиму... Старики молча смотрели на юношу, разделяя его горе. Наконец с глухим стуком загнав кинжал в ножны, он вернул его Шелбету.

— Пусть он пока хранится у вас, — сдерживая слезы, сказал Шоул. — И прошу вас, чтобы эта тайна осталась между нами. Ни прямо, ни намеком, ничего не говорите моей матери. Придет время, я сам все расскажу ей.

Старики поклялись честно исполнить просьбу юноши. Шоул встал и, двигаясь на ощупь, словно слепой, медленно вышел на улицу.

...Закончив свой рассказ, Шелбет молчал, погруженный в свои мысли. Потом, точно очнувшись, он посмотрел в задумчивое, испуганное лицо Сосуна и заставил себя улыбнуться.

— Ну, теперь вставай. Пора уже проверять невод! — мягко приказал старик.

Раздевшись, они вошли в поток холодной воды. Держа друг друга за руки, чтобы течение не сбilo их с ног, рыбаки подошли к неводу. Отцепив сеть от дубовых кольев, они с трудом вытащили ее на берег и вытряхнули улов.

Скользкие кутумы, шлепая гибкими хвостами и перевортываясь через голову, отскакивали к воде. Сосун носился по берегу, хватал то одну, то другую рыбину, оглу-

шая ее ударом камня по голове. Потом, собрав всю добычу и разложив ее в ряд, принялся считать.

— Ой, как много!—с детской восторженностью воскликнул он, тяжело дыша после отчаянной схватки с рыбами. — Пятнадцать кутумов и две лососины—вот здорово!..

Шелбет, весь мокрый, с трубкой во рту возился у костра, подкидывая в него свежие сучья, и с улыбкой наблюдал за своим помощником. С его седой бороды каплями стекала вода, казавшимися в свете костра розовыми.

— Вот и не пожалеешь, что пришел со мной. Половина рыбы—твоя, — щедро распорядился Шелбет и добавил: — Завтра с утра нас ждут «пирамиды фараона»: надо немного вздремнуть.

Сосун с улыбкой на радостно-возбужденном лице свернулся калачиком возле костра на груди сухих веток, покрытых сверху пахучим сеном. Утомленный работой на току, согретый благодатным теплом, исходящим от костра, и убаюканный монотонным шумом реки, он быстро уснул, положив ладонь под щеку. Старый Шелбет долго еще не спал, взволнованный горестными воспоминаниями. Он сидел, сгорбившись, дымя кальяном, задумчиво ковырял палочкой в горячем пепле, перебирая красные угольки, и время от времени отгонял от лица крепко спавшего мальчика назойливых комаров.

Незадолго до рассвета старик задремал, но чуткий сон его был нарушен дробным цоканьем копыт. Не прошло и пяти минут, как двое вооруженных всадников осадили разгоряченных коней у тлеющего костра, где расположились рыбаки. То были староста и его чауш.

Не поздоровавшись с Шелбетом, Гомуил, злой и мрачный, спросил, не показывался ли Рахмон сегодня ночью в этих местах.

— Нет! — сразу ответил Шелбет и, чувствуя что-то недоброе, с беспокойством заинтересовался: — Да будет к добру ваш приезд, а что случилось?

Гомуил молчал.

— Этот собачий сын, — потрясая над головой кулаком, возмущенно произнес Илогу, — нынче ночью поджег две скирды старосты и убежал.

— Ничего! Долго скрываться ему не удастся! — гневно воскликнул Гомуил. — Я его все равно найду, если даже под землей затаится! Головой заплатит мне!..

Гомуил в сердцах хлестнул лошадь и в сопровождении чауша поскакал дальше. Частый стук копыт о прибрежные камни гулко раздавался в тишине пробуждающегося утра. Вскоре всадники скрылись за лесом, окутанным белесой холодной мглой.

ЧАСТЬ II

МЕЧТЫ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ



единственный в Нюгди родник находился на южной окраине села, в неглубокой тихой ложине. Здесь из-под высокого черного земляного обрыва, поросшего сверху орешником, с веселым журчанием, словно радуясь, что вырвалась на волю, струилась чистая студеная вода, образуя небольшой водоем. Роднику столько же лет, сколько и самому селению. Жители приписывали его открытие легендарному основателю Нюгди Довуду—визирю табасаранского хана²⁷. Но когда, в каком веке это было, точно никто не знал. Зато предание о Довуде, о его подвиге было известно каждому нюгдинцу. Родник Довуда считался священным местом.

Прозрачная вода родника отчетливо отражала небо, деревья и кусты, росшие над обрывом. Нередко девушка, прежде чем наполнить свой кувшин, склонялась над водой и долго разглядывала себя, как в зеркале, которое было редкостью в домах нюгдинцев. А в сумерки или на рассвете, когда все еще спали, в ложину, к источнику, осторожно, как чуткие лани, идущие на водопой, сходились на тайное свидание влюбленные.

За водой приходилось идти через майдан, где обычно на досуге собирались мужчины. Нередко они, особенно старики, подзывали девушек, возвращавшихся с родника, и просили напиться. Дать воды просящему, так же как и постель гостю, считалось у нюгдинцев святым делом. Пока кувшин переходил из рук в руки и люди утоляли жажду, девушка скромно стояла в стороне.

²⁷Довуд—герой известной татской легенды «Визирь табасаранского хана» с. 183

Вот на дороге, ведущей от источника в село, показалась девушка лет шестнадцати с влажным глиняным кувшином за спиной. Парни сразу прервали оживленный разговор и устремили на нее любопытные взгляды. Настроение молодых словно передалось старикам. Они тоже, умолкнув, приветливо смотрели на девушку.

— Клянусь богом, я сейчас позову эту красавицу и выпью воды из ее кувшина; — словно радуясь такому случаю, весело произнес Офдум Четверть Быка, в смолисто-черных пышных усах которого уже появилось немало серебряных нитей. Рядом с Офдумом сидел на завалинке маленький седобородый старичок Одом, по привычке запустив морщинистые короткопалые руки за красный кушак, который он упорно продолжал носить, несмотря на то, что его жена давно постарела. Одом все еще надеялся, что жена родит ему сына, поэтому не желал расставаться с «кушаком бездетности». Прародителю Аврааму, как он слышал от раби Шафада, было девяносто девять лет, а его жене, пресвятой Сарре, девяносто, когда она родила их первенца Исаака. А его жене, слава богу, еще далеко до возраста Сарры...

Не расстался Одом за эти годы и со своей застарелой малярией. Поэтому, как и много лет назад, несмотря на солнечную погоду, он сидел в теплой шубе, боясь, что в любую минуту его может прихватить лихорадка.

Офдум заерзал на месте, как будто готовясь принять кувшин.

— Да ты недавно выпил полкувшина воды, — усмехнулся Одом, с удивлением поглядывая на него.

— А разве ты не знаешь, дядя Одом, что когда встречаешь чистый родник, всегда хочется пить, даже если тебя не томит жажда? — отшутился Офдум, следя за приближающейся девушкой.

А та, на кого обратили внимание сидевшие мужчины, шла, слегка изгибаясь под тяжестью своей ноши. Простое бязевое платье плотно облегалo упругую грудь. Тонкие черты лица были чуть тронуты мягким загаром. Из-под темных бровей живо и немного застенчиво смотрели большие, похожие на мокрые спелые сливы, глаза с густыми бархатными ресницами. На правой щеке—родинка. Девушка словно плыла в медленном танце, стараясь не расплескать воду.

Почувствовав на себе любопытные взгляды мужчин, она зарделась и, потупив глаза, ускорила шаг, чтобы

быстрее миновать майдан. Но Офдум Четверть Быка громко окликнул ее. Девушка медленно подошла, сняла с плеч тяжелый кувшин, поставила его перед ним, а сама почтительно отошла в сторону, терпеливо ожидая, пока он напьется. Сделав несколько глотков, Офдум крикнул от удовольствия и опустил кувшин. Вытирая рукавом бешмета мокрые усы, он с лукавой усмешкой в глазах посмотрел на соседа:

— Пей и ты, а то пожалеешь!

Старик теплым взглядом окинул девушку, с неожиданной для его возраста проворностью сбросил с плеч шубу и встал. Погладив усы и бороду, Одом понимающе кивнул Офдуму.

— Ей-богу, Офдум, ты прав, — озорно произнес он, — как можно не выпить из кувшина такой красавицы!.. Пить воду из него—все равно что пить из источника Зем-зем²⁸.

Тут осмелела и молодежь. Не стесняясь присутствия стариков, парни поочередно подходили и, словно желая продемонстрировать перед девушкой свою силу и ловкость, одним взмахом руки легко поднимали кувшин, подносили ко рту и медленно, будто по каплям глотая мед, пили, не сводя с красавицы зачарованных глаз.

Кувшин был возвращен хозяйке, когда в нем не осталось ни капли. Девушке пришлось вернуться к роднику за водой.

— Э-эх, был бы жив пастух Ишмаил, посмотрел бы, какая у него дочь растет, — покачал головой старик, накидывая на плечи шубу и без видимой надобности поправляя свой кушак. Затем, провожая девушку грустным взглядом, он задумчиво добавил: — Пери! Пери-красавица... И имя-то у нее чудесное, под стать ей.

— Не зря сын старосты, Эсеф, сохнет по ней, — не то с удовольствием, не то с осуждением проговорил Офдум.

— Да, быстро летит время, — печально произнес старик, как бы продолжая рассуждать сам с собой. — Вот уже десять лет прошло, как мы похоронили бедного Ишмаила, а кажется, что это было вчера. Эх, наша жизнь скоротечная!.. Не успеешь наглядеться на свет божий, а смотришь—жизнь уже прожита.

²⁸ Зем-зем—по народному преданию, волшебный источник, вода из которого возвращает молодость и дает бессмертие.

Когда Пери вернулась домой, Сосун сидел на земляном полу веранды и старательно прошивал нитками новые чарыки. Одет он был в старую черкеску из темно-рыжей домотканой шерсти. Его большой плотной фигуре было тесно в ней. Сейчас никто бы не узнал в этом широкоплечем смуглом молодом человеке того щедедушного, бледного мальчика, который десять лет назад водил отца гудилом по селу. Лицо его, широкоскулое, с густыми, сросшимися на переносице бровями, казалось несколько суровым. Лишь глаза юноши остались такими же большими и немного грустными. Увидев сестру, Сосун в сердцах шлепнул об пол готовым чарыком и с досадой сказал:

— Проклятый староста! Работаешь на него, как вол, а он жалеет хорошей кожи на чарыки. Разве это кожа? Она не толще луковой кожуры. Такие чарыки и две недели не проносишь...

Но, по правде сказать, Сосун сейчас был недоволен не столько жадностью старосты, сколько своей сестрой.

— Куда ты запропастилась? — раздраженно спросил он.

Пери, поставив кувшин с водой в углу веранды, подошла к брату и остановилась перед ним.

— Разве я виновата, если мужчины на майдане попросили напиться и всю воду выпили? Пришлось второй раз идти к источнику, — обиженно произнесла она, утаив от брата, что долго любовалась на свое отражение в зеркальных глазах родника.

— Смотри у меня! — неуверенно пригрозил Сосун. — Почему-то, когда ты идешь за водой, их всех, чертей, будто раненых оленей, начинает мучить жажда... К источнику можно и стороной пройти, не обязательно же через майдан, где всегда собираются мужчины.

В отношениях с сестрой Сосун был сдержан и строг, порой даже суров. У нюгдинцев не принято выражать нежность к жене или сестре, ласкать, брать на руки своего ребенка при родителях и старших. Свои чувства мужчина должен скрывать под внешней суровостью.

— Аззи!²⁹ Я же знаю, что ты на меня не сердишься, — ласково проговорила Пери, чтобы загладить свою вину.

²⁹ Аззи—дорогой, почтительное обращение к старшему брату в семье.

Она, весело рассмеявшись, опустилась перед братом на корточки и коснулась губами его плеча.

Плотно сжатые губы Сосуна расплылись в невольной улыбке, но он, не поднимая головы, с притворным недовольством пробурчал:

— Ну ладно, не мешай мне работать. Иди займись своим делом!

Но Пери с робкой улыбкой продолжала смотреть на брата.

— Ну, что тебе? — спросил Сосун, догадываясь, что она хочет о чем-то попросить.

— Девушки собираются в саду поиграть в абакон³⁰. Разреши и мне пойти с ними, — сказала она, умоляюще глядя на брата.

Сосун взял с пола новый кусок кожи, не спеша расправил на колене и принялся бритвой соскабливать с него шерсть.

— Ладно, иди, отвяжись! — не очень охотно согласился он. — Только... — Сосун исподлобья сверкнул глазами на сестру. — Только не задерживайся долго, а то смотри меня!..

Обрадованная Пери вихрем влетела в комнату, торопливо взяла из ниши платок с ярко-красными розами на темном фоне и, надев башмаки на деревянной подошве, весело выбежала во двор.

Сосун отложил кожу на пол и долго глядел вслед удаляющейся сестре. Даже, когда девушка, спустившись по узкой тропинке в овраг, за которым виднелись сады, совсем исчезла из виду, он продолжал смотреть в ту сторону, с задумчивым и озабоченным видом.

Последние годы Сосуну жилось неплохо. Прошли тяжелые, горестные дни сиротства, когда нередко в доме не было даже куска хлеба, а если удавалось поесть досыта, то это для него с сестрой было настоящим праздником. Среди батраков Гомуила Сосун, пожалуй, был самым старательным и проворным. Расчетливый староста ценил своего прилежного работника, даже дал ему корову и сумел уберечь от мобилизации в царскую армию, несмотря на то, что уже третий год шла война с Германией и многие сверстники Сосуна находились на службе.

Сосун был доволен жизнью. С годами вроде стала забываться кровная обида, которую староста нанес отцу

³⁰ Абакон—игра в мяч.

и ему. Батрак относился к Гомуилу с внешним почтением и покорностью. Рано познав горькую сиротскую жизнь, он был рад, что у него есть кров над головой, свой сыр и хлеб, а хозяин, который дает ему работу, вроде относится к нему хорошо.

И Пери, несмотря на постоянное недоедание и лишения, пережитые в детстве, слава богу, выросла здоровой, расцвела как роза. Сосун гордился сестрой, любил ее. Но в последнее время красота Пери не столько радовала брата, сколько пугала его. По селу ползли слухи, будто Пери и сын старосты Эсеф любят друг друга и даже тайно встречаются. Сосун был твердо уверен, что староста никогда не согласится женить своего сына на бедной девушке, тем более дочери пастуха. А тайные свидания до добра не доведут. Злые языки могут опорочить честное имя сестры, и тогда, несмотря на красоту, едва ли кто захочет взять ее в жены. «А вдруг все это правда?» — с тревогой подумал он. Сосун беспокоился не только за честь сестры, но и за свою честь брата. Для мужчины лучше смерть, чем жизнь без чести. А странное поведение сестры в последнее время все чаще возвращало его к этим тревожным мыслям.

Пери нередко стала отлучаться из дому, иногда даже, не спрашивая у него разрешения, подолгу задерживалась, когда ходила к роднику по воду. С нею творилось что-то непонятное: то она беспричинно смеялась, то впадала в глубокое уныние. Может, все это оттого, что она влюблена?..

Степенные и суровые нюгдинцы охотно слушали песни ашугов о любви, о Лейли и Меджнуне, частенько пели и сами, но своих дочерей и сестер старались оберегать от этой губительной страсти, как от какой-то опасной болезни.

Сегодня Сосун, как обычно, проснулся чуть свет, чтобы подложить сена корове. Проходя мимо постели спящей сестры, он невольно обратил внимание на выражение ее лица. Пери блаженно улыбалась, и Сосуну показалось, что она во сне разговаривает с сыном старосты, что ее губы шепчут нежные слова любви, произносят его имя. Подозрение с новой силой вспыхнуло в душе брата, его так и подмывало наброситься на сестру, схватить за волосы и бить до тех пор, пока не изгонит из нее, как беса из тела сумасшедшего, любовь к Эсефу. Однако, с трудом пересилив себя, он решил сначала узнать обо всем,

когда она встанет, а потом подумать, как поступить. Когда Пери проснулась, она так преданно и жалобно посмотрела на брата, что гнев его остыл. Он, будто чувствуя свою вину перед ней, отвел глаза в сторону. «Может все это—небылица, хабары? — подумалось Сосуну. — Кто не знает наших сплетниц. Из мухи слона сделают...»

...В саду, где собралась молодежь поиграть в абакон, было шумно и весело. Девушки с притворным испугом, громко смеясь и взвизгивая, перебегали от одного дерева к другому, а парни гонялись за ними, стараясь попасть в них мячом.

После игры девушки отделились от парней и, шумно обсуждая результаты игры, двинулись в глубь сада. А одна пара отстала от компании. Высокий юноша с добродушным лицом и Пери остановились под раскидистой яблоней. Он что-то говорил и машинально наматывал на палец бахрому ее платка, будто желая прочнее привязать девушку к себе. Это был Эсеф—сын старосты.

Стрекотание кузнечиков и разноголосое щебетание птиц наполняли сад.

— Пери, пойдем в наш шалаш, — умоляюще проговорил Эсеф, тихонько потянув девушку за руку.

Пери не стала сопротивляться. Там, в стороне от любопытных глаз, можно спокойно посидеть с любимым, наговориться всласть. Держась за руки, они прошли через сады и оказались у невысокой ограды, за которой расстился скошенный луг, плотной стеной окруженный с трех сторон зеленым лесом. В середине луга росли большие кусты терна, густо увитые ежевикой с красными зреющими ягодами.

Перебравшись через ограду, Эсеф и Пери, точно малые дети, обрадованные тем, что вырвались на волю, с задорным звонким смехом побежали к кустам. У терновника они помедлили и огляделись по сторонам. Убедившись, что их никто не видит, влюбленные торопливо раздвинули кусты и скрылись в них.

Но едва Пери и Эсеф успели перелезть через садовую ограду, как между деревьями мелькнула женская фигура в яркой пестрой одежде. Стараясь остаться незамеченной, женщина, слегка пригнувшись, перебежала от дерева к дереву, приближаясь к ограде. Но пока она добралась до луга, густой кустарник надежно укрыл влюбленных.

Густые верхушки терновника, оплетенного ежевикой, образовали подобие шалаша. Влюбленным сейчас казалось, будто весь мир заключен в этом крохотном уголке, куда не проникал ни человеческий взор, ни солнечный луч.

— Ох, как хорошо мне с тобой, Эсеф, — по привычке склонив голову набок, улыбнулась Пери и несмело добавила: — Но сегодня я долго не смогу быть с тобой.

— Почему? — Эсеф посмотрел на нее с удивлением. Пери опустила глаза и не сразу ответила.

— Брат ругал меня за то, что я задержалась у источника, когда ходила за водой, — вода маленькой ладонью по траве, тихо проговорила она. — Мне кажется, он догадывается, а может и знает, что мы... Поэтому сегодня придирался ко мне.

— Ну и пусть знает, что мы любим друг друга. Осенью все равно свадьбу сыграем, — самоуверенно произнес Эсеф.

Девушка подняла голову и долго счастливыми, благодарными глазами смотрела в бесконечно дорогие черты любимого. Но вдруг в ее лице что-то дрогнуло. Она сдвинула тонкие брови и, не глядя на Эсефа, спросила:

— А если твой отец не захочет ввести меня в свой дом?!

— Ну почему ты так думаешь, — с мягким укором сказал Эсеф и, чтобы рассеять ее сомнения, попытался бодро улыбнуться. Но улыбка получилась жалкой, растерянной.

Пери опечаленно опустила глаза, задумалась.

— Боюсь я твоего отца, ох, как боюсь его, — наконец отозвалась она и с обидой добавила: — Я же сирота, дочь пастуха, а вы—люди богатые, знатные. И потом у твоего отца на примете другая девушка для тебя. Все об этом говорят...

— Пери, прошу тебя, не напоминай мне об этом! — страдальчески взмолился Эсеф.

Он не раз слышал недвусмысленные намеки отца на то, что он желает видеть Хонум—дочь раби Шафада — своей снохой. Слова любимой привели его в отчаяние, и он, обхватив голову Пери, с силой прижал ее к груди.

— Ах, Пери-джан, Пери-джан! Если бы ты знала, как я тебя люблю! — горячо и взволнованно прошептал Эсеф. — Клянусь отцом, наяву ли, во сне ли, ты всегда со мной. А когда тебя долго нет рядом, мне кажется, я ли-

шился своей тени и вот-вот умру³¹... Я скорее дам себя заколоть, чем позволю отцу женить меня на другой!..

Пери слышала, как бьется сердце в груди любимого, и ей хотелось плакать от счастья.

— Помнишь, Эсеф, как много лет назад, когда мы были детьми, ты приходил к нам во двор за моим отцом и звал меня поиграть на вашу улицу? Помнишь, что я тебе ответила?

— Помню, очень хорошо помню, — глядя рукой волосы Пери, с улыбкой произнес Эсеф. И подражая ее детскому голосу, воскликнул: — Я с мальчишками не играю...

— Да, я так говорила, — тихо вздохнув, промолвила она. — А сейчас вот даже в кусты забралась с тобой.

Неожиданно они услышали пронзительный женский вопль:

— О Эсе-еф, ты убил меня! О Пе-ри, да чтоб тебе на свадьбе сыграли «Обратный марш»!..

Пери вздрогнула, услышав страшное проклятие. Она знала, что «Обратный марш» играют на свадьбе невесте, потерявшей девичью честь. Опозоренную девушку отец или брат обычно убивали на пороге своего дома. А если ей и дарили жизнь, то она жила в родительском доме на положении рабыни, презираемая всеми.

Пери резко высвободилась из объятий Эсефа и, растерянно взглянув на него, приглушенно прошептала:

— Это она, Хонум, каркает как злая ворона, рыщет по моим следам.

Заметив порывистое движение Эсефа, она крепко обхватила его за плечи, стараясь удержать.

— Нет, нет, нам нельзя сейчас показываться на глаза этой ведьме. Я знаю, какая у нее черная душа и злой язык. Она может оклеветать меня... А то бы я сама, клянусь жизнью единственного брата, — черные глаза девушки вспыхнули огнем, — оттащила за волосы эту дрянь.

После старосты раби Шафад был самым состоятельным человеком в Ньюди. Его фруктовый сад, виноградники, поля и скот приносили ему немалый доход. Безмерно жадный Гомуил втайне мечтал завладеть наследством раби. Он стал чаще бывать у него дома и каждый раз,

³¹ Таты верили, что если человек лишится тени, ему суждено скоро умереть

встречая Хонум, ласково и шутливо называл ее своей «сношенькой».

О намерениях старосты знали не только родители девушки, но и все нюгдинцы. Теперь Хонум, увидев Гомуила или его жен, прикрывала лицо краем платка, как полагается невесте при встрече с родными жениха до свадьбы.

Хонум была бледная, светлолицая девушка, невысокого роста, с низким упрямым лбом и длинным носом. Плотные сжатые тонкие губы ее постоянно кривились в язвительной улыбке. Ее непривлекательное лицо украшали только глаза—большие и умные, но даже в них было что-то отталкивающее. Хонум всегда смотрела на человека так, словно хотела уличить его в чем-то. Избалованная чрезмерным вниманием родителей, она была до того самолюбива и неблагожелательна к другим, что радости подруг огорчали ее, а неудачи веселили. Она даже не считала нужным это скрывать.

Не только парни, но и девушки сторонились дочери раби. В обществе заносчивой и всегда крикливо одетой Хонум они чувствовали себя неловко. За глаза ее презрительно называли «Хьофдранге»³² из-за того, что она любила щеголять в очень пестрых дорогих нарядах. Особенно избегал ее Эсеф, которого она считала своим женихом. А ей он очень нравился, и она старалась как можно чаще попадаться ему на глаза.

Этим утром Хонум проснулась в самом прекрасном настроении, полная радужных надежд. Вчера, когда она раздувала во дворе самовар, ее будущий свекор опять пришел к ним. Пропустив вперед раби, Гомуил подошел к ней и, указывая на весело гудящий начищенный до блеска самовар, ласково шепнул в ухо: «С этой осени ты будешь разжигать его в моем доме».

Встав с постели, Хонум подошла к сундуку, обитому железом, легко подняла крышку. Сундук был доверху набит богатой одеждой. Родители явно не жалели денег для единственной дочери. Хонум некоторое время постояла у открытого сундука, раздумывая, во что ей лучше приодеться, чтобы вызвать зависть и удивление девушек, а главное—привлечь внимание парней и, конечно, прежде всего Эсефа.

³² Хьофдранге—семицветная (перелетная птица).

Спустя несколько минут она уже крутилась перед зеркалом, тщательно рассматривая себя. На ней были широкие шаровары из блестящего красного шелка и темно-синее бархатное платье, поверх которого она повязала широкий серебряный пояс с нашитыми крупными монетами. Голову украшал белый гянджинский платок, в ушах—длинные золотые подвески отличной кубачинской работы.

Хотя вычурный наряд еще больше подчеркивал ее непривлекательность, самой себе Хонум казалась восхитительной. Любуясь в зеркало, она мечтала во что бы то ни стало покорить сегодня сердце Эсефа. Он не может не знать о решении отца женить его на ней, думала Хонум. А если он избегает встреч, то может быть потому, что стесняется ее или просто до женитьбы хочет немного позабавиться с дочерью пастуха Ишмаила. Ах, эти мужчины!.. Но ведь всему есть предел. Сколько можно ждать?! Тем более, что вчера ее будущий свекор сказал, что осенью она будет женой Эсефа.

Хонум живо представила себе, как поразит всех ее появление в саду в новом наряде. Но она сделает вид, что ничего не замечает. Пусть знают, что для нее ходить в дорогих платьях, о которых многие девушки не смеют и мечтать, — обычное дело. А дочь пастуха, как только взглянет на нее, сразу почувствует свое ничтожество. Все говорят, что она хороша собой. Ну и что ж?! Красоту на стену не вешают. А на этой нищенке никогда даже приличной юбки не бывает. Посмотрит Пери на нее и, приниженная, сгорая от зависти и ревности, убежит. Эсеф, конечно, не станет ее удерживать и в душе даже примется упрекать себя: «Вай, вай, неразумная моя голова! Что я нашел в этой нищей оборванке? Какой же я был дурак! Ведь Хонум и симпатичная, и богатая». А она сделает вид, что он ей совершенно безразличен, будет весело болтать с подругами и беспечно смеяться. Да, она сегодня покажет себя.

Когда все разойдутся, Хонум не спеша, как бы прогуливаясь, направится в сад своего отца. Ведь имеет же она право погулять в собственном саду?! Разве она виновата, что Эсеф в это время будет, как тень, следовать за ней и даже, может быть, сравнивая свою любовь с любовью Меджнуна, запоем грустную песню, обращаясь к ней, как к своей Лейли. А она сделает вид, будто ничего не слышит и не замечает. Эсеф догонит ее, посмотрит

с виноватым, умоляющим видом и скажет: «Хонум-джан, какая ты сегодня прекрасная!.. Не избегай меня, послушай, я уже давно собираюсь сказать тебе, поговорить с тобой!..»

А она сделает удивленное и даже обиженное лицо, надует губы, застенчиво прикроет лицо краем белого шелкового платка и прикинется оскорбленной: «Что за глупости такие?! Я не собираюсь разговаривать наедине с чужим парнем, не хочу позорить себя и доброе имя своих почтенных родителей, как некоторые ветреные безнравственные девушки.»

Эсеф, конечно, догадается, на кого она намекает. Но он сделает страдальческое лицо и скажет: «Оставим эти разговоры, к чему они? Разве мы чужие? Мы же с тобой—жених и невеста». А она гордо, с лукавой усмешкой глядя на него, скажет: «Это еще как сказать: захотят ли мои родители выдать меня за тебя...»

Его глаза вспыхнут страстью. «В таком случае мне остается лишь одно—похитить тебя!»—воскликнет он и, протянув руки, попытается схватить ее. Но она ловко увернется, спрячется за дерево. Эсеф погонится за ней, а она, перебегая от одного дерева к другому, будет его дразнить и громко смеяться...

Воображаемая встреча с Эсефом до того понравилась Хонум и развеселила ее, что она на самом деле принялась хохотать. Из соседней комнаты поспешно вышла озадаченная и встревоженная мать — старая, усталая женщина с бескровным лицом. Она, посмотрев на дочь, которая все еще продолжала вертеться перед зеркалом и звонко смеяться, строго сказала:

— Горе мне, твоей старой матери! Сколько раз я тебе, дочка, говорила: не смотришь так часто в зеркало, с ума сойдешь. Ведь в нем сидит бес, иначе бы разве стекло могло отражать лицо человека?

...С гулянья Хонум вернулась злая, разбитая и бесконечно несчастная. Как говорится: «Шла—веселилась, вернулась—прослезилась». Эсеф по-прежнему был к ней безразличен. Он, кроме Пери, никого не замечал вокруг. Да и девушки неохотно разговаривали с Хонум, относились к ней даже холоднее, чем обычно. Она чувствовала себя среди них словно курица, попавшая не в свой курятник. А ненавистная дочь пастуха, окруженная подружками, такими же оборванками, как она, была сегодня особенно беспечна и весела.

Хонум притворилась, будто не обращает внимания ни на Эсефа, ни на Пери, но сама ревниво следила исподтишка за каждым взглядом и движением влюбленных счастливцев. Когда же они направились к садовой ограде, она, забыв о самолюбии и девичьей гордости, словно поневоле пошла за ними. Пока она, стараясь не выдать себя, подбиралась к ограде, Эсеф и Пери скрылись из виду. Хонум, как заблудшая овца, отбившаяся от отары, долго в смятении кружила по скошенному лугу, стараясь напасть на след влюбленных, исчезнувших неведомо куда. Измученная, окончательно потеряв надежду найти их, она, точно смертельно раненная, упала недалеко от кустов и отчаянно закричала, посылая проклятия на голову Пери.

Вернувшись домой, Хонум, сама не зная зачем, подошла к зеркалу, затуманенными глазами посмотрела в него: на нее глядело усталое, еще более подурневшее лицо. И вдруг, вспомнив красивую, улыбающуюся Пери, Хонум в бессильной злобе отчаянно зарыдала.

Услышав ее истеричный плач, встревоженная мать выбежала из внутренней комнаты. Когда старуха увидела судорожно рыдающую перед зеркалом дочь, она решила, что бес, сидящий в нем, и впрямь повредил рассудок дочери.

— Ах, горе мне, твоей матери, — сокрушенно воскликнула женщина, с укором и болью глядя на непосlušную дочь, — сколько раз я тебе говорила: не смотришь так часто в зеркало, оно сведет тебя с ума!

Быстро подойдя, она сняла со стены зеркало, завернула его в первую попавшуюся тряпку и вынесла в сарай, призывая тысячи проклятий на головы тех, кто выдумал эту бесовскую штуку.

КАВАЛЕР ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА

Как обычно Сосун встал сегодня рано утром. Едва занялась заря, он уже был на ногах. Еще вчера Илогу, помогавший Гомуилу в хозяйственных делах, поручил ему и Шелбегу съездить в дальний лес, заготовить шесть и бревна для постройки летней конюшни. Взяв котомку, в которую заботливая Пери еще с вечера положила два

чурека, кусок сыра и вяленую рыбу, прихватив топор и пилу, Сосун вышел во двор.

Утро стояло тихое, ясное. Нежаркие лучи красного солнца, только что выглянувшего из окрестных садов, пронизывали чистый и свежий воздух. Сосун на минуту остановился посреди двора, и невольно улыбнулся красоте летнего утра. Но улыбка погасла на его лице, когда он услышал причитания соседки—тети Майрам, жены Рахмона.

Прошло десять лет, с тех пор, как Рахмона осудили и отправили в Сибирь за поджог скирд старосты. Последние два года от него не было никаких вестей. В представлении нюгдинцев Сибирь была земным адом, самым отдаленным краем света, сплошной снежной пустыней, где никогда не светит солнце, не зеленеет трава, куда не залетают даже птицы. Все были уверены, что рано или поздно Сибирь погребет в своих бесконечных нетающих снегах кости их бедного односельчанина. И все эти десять лет жена Рахмона встречала утро и провожала день плачем...

Вскоре Сосун и Шелбет ехали в фургоне, запряженном парой откормленных гнедых. Хорошо укатанная дорога была еще мокра от предутренней росы. Сосун сидел на передке, держа в руках вожжи, Шелбет, привалившись костлявой спиной к дощатому борту фургона, сосредоточенно жевал беззубым ртом хлеб и сыр, взятые из котомки Сосуна. В его куцей, уже позеленевшей от старости и свалывшейся бородке торчали мелкие соломинки: не имея постели, старик спал на соломенной подстилке.

За последние годы Шелбет еще больше похудел и почернел, всем своим видом он напоминал теперь прокопченную потрескавшуюся жердь. И лицо, и тонкую шею сплошь прорезывали глубокие морщины, во рту у него не осталось ни одного зуба. Старик стал плохо видеть, но продолжал батрачить, чтобы заработать на хлеб.

Они ехали молча, каждый думая о своем. В утренней тишине отчетливо раздавался монотонный перестук колес. Потом Сосун ослабил вожжи, и кони пошли тихим шагом.

Кроме Рахмона, которого Сосун очень уважал, он больше всех любил и почитал старого Шелбета. Последние годы им часто приходилось работать вместе. Оди-

нокий старик и парень-сирота привязались друг к другу. Немало ночей они скоротали вместе на рыбалке. Часто, сидя у жаркого костра на берегу реки, Сосун встречал со стариком рассвет, слушая его сказки и легенды.

Одиночество Шелбета вызывало сострадание в душе Сосуна. Он не раз звал его перейти к нему жить, готов был как сын охранять его покой и старость. Но гордый старик не соглашался, не желая никому быть обузой.

— Сейчас, дядя Шелбет, у нас в селе только и слышишь, как плачут бедные женщины — прямо сердце болит, — повернувшись к старику, с горечью произнес Сосун.

Шелбет старательно дожевал кусок, уложил остатки хлеба и сыра в котомку и вытер руки о подол своей грязной, заплатанной бязевой рубахи. Провожая рассеанным взглядом чинары, росшие вдоль дороги, он сердито сказал:

— Есть поговорка: «Беки дерутся, а у нукеров головы летят». Цари, падишахи ссорятся, райят за это кровью своей расплачивается.

Старик отложил котомку в сторону, вытянул худые, иссохшие ноги и принялся нетерпеливо рассказывать Сосуну, как началась германская война.

Германский падишах, говорил Шелбет, пригласил в гости своего кунака — русского царя с женой. Как заведено, закатил пир на весь мир с зурной и барабаном. Вино лилось рекой, а сотни слуг едва успевали подавать разные кушанья. И вдруг пьяный германский падишах стал приставать к царице. Русский генерал, заметив это, на виду у всех влепил ему оплеуху. Тогда германский генерал стукнул русского генерала, за ними стали драться солдаты, которые охраняли падишахов. Потасовка переросла в большую войну. Война—это, конечно, не пьяная свалка на пиру, вместо кулаков пошли в ход сабли, винтовки, пушки...

Хотя эта история, неизвестно кем выдуманная, напоминала собой наивную сказку, нюгдинцы верили в нее, как, впрочем, и во многие другие хабары и небылицы. Поэтому после рассказа старика Сосун принялся ругать и поносить всех властителей.

— Проклятые падишахи, — в сердцах воскликнул он, — едят, пьют и худа не чувят. Их бы заставить работать до семи потов за кусок хлеба, тогда не стали бы с жиру беситься.

Некоторое время они молча ехали вдоль железнодорожной насыпи. Погруженного в думы Шелбета начало было клонить ко сну, как вдруг со стороны Баку донесся шум приближающегося поезда. Спустя несколько минут, мимо них, стуча колесами на стыках, промчался товарный эшелон с солдатами в вагонах и пушками на открытых платформах. Один солдат, высунувшись из вагона, и махая рукой, по-русски крикнул Шелбету:

— Дедушка, прощай!.. Едем бить немцев!..

Ни Шелбет, ни Сосун не поняли, что он сказал, но старик вскочил и прокричал в ответ:

— Да сохранит вас бог! Да будет проклят блудливый германский падишах!..

Батраки уже подъезжали к тому лесу, где собирались заготавливать шесты и бревна, когда в нескольких шагах от себя, прямо посреди дороги, увидели пожилого солдата. Он стоял, опираясь на деревянные костыли. Лоб и щеку его пересекал широкий шрам, вместо левого глаза зияла кроваво-красная впадина. На груди у солдата блестел Георгиевский крест. Весело улыбаясь, он единственным черным глазом выжидательно смотрел на сидевших в фургоне, а те в свою очередь с любопытством и недоумением уставились на незнакомца. Лошади остановились сами, увидев человека, преградившего им дорогу.

— Родные, дорогие мои, неужели не узнали?! — дрогнувшим голосом крикнул солдат, и его изуродованное лицо, обросшее густой темной щетиной, исказилось страданием.

— Дядя Рахмон! — с радостным удивлением воскликнул Сосун, узнав его по голосу.

Он мигом спрыгнул на землю, с волнением подбежал к нему, поцеловал в щеку, почтительно прильнул губами к его плечу. Шелбет тоже, спеша и суетясь, сполз с повозки, шаткой старческой походкой подошел к Рахмону и поцеловал его. Они стояли и шумно разговаривали, смеялись, обнимали друг друга.

— Да что мы стоим тут посреди дороги, — первым спохватился Сосун, — пойдете к повозке!

Сосун и Шелбет помогли Рахмону забраться в фургон.

— Провались Гомуил со своей летней конюшней, — проговорил Сосун. — Завтра поедем за лесом. — И он, стегнув лошадей, повернул обратно.

— О семье, дорогой, не беспокойся, — сказал Шел-

бет, как только фургон тронулся. — Жена твоя, слава богу, жива и здорова, дети и внуки тоже.

— А я сегодня утром, дядя Рахмон, вспоминал тебя, — весело блестя глазами, заговорил Сосун. — Я так рад, так рад, как будто родного отца увидел, клянусь богом.

— Спасибо, сынок, спасибо! — растроганно произнес Рахмон, глядя рукой больную ногу. — Тьфу, чтоб не сглазить, каким молодцом ты стал!

Когда они въехали в лес, остро запахло листьями, травой и сырой землей. В гуще деревьев, отбрасывавших на накатанную дорогу кружевные тени, звонко перекликались соловьи. Рахмон поднял голову, полной грудью вдохнул воздух. Его лицо, обезображенное шрамом, расплылось в широкой улыбке.

— Ах, как хорошо! — тихо, будто во сне, прошептал он.

— Мы, признаться, грешным делом думали, что в Сибири давно гниют твои кости. А ты, дай бог тебе еще многие лета, оказывается после Сибири успел повоевать... — почтительно глядя на крест, произнес старик.

— Что Сибирь! Сибирь не так страшна, как вы о ней думаете. Хорошо ли, плохо ли и там живут люди, и хорошие люди. Самое страшное сейчас—это война,—мрачно ответил Рахмон.

— Только что мы видели эшелон с солдатами и пушками, дядя Рахмон. Их тоже отправили на фронт? — спросил Сосун.

— А куда же еще, — произнес Рахмон. — Там каждый день гибнут тысячи здоровых людей. Вот им на смену и посылают новых, как скот на убой.

Сосун давно уже хотел, но все не решался спросить Рахмона, почему на груди его висит крест? Неужели он изменил веру и стал хочпересом?³³ При всем уважении к Рахмону, этот крест вызывал в нем неприятное чувство. К тому же, Сосун опасался, что односельчане будут плохо относиться к нему, как к вероотступнику. Но его удивляло спокойствие старика. Больше того, Сосун видел, что дедушка Шелбет время от времени уважительно взглядывал на крест.

Рахмон заметил недоумение юноши и понимающе улыбнулся ему.

— Это боевая награда, называется она — Георгиев-

³³ Хочперес—поклоняющийся кресту, христианин.

ский крест, — с нескрываемой гордостью объяснил он, затем весело добавил: — Получил я ее из рук самого главнокомандующего...

Сосун от удивления так и застыл с разинутым ртом, а старик Шелбет от этого известия точно поперхнулся. Поднеся сухой морщинистый кулак ко рту, он даже несколько раз с усилием кашлянул.

— Ничего тут особенного! Наградил — и все, — видя замешательство односельчан, произнес Рахмон, пытаясь придать своему лицу безразличное выражение. — Ну, ладно, коли вас это очень удивляет, давайте сначала покурим мою солдатскую махорку, а потом я расскажу вам, как все произошло.

Рахмон достал из кармана круглую жестяную коробочку с махоркой. Угостив Шелбета и Сосуна, он не спеша, свернул сигарку. Закурили. Выпуская изо рта и ноздрей горьковатый дым и весело глядя единственным глазом на старика и парня, Рахмон спросил:

— Ну, как табачок-то? Получше, чем наш самосад?

— Хорошо, горло не дерет. Одно удовольствие курить такой табак, — похвалил Сосун, желая сказать Рахмону приятное.

— Да, на то он и казенный... — одобрительно отозвался старик, держа между дрожащими морщинистыми пальцами дымящуюся самокрутку.

Лошади, опутив головы, шли размеренным, неторопливым шагом, отгоняя пышными хвостами слепней, которые сопровождали их от самого села. Щедрое июньское солнце ярко освещало все вокруг. Легкий ветерок приятно освежал путников, а желтые созревающие колосья на полях переливались волнами.

— Теперь послушайте, как это было, — произнес Рахмон, устраиваясь поудобнее и держа во рту сигарку, от которой поднималась над солдатской фуражкой легкая струйка синего дыма. — Есть в России такой город, называется он Гомель. После ранения лежал я там в лазарете, в палате для выздоравливающих. Однажды глядим, наших врачей, фельдшеров и сестер милосердия точно оса укусила: они вдруг засуетились, забегали, лица у всех такие озабоченные, строгие. Но особенно волновался в тот день сам начальник лазарета, военный врач, толстый мужчина с красной лысиной. Через каждые десять минут он, весь мокрый от пота, вбегал к нам в палату. Давая на ходу распоряжения врачам, сестрам и

нянькам, тыкая пальцем в разные стороны, он опять исчезал. Не прошло и часу, как у нас все было прибрано, полы до блеска вымыты, стекла на окнах вытерты. Нам сменили белье, заправили как следует койки. Мы, солдаты, ничего не понимая, тихо перешептывались, высказывали разные догадки.

Вскоре начальник лазарета опять прибежал, тряся большим животом и на ходу вытирая красное распаренное лицо и лысину. Он еще раз оглядел помещение и, видно, оставшись доволен, объявил: «Братцы! Я очень счастлив сообщить вам: к нам прибудет сейчас сам главнокомандующий!..»

Уж не помню, как другие, но я, не скрою, очень испугался, хотя сами знаете, не из робкого десятка. Рахмон выбросил окурок, с улыбкой посмотрел на слушателей.

— И вот стою я, опираясь на костыль, возле своей койки, очень волнуюсь. Вдруг в дверях палаты показался мужчина — невысокий, сутуловатый, с золотыми погонами. Борода у него будто хной выкрашенная, глаза маленькие, зеленые и даже не злые. Клянусь богом, никогда не подумал бы, что это — главнокомандующий. А я представлял его себе совсем другим: грозным и свирепым. Вслед за ним вошли генералы, важные, породные. У некоторых из них усы закручены, как рога у старого барана.

Мы замерли у своих коек, а потом закричали: «Ура». Главнокомандующий едва заметно кивнул нам головой и чуть улыбнулся. Затем он вместе со своим адъютантом, очень красивым молодым генералом, отделился от других сопровождавших его людей. Они вдвоем стали подходить к каждому солдату и тихо о чем-то спрашивать. Потом генерал прикалывал солдату на грудь вот такой крест, — Рахмон скосил глаз на награду, которая то и дело вздрагивая, качалась на ленте. — Подошла и моя очередь. Страха такого у меня уж не было. Но все равно, чего греха таить, немного боялся. Главнокомандующий, подойдя, кивнул мне головой, вроде желая сказать: говори мол и ты, кто такой есть. Я взял себя в руки и, по примеру других, доложил, какого звания, где служил, в каком бою получил ранение.

По моему выговору и внешности он, конечно, догадался, что я не русский.

— Откуда ты, солдат? — чуть слышно спросил он меня.

— Из Ньюдид! Ваше высокопревосходительство! — громко произнес я и, уже совсем расхрабравшись, добавил для точности: — Кюринского округа!

Смотрю, что-то он нахмурился.

— Откуда, говоришь?

У меня сразу душа ушла в пятки, ноги подкосились. Думаю, провалился мой дом, осиротели мои дети: главнокомандующему, видно, не понравилось, что я родом из Ньюдид. А он, на зло, не уходит, стоит, словно Азраил над душой, и смотрит на меня, ждет пока я отвечу. А у меня совсем язык отнялся, не могу и слова выговорить, хоть убей. Комок подкатил к горлу, чувствую, вот-вот заплачу. Хотел было тут же повалиться ему в ноги, умолять: «Прости меня, несчастного, пожалей моих детей. А их у меня целая прорва... Жена моя, Майрам, постаралась... А то, что я поджег скирды старосты, так он сам довел меня до этого. Из-за него я потерял единственную корову и свой виноградник. Сам знаешь, у кого пропало добро — пропал и разум. И то, что я родом из Ньюдид, который, может, не по душе тебе, клянусь богом, я не при чем. Деды наши основали его. Они давно спят в своих могилах и в ус не дуют, а нам, потомкам, за них надо расхлебывать...»

Пока я собирался упасть к ногам главнокомандующего и выложить все как на духу, начальник лазарета, спасибо ему, пришел мне на выручку. Он объяснил, что будто бы я, увидев такого важного человека, от счастья лишился дара речи и что родом я с Кавказа.

Главнокомандующего, видно, это развеселило. Он улыбнулся и кивнул своему генералу. Тот подошел ко мне и сказал то же самое, что говорил другим солдатам:

— За верную службу царю и отечеству его высокопревосходительство награждает тебя Георгиевским крестом!

И тут же приколот этот крест мне на грудь.

Рахмон на минуту умолк, полез опять в карман, достал жестяную коробку с махоркой. Угостив табаком Шелбета и Сосуна, закурил сам, затем продолжил свой рассказ:

— Главнокомандующий и молодой генерал раздали награды, отошли на середину палаты. Генерал сказал, что мы удостоились великой чести, получив ордена из рук самого главнокомандующего. Потом стал говорить, что немцы напали на Россию, и мы должны воевать до тех пор, пока их не одолеем, велел не слушать большеви-

ских агитаторов, которые подстрекают народ против царя, сеют смуту и будто этим помогают нашим врагам.

Вдруг один из наших товарищей по фамилии Русаков, потерявший на фронте правую руку, размахивая здоровой рукой, закричал на всю палату: «Не хотим воевать! Хватит вам пить нашу кровь! Далой войну!..»

— Смотри, какой молодец, а?! — с восхищением заметил Сосун. — Не побоялся сказать такое!

— Конечно, молодец! — кивнув головой, с улыбкой подтвердил Рахмон.

— Ну, ну, а дальше? — нетерпеливо перебил их дедушка Шелбет.

— А дальше... — начал Рахмон. — Все вдруг растерялись. Главнокомандующий и генералы тут же покинули лазарет. Но не прошло и пяти минут, как за Русаковым пришли жандармы и увели его с собой...

Фургон уже подъехал к нюгдинским садам, за которыми виднелись серые плоские крыши домов. Чем ближе подъезжали к селу, тем больше волновался Рахмон. Он курил сигарку за сигаркой, беспокойно ерзал на месте, жадно оглядываясь вокруг, а рука с сигаркой заметно дрожала.

Перед самым въездом в село Сосун передал вожжи Шелбету и ловко спрыгнул на землю.

— Вы потихоньку поезжайте, — сказал он, радостно улыбаясь, — а я побегу, сообщу тете Майрам о вашем приезде и получу от нее пишкеш.

И Сосун во весь дух помчался через село.

СВАДЬБА



асть обширного двора старосты, обнесенного со всех сторон высокой глинобитной оградой, занимал небольшой фруктовый сад. Вокруг него и между деревьями росли кусты ярко-красных, снежно-белых и огненно-рыжих роз, нарциссы, ромашки, гвоздика, хна. По утрам, когда земля, мокрая от росы, еще дышала свежестью, и вечерами разомлевшие за день от жары цветы источали дурманящий аромат. Посреди сада, возвышаясь над другими деревьями, стояло высокое ореховое дерево с пышной раскидистой кроной. Оно было старое, местами кора отвалилась, обнажив будто набитый гни-

лыми опилками толстый ствол. И все же богатырь-орех жил, держался крепко и выглядел среди других деревьев, как великан рядом с карликами.

Гомуил любил коротать время в тени этого дерева — посидеть, помечтать, а иногда просто вздремнуть на подушке с потухшим кальяном во рту. И сейчас он сидел на коврике, прислонившись спиной к стволу и скрестив ноги. Перед ним на скатерти стояла четверть розового вина, лежала закуска — жареное мясо и соленые овощи.

Короткий октябрьский день клонился к закату. Багровое солнце, в последний раз бросив на землю свои лучи и на мгновение ярким пламенем вспыхнув в окнах веранды двухэтажного дома Гомуила, скрылось за толстым слоем хмурых облаков, тяжело нависших над кромкой желтеющего леса. Сразу стало холодно и неуютно вокруг. Холодно и неуютно было и на душе старосты. Откуда-то доносилась мелодия — грустная, под стать его настроению. Гомуил догадывался, что это играет на зурне в окружении своих многочисленных детей и внуков, а может, и соседей, его заклятый враг Рахмон. Однако, застыв в задумчивой позе, он невольно внимал печальным звукам, горестно кивая седой головой. Время от времени он тянулся к стоящей перед ним четверти, наливал вино и пил стакан за стаканом, почти не притрагиваясь к еде и не расставаясь с кальяном. Но и вино не оживляло его хмурое лицо.

Тягостные думы одолевали старосту. Поведал бы он о своих горестях и печалях кому-нибудь, но ни от кого не ждал ни сочувствия, ни утешения. Односельчане недолго любили и боясь его, бедняки и родственники лебезили и заискивали перед ним, клялись его именем, а за глаза завидовали, желали ему разорения. Гомуил чувствовал себя одиноким и в родной семье. Первая жена, после того как он ввел в свой дом вторую — Гюзюргул, почти не разговаривала с ним. Да и Гюзюргул, надо сказать, не приносила ему радости.

Вот уже более четверти века живет он с Гюзюргул под одной крышей, склоняет голову на одну подушку, а ее совсем не интересуют ни дела, ни заботы мужа. На ее вечно пасмурном лице он редко видит улыбку и ни разу не слышал от нее ласкового слова. Гомуил делал все, чтобы завоевать любовь Гюзюргул, стереть в ее душе память о первом муже. Он не жалел ни денег, ни дорогих нарядов. Несмотря на свою необузданность и прирощ-

денную грубость, старался быть с ней нежным, обходительным. Из любви к ней он как родной, заботливый отец, относился к своему пасынку Шоулу. А когда тот подрос, не считаясь с расходами, отвез его в город, определил в гимназию, где он учился вместе с детьми аристократов и богачей.

Годы шли своей чередой, голову и бороду Гомуила посеребрила седина, а Гюзюргул оставалась такой же чужой и равнодушной к нему. Сейчас, как и в первые годы их совместной жизни, она, лежа с ним в одной постели, часто вздыхает о своем первом муже, посылает проклятия на голову его убийцы. Да и сынок ее тоже хорош, нечего сказать. Не впрок пошло ему учение. Молодой, красивый, образованный, вместо того чтобы служить, добиваться чинов, взять в жены себе какую-нибудь девушку из богатой семьи, наслаждаться жизнью, пошел по кривой дороге, связался с безбожниками и смутьянами, угодил в тюрьму. Теперь который год от него нет никаких вестей.

Добро, которое он, Гомуил, хотел сделать Гюзюргул и ее сыну, обернулось злом против него же самого. Жена еще больше стала чуждаться его, вечно ходит хмурая, нередко упрекает мужа за то, что он отвез ее сына в город учиться и этим загубил ему жизнь. А теперь еще родной сын Эсеф так огорчил его.

Сегодня, когда он сидел на майдане и беседовал с аксакалами, ему, как на грех, захотелось напиться. В это время, сгибаясь под тяжестью полного водой кувшина, шла с родника Хонум, которую он в мыслях уже считал своей снохой. При виде ее лицо старосты расплылось в веселой улыбке. Он пальцем поманил девушку. Хонум, чуть прикрыв лицо платком, подошла к нему.

— Дай, дорогая невестушка, напиться из твоего кувшина, — по-отечески ласково произнес староста.

Но на этот раз девушка, вместо того чтобы обрадоваться и услужливо поднести ему кувшин, внезапно побледнела. Словно забыв, где она находится, Хонум, задыхаясь, истерично закричала:

— Зачем, зачем ты, дядя Гомуил, насмехаешься надо мной?! Не я, а дочь пастуха Ишмаила твоя невестка. Твой сын тенью ходит за ней повсюду!..

Девушка покачнулась, веревка выскользнула из ее расслабленной руки, и кувшин, упав на землю, с грохотом разбился у ног ошеломленного старосты.

Гомуила точно вихрем унесло с майдана. Полный беспокойства и гнева, староста поспешил домой. Он был до того потрясен, что не нашел ни слова утешения, ни слова упрека для девушки. Гомуилу не терпелось скорее увидеть сына, схватить его за шиворот, избить, излить на нем свою ярость. По дороге он вспомнил, как недавно чауш Илогу осторожно намекнул ему, что Эсеф ухаживает за сестрой его батрака Сосуна. Однако староста тогда не придавал этому особого значения. Он лишь усмехнулся и ответил поговоркой: «Мой гвоздь в стене другого дома». Но сейчас, вспомнив предупреждение Илогу, он не на шутку забеспокоился, как бы эта нищенка не вскружила голову его доброму, но слабовольному сыну и не спутала все карты Гомуила.

Староста сердито толкнул ногой калитку и быстро проскочил во двор. Но подойдя к дому и услышав голос Эсефа, который пел, подыгрывая себе на сазе, он на минуту задержался за дверью, невольно вслушиваясь в слова песни:

О мой кипарис, царицей в сердце ты вошла,
Никогда другой не будет власть над ним дана.
Если прах мой, ставший глиной,

превратят в кирпич.

То любовь к тебе навеки сохранит стена...³⁴

Гомуил, услышав песню, еще больше разозлился. Когда он вошел в комнату, Эсеф, увидев отца, смущенно умолк, пальцы застыли на струнах. Потом, точно спохватившись, он встал, повесил инструмент на гвоздь и почтительно отошел в сторону, молча ожидая, когда отец пройдет и сядет на свое место.

Гомуил, остановившись у дверей, осуждающе и неприязненно посмотрел на сына. «Погоди, я возьмусь за тебя, выбью дурь из головы!» — мысленно пригрозил он ему.

Но, будучи человеком хитрым, расчетливым, он подавил свой гнев, решил не набрасываться сразу на Эсефа, а действовать соответственно мудрой поговорке: «Если хочешь поймать жеребенка, незачем кидать вверх папаху перед ним». Стараясь держаться как можно спокойнее, Гомуил медленно прошел туда, где на краю широкого

³⁴ Стихи Саади, перевод И. Гуровой.

ковра, покрывающего весь пол, был разостлан длинный полосатый матрас, и устало опустился на мягкую подушку. Затем, взглянув на сына, указал ему глазами место рядом с собой, пригласив сесть. Когда Эсеф сел, он, выждав немного, заговорил мягко, почти ласково:

— Я думал, сынок, ты сам или через своих друзей дашь знать мне или матери, что полюбил девушку и хотел бы жениться на ней. Но годы идут, а мы от тебя ничего подобного не слышим. Тебе уже двадцать первый год лошел. В твоём возрасте многие имеют детей, а ты все еще ходишь неженатым. Даже перед людьми неудобно. Я уже старик, да и мать тоже в годах. Пока живы, хочется повеселиться на свадьбе сына, понянчить внуков, а ты не спешишь доставить нам такую радость.

Староста умолк, посмотрел на Эсефа с грустной улыбкой. Выпуклые глаза его из-под кустистых бровей настойчиво и испытующе следили за выражением лица сына. Эсеф слушал отца, низко опустив голову. Видя, что он молчит, Гомуил с облегчением подумал, что, пожалуй, у него не было и нет никаких серьезных намерений в отношении Пери. Иначе он сказал бы сейчас об этом. Влюбленный, как пьяный: что на уме, то и на языке. А Хонум просто ревнует. Конечно, если бы она не была единственной наследницей престарелого раби, Гомуил, который знал толк в женской красоте, ни за что бы не женил своего сына на этой образине, да еще, как видно, с дурным характером. Но он не допустит, чтобы наследство раби Шафада, которое он уже в мыслях считал своим, досталось другому.

Успокоенный и ободренный молчанием сына, староста счел этот момент самым подходящим, чтобы прямо и недвусмысленно сказать ему о своем решении.

— Раз, сынок, ты еще не сделал выбора, я сам приметил тебе девушку из хорошей семьи. Ты ее знаешь — это Хонум, дочь раби Шафада.

При упоминании имени Хонум лицо юноши вспыхнуло, на нем появилось выражение отчаяния и страха, но он продолжал угрюмо молчать, зная заранее, что его ответ будет отцу не по душе.

— Что же ты, сын, молчишь? — с мягким укором спросил Гомуил, недовольно косясь на него. — Будь она плоха, недостойна тебя, разве я решился бы ввести ее в свой дом? Учти, сынок, она единственная наследница отца, который не сегодня-завтра, дай бог ему долгие

годы, отойдет в другой мир, а женившись на его дочери, ты будешь еще богаче.

Эсеф медленно поднял голову, с тревогой и мольбой посмотрел на него.

— Ты говоришь, отец, что женитьба на Хонум сделает меня богатым, — дрожащим от волнения голосом произнес он. — А на что мне богатство без счастья?

— Богатство — это и есть счастье, — все еще надеясь убедить сына, заметил староста. — Последний бедняк и тот мечтает о богатстве. Если бы деньги не приносили человеку счастья, разве бы стал из-за них брат враждовать с братом, сосед ненавидеть соседа, а падишах посылать на падишаха свои войска?.. Что же, для тебя богатство ничего не значит?

По выражению лица сына, по его нетерпеливым, нервным движениям Гомуил понял, что все его слова бесполезны, и, уже не скрывая своей обиды и раздражения, добавил:

— Я вижу, красота сестры Сосуна вскружила тебе голову. Красота красотой, но Пери—нищенка. Да и не пристало нашей семье вводить в дом дочь пастуха. Ты меня опозоришь! Понимаешь ли ты это или нет?!

Эсеф, бледный и взволнованный, вскочил.

— Отец, прости меня, — с отчаянной мольбой сказал он. — Не люблю я Хонум, не люблю! Видеть ее не могу. А если ты не позволишь мне жениться на Пери, я не знаю, что со мной будет... Убегу из дому, убегу куда глаза глядят!..

Глаза старосты налились кровью, а большие тяжелые руки сжались в кулаки.

— Во-о-он! Во-он! — закричал он в бешенстве и, вскочив с подушки, бросился на сына с кулаками. — Провались с моих глаз, пока я не задушил тебя, гаденыш!..

Эсеф, в страхе глядя на рассвирепевшего отца, бросился к двери и, открыв ее, пулей вылетел на улицу.

Услышав крики и угрозы Гомуила, из внутренней комнаты вышла Гюзюргул — женщина лет сорока пяти с каштановыми волосами и выразительными темно-кариыми глазами.

— Что такое?! Что случилось? — спросила она Гомуила, который мечась по комнате, продолжал бушевать, изрыгая проклятия.

— Твой сын собирается жениться на оборванке — дочери Ишмаила, вот что!.. — не глядя на жену и продолжая нервно шагать по комнате, кричал Гомуил. — И гро-

зится сбежать из дому, если я не разрешу ему жениться на ней, а о Хонум и слышать не хочет, негодяй!..

— Ах, вот оно что! Я-то думала, не дай бог, что-нибудь случилось страшное, — с облегчением вздохнула Гюзюргул. — Пусть женится на Пери, если она ему по душе. Девушка она красивая, здоровая, скромная. А жениться на Хонум, видно, ему не судьба.

Довольная улыбка на лице жены, ее слова и спокойный тон, каким они были произнесены, вызвали у Гомуила еще большее раздражение. Его так и подмывало ударить жену, накричать на нее, сорвать на ней свою злость. Но упрямый и самовластный староста, привыкший помыкать другими, навязывать всем свою волю, чувствовал себя перед этой уравновешенной женщиной, с глазами раненой газели, робким и безоружным даже в припадке ярости. Поэтому, сдерживая гнев, Гомуил лишь с горечью сказал, желая уязвить жену:

— Яблоко от яблони недалеко падает. Видать, и ты, и сын, из одного теста слеплены, не моя в нем закваска, не моя!..

Он вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.

...И вот сейчас Гомуил сидел под ореховым деревом, таким же старым, но еще крепким, как он сам, и перебирал в памяти печальные события сегодняшнего дня, заливая горе вином. Мысль, что с женитьбой сына на ненавистной Пери он потеряет состояние раби Шафада, не давала ему покоя.

Уже начинало темнеть. Землю быстро окутывали ранние осенние сумерки. На небе зажглись первые звезды. Рахмон давно перестал играть на зурне. Не слышно было уже и мычания коров, вернувшихся в село. Все стихло. А староста продолжал сидеть под ореховым деревом, предаваясь своим невеселым думам.

— Эй, кто там? — вдруг сердито крикнул Гомуил.

На его зов выбежала молодая босоногая девушка-служанка. Когда она подошла и с покорным видом остановилась перед хозяином, он, кивком головы указав на скатерть, приказал:

— Убери все это, а потом передай Гюзюргул, пусть возьмет обручальное кольцо, четверть вина и пару чуреков: мы пойдем сватать Пери, сестру Сосуна.

Когда Гомуил с женой пришли к Сосуну, брат и сестра сидели на полу, покрытом старым паласом, и ели свой скудный ужин. Увидев гостей, девушка зарделась что ма-

ков цвет. Она вскочила с места, поспешно отошла в дальний угол комнаты и смущенно опустила голову. Встал и

Сосун, немало удивленный и обеспокоенный их приходом. Он подумал, что староста и его жена не с добром пожаловали к ним. Сомнения, мучившие его последнее время, в одно мгновение превратились почти в уверенность, и он невольно метнул на сестру недовольный взгляд. «А вдруг что-нибудь другое?—быстро пронеслось у него в голове. — Может староста пришел сообщить, что не сегодня-завтра ему предстоит ехать в армию и что он, при всем своем старании, больше не в силах уберечь его, своего батрака, от мобилизации?». Ничем другим Сосун не мог себе объяснить неожиданный приход столь важных гостей. Но, повинуясь священному долгу гостеприимства, он заставил себя приветливо и радушно улыбнуться, сам принес матрас, постелил, приглашая их сесть. Гюзюргул, прежде чем сесть, вынула из-под тонкой шерстяной коричневой шали четверть с вином, два свежеспеченных чурека, положила их на скатерть. Затем она своей плавной походкой подошла к Пери, ласково взяла ее за подбородок, приподнимая опущенную голову и, с улыбкой глядя девушке в лицо, сказала:

— Небось, когда моего сына видишь, ты так не вешаешь головы?..

Гюзюргул по-матерински обняла Пери, поцеловала и, подведя ее к скатерти, усадила рядом с собой.

Гомуил, устроившись рядом со своим батраком, исподлобья стал разглядывать Пери. Никогда он не видел ее так близко и сейчас вынужден был признать, что девушка на самом деле хороша собой, недаром покорила она сердце его сына. Но будь Эсеф умнее и практичнее, не стал бы он из-за одной красоты упускать наследство раби Шафада.

— Давай, жена, скажи им, с каким добрым делом мы пришли. Ведь вы женщины в таких делах красноречивее нас, мужчин, — проговорил Гомуил, с лукавой улыбкой поглядывая на Гюзюргул.

— А чего тут много говорить, — спокойно отозвалась Гюзюргул, снова обнимая Пери и притягивая ее к себе, — налей стаканы, благословим обручение этой красавицы с нашим сыном — и делу конец.

У Сосуна точно камень с души свалился. Он ждал позора, беды, а произошло такое, что ему и во сне не снилось. Он пружинисто вскочил на ноги, быстро подо-

шел к нише в стене, прикрытой лоскутным занавесом. Взяв оттуда стаканы, Сосун вернулся к гостям и поставил их на скатерть.

Гомуил сейчас казался веселым и добродушным. Сосун первый раз видел его таким.

— Ну что ж, в народе говорят: «С женой советуйся, поступай наоборот». Но на этот раз я нарушу правило и охотно поступлю так, как того желает моя покорная Гюзюргул, — шутливо заметил староста, разливая вино.

Мужчины подняли стаканы. Гюзюргул взяла руку Пери в свою, надела на ее палец золотое обручальное кольцо и поцеловала ее в щеку.

— Да будет благословен этот брак, — с торжественной взволнованностью произнесла она. — Да придут в наш дом вместе с невестой радость и счастье, да смиловится грозный царь и опустит на волю моего любимого сына Шоула.

— Аминь! — воскликнул Гомуил, и гости чокнулись с хозяином дома.

Гомуил вышел от Сосуна хмельной, в приподнятом настроении. Перед уходом он крепко пожал руку своему батраку, привлек к себе девушку, поцеловал в лоб и вложил ей в руку новенький золотой червонец.

Спустя две недели сонную утреннюю тишину над селом прервали веселые звуки зурны и барабанная дробь. Друзья Эсефа еще до прихода музыкантов подготовили в середине обширного двора старосты площадку для танцев. Они ее тщательно разравнивали, утрамбовали, как ток, посыпали измельченной соломой. В разных концах двора кейвони³⁵ в новых шелковых гянджинских платках — подарок старосты по случаю свадьбы сына — варили на самодельных очагах в огромных медных котлах суп и плов, жарили на шампурах шашлыки. Вкусный аромат шел на всю улицу.

Двор старосты был полон гостей. Человек десять серпои³⁶ беспрерывно подносили гостям вино, водку и всякие закуски. Опьяневшие и насытившиеся гости, многие из которых, быть может, еще несколько часов назад призывали на голову Гомуила тысячи бед и напастей, сейчас расточали ему безмерные похвалы. Они, чокаясь и перебивая друг друга, шумно превозносили щедрость

³⁵ Кейвони — повариха (поварихи) на свадьбе.

³⁶ Серпои — люди, обслуживающие гостей на свадебном пиру.

старосты, называли его истинным мужчиной, провозглашали тосты за здоровье и счастье «весеннего соловья и цветущей розы», то есть жениха и невесты. Иные вконец охмелевшие сельчане похваливали Гомуила за то, что он, будучи богатым и знатным, женит сына на дочери пастуха и этим возвышает ее до себя.

В разгар свадебного пира в один фургон, запряженный тройкой лошадей, посадили жениха с тремя его близкими друзьями и музыкантов, а в другой — невесту с подругами и отправили на реку Григоринчай, где по обряду им полагалось выкупаться перед венцом.

Гомуил велел Илогу вывести из конюшни оставшиеся двенадцать лошадей и раздать молодежи для сопровождения свадебного поезда. В челки и гривы лошадей вплели разноцветные ленты. По обычаю, мужчины, сопровождавшие жениха и невесту, на обратном пути от реки до села устраивали скачки. На лбу лошади всадника, первым прискакавшего в селение, торжественно разбивали сырое яйцо, а ему самому вручали приз — шелковый платок, вышитый невестой. Это считалось очень почетной наградой, и она будто бы сулила ее владельцу удачу.

Раздав юношам лошадей, хитрый Илогу оставил себе самого быстрого пятнистого иноходца, надеясь заполучить приз невесты.

Провожать свадебный поезд вышли почти все сельчане. Судьей, который должен лично разбить яйцо о лоб коня победителя и вручить ему приз, был выбран Офдум Четверть Быка.

Под звуки торжественного марша и дружные крики «Ура!» молодые в сопровождении двенадцати всадников двинулись к реке. Многие сельчане остались на майдане, чтобы дожидаться возвращения свадебного поезда и узнать, кто из наездников придет первым, а остальные вернулись во двор старосты, где продолжался свадебный пир. Среди ожидавших на майдане сновали полупьяные серпои. Держа в одной руке кубки с вином, в другой — шампур с шашлыком, они подносили угощение гостям, отпуская в их адрес шутки, остроты.

Возвращения жениха и невесты пришлось ждать долго. Не прошло и часа, как из-за леса донеслись отдаленные звуки зурны и барабана, возвещающие о том, что свадебный поезд тронулся обратно в село. Вскоре у садов на окраине села показался пятнистый иноходец, стремительно мчавшийся вперед. Во всаднике все сразу узна-

ли чауша Илогу, и у многих это вызвало разочарование. В толпе послышались возгласы, не очень лестные для него:

— На пятнистом иноходце и ребенок прискакал бы первым!

— Жаль, что этому рыжему черту достанется приз!

— Да чтоб он провалился!..

А Илогу, одной рукой потягивая на себя повод, чтобы придержать разгоряченного бегом коня, и радостно размахивая другой, кричал:

— Едут, едут!..

Судья Офдум, в правой руке держа наготове яйцо, а в левой—шелковый платок, степенно, с важным видом, пошел к деревянному мосту, перекинутому через канал, пересекавший село. Как только пятнистый иноходец ступил на мост, Офдум, старательно прицелившись, чтобы не промахнуться, бросил яйцо. Оно с треском разбилось на лбу лошади, залив липкой, бело-желтой жидкостью ее левый глаз. Иноходец вдруг испуганно отпрянул назад, тревожно заржал, встав на дыбы. Под всадником не было седла, и он, потеряв равновесие, под дружный хохот собравшихся, сорвался с лошади и плюхнулся в воду. Гуси, спокойно и важно бродившие по берегу со своими выводками, увидев упавшего в канал Илогу, всполошились, громко и сердито загоготали. Угрожающе хлопая крыльями, вытянув длинные шеи, будто стрелы, нацеленные в сердце врага, они с яростью набросились на неудачливого наездника и принялись немилосердно щипать его за нос, за рыжую бороду. А он, беспомощно барахтаясь в мутной холодной воде, яростно шлепая руками, дрыгая короткими ногами, отбивался от рассерженных гусей и орал так, словно на него налетела шайка разбойников. Вдобавок ко всему Офдум Четверть Быка стоял на краю моста, как Азраил над душой, и, держа в вытянутой руке приз невесты, с напускным недовольством кричал ему сверху:

— Слушай, имей совесть! Долго ли мне тут стоять и сохнуть, пока эти кончишь прохлаждаться и соизволишь подойти получить свой приз?!

Шутка Офдума вызвала новый взрыв смеха.

— Вы разве не видите, безбожники, они меня живьем съедают, эти проклятые твари?! — взорвался Илогу.

Тем временем один за другим уже стали подъезжать остальные всадники, вскоре показался и свадебный по-

езд. Встречающие дружной шумной толпой двинулись к двору старосты, невесту и жениха развезли по домам.

Когда наступил вечер, жених в сопровождении друзей с музыкой и песнями явился за невестой. Пери, окруженную подругами, вывели из дома. На ней было пышное темно-зеленое платье, лицо прикрывал огромный белый шелковый платок, спускавшийся ниже колен. Две подруги вели невесту за руки, одна из девушек шла позади нее, держа в руке горящую лампу, другие несли подушки, посуду и все ее нехитрое приданое. Музыканты играли грустную прощальную мелодию «Горе матери—невесту увели».

Гомуил вместе со своими женами вышел к воротам встречать невесту. Он приподнял платок на лице Пери, поцеловал ее в лоб, затем дал по монете девушкам, которые вели ее под руки. То же самое сделали Гюзюргул и старшая жена Гомуила.

Илогу, который успел за это время сменить мокрую одежду, согреться у очага и взбодрить себя изрядной порцией водки, кружась возле хозяина, закричал, руками и спиной расталкивая гостей:

— Эй-эй, шире круг, шире!.. Сейчас невеста будет танцевать!..

Пери вывели на площадку. Сначала с ней плясал жених. Гости, образовавшие плотное кольцо, дружно и громко хлопали. Друзья и родственники жениха совали деньги в руки невесте, бросали монеты в тарелку, стоявшую перед музыкантами. После жениха плясали с невестой Гомуил и его жены, затем ближайшие родственники.

Но вот староста, отстранив гостей, вышел на середину круга, предупреждая поднимая руку, подавая сигнал музыкантам сделать передышку. Затем подошел к Пери, по-отцовски обнял ее за плечи, весело крикнул собравшимся:

— Хватит мучить мою невестку, теперь танцуйте без нее!

Когда Пери подвели к двери дома, кейвони Эвшаг поднесла ей на блюдечке мед, обмакнула в него пальцы невесты и помазала ими притолоку двери: чтобы жизнь ее в этом доме была сладкой. А одна из женщин под радостные возгласы гостей бросила на жениха и невесту горсть пшена, желая тем самым молодым столько же потомства, сколько зерен упало на них.

Невесту ввели в комнату, отведенную для нее и жениха на нижнем этаже, рядом с комнатой Гомуила. Прежде чем войти к невесте, Эсеф, как того требовал обычай, зашел к отцу. Взволнованный и смущенный, он покорно опустил перед ним на колени, низко склонив голову.

— Отец-джан, — дрогнувшим голосом проговорил он, — за все обиды и огорчения, которые я волей и неволей причинил тебе в жизни, прости меня.

Староста в знак прощения подал сыну руку. Тот, продолжая стоять на коленях, обеими руками почтительно взял ее, приник к ней губами. Неожиданно ощутив спиною ласковую руку отца, он вдруг почувствовал себя маленьким, и губы его дрогнули. Растроганный его нежностью, он как и в детские годы, уткнул голову в колени отца и заплакал.

— Ты что, ты что, сынок?! — смутился староста. Взяв Эсефа за плечи, он поднял его, поцеловал. — Я тебя, сынок, прощаю. Я сделал все, чтоб ты радовался, а не плакал, — произнес Гсмуил, вытирая ладонью его слезы.

Затем староста повернулся к сыну спиной, подошел к нише в стене, где стояли два стакана, наполненные вином. В один из них, предназначенный для жениха, он незаметно высыпал серый, как дорожная пыль, порошок. Взяв оба стакана, Гомуил, радостный и сияющий, повернулся к Эсефу.

— Ну что ж, сынок, я счастлив, что бог сохранил меня до этого радостного дня. Я мечтал женить тебя, своего единственного сына, пока видят мои глаза. Сегодня моя мечта исполнилась. А теперь, прежде чем ты войдешь к своей невесте, давай выпьем за ее здоровье.

Эсеф вспыхнул от смущения. Полный радостного волнения и благодарности, он чокнулся с отцом и выпил стакан до дна. Гомуил еще несколько минут задержал сына. Он отпустил его лишь тогда, когда убедился, что порошок, разбавленный в вине, уже подействовал. Эсеф уже с трудом держался на ногах, глаза его закатывались, как у смертельно усталого человека, который силится, но не может бороться с одолевающей его дремотой.

Когда Эсеф, тяжело ступая по ковру и покачиваясь, вошел в комнату к невесте, она, ожидая жениха, сидела на постели.

Эсеф точно сквозь туман видел полураздетую Пери. На его курносом круглом лице блуждала пьяная блаженная улыбка. Он что-то невнятно пробормотал заплетаю-

щимся языком и в изнеможении опустился перед девушкой. Положив свою отяжелевшую голову на ее колени, Эсеф, словно погрузившись в пучину, тотчас же забылся мертвым сном.

«ОКРОВАВЛЕННЫЙ ПЛАТОК»

Проводив сына к невесте, Гомуил подождал несколько минут, затем вышел во двор. Среди гостей он отыскал Эвшаг, исполнявшую на свадьбе обязанности главной кейвони, и с необычной для него любезностью попросил ее пойти с ним в комнату. Пропустив старуху вперед, староста плотно закрыл за собой дверь, опустился на подушку и предложил Эвшаг тоже сесть, указав глазами место на ковре напротив себя. Когда она села, староста посмотрел на нее приветливо и ласково, краем уха прислушиваясь к музыке, пьяным нестройным голосам гостей, доносившимся со двора. Наконец Гомуил придвинулся поближе к кейвони и сказал ей тихим, вкрадчивым голосом:

— Эвшаг, ты должна выполнить одно мое поручение.

— Я рада служить тебе, Гомуил,—с готовностью ответила Эвшаг, склонив набок голову, повязанную новым, шелковым платком, подаренным ей Гомуилом как главной кейвони.

— Будь енге для молодых. Со стороны невесты енге не прислали. Ее брат доверяет нам, а со стороны жениха енге будешь ты.

Старуха была польщена предложением старосты. По обычаю, в день свадьбы к новобрачным приставляли енге — женатого мужчину и замужнюю женщину, чаще всего пожилых. Жених должен был в тот же вечер вручить енге окровавленный платок — знак целомудрия невесты, чтобы его показали гостям. Быть енге считалось почетным делом, выражением большого доверия.

— Сколько раз я за свою жизнь была енге, даже и не помню, — похвасталась Эвшаг. — Почему бы мне не услужить и твоему сыну. Только... — она, выдержав паузу, с хитрой улыбкой посмотрела на старосту, —

услуга за услугу: не забудь приготовить для меня хороший подарок.

Гомуил кивнул головой и, как можно спокойнее и любезнее, с нарочитой медлительностью проговорил:

— Если ты согласна, за подарком дело не станет. Я тебе подарю не какой-нибудь платок, а...

Староста энергично и торопливо засунул руку в карман бешмета, вытащил бусы из чеканных золотых монет и, улыбаясь, поднял их, дразня старуху, как голодную кошку мясом.

Блеск золота словно ослепил Эвшаг. Жадно загоревшиеся глаза ее от волнения часто заморгали, на круглых щеках выступил румянец. Она представила себе, как будет важно ходить на виду у всего села с этими дорогими бусами на шее, вызывая удивление и зависть женщин. А три ее невестки будут заискивать перед ней, стараясь в этом превзойти друг друга, каждая в надежде, что свекровь именно ей подарит их или завещает перед смертью.

Не дав Эвшаг опомниться, староста вложил бусы в ее раскрытую ладонь и, приблизив свое лицо к уху старухи, оглупевшей от неожиданно привалившего счастья, прошептал:

— Вынеси к гостям чистый платок и объяви им... — Гомуил не договорил, полагаясь на сообразительность Эвшаг. Но она недоуменно, с бессмысленной улыбкой смотрела на старосту, крепко сжимая в руках драгоценный подарок.

Когда Гомуил, досадуя на Эвшаг, объяснил, что от нее требовалось, она испуганно вздрогнула, рука ее сама собой разжалась, и бусы, которые старуха мысленно уже надевала на шею, змейкой сползли с раскрытой ладони на пестрый ковер.

— Слушай, Гомуил, — с тревогой прошептала она, — к чему такая ненужная поспешность?! Может, какой-нибудь злой человек завязал энгюл, поэтому...

Все нюгдинцы знали, что если завязать энгюл—узел на платке или бечевке в тот момент, когда жених входит к невесте, то молодые не смогут соединиться, пока он не будет развязан.

Вот об этом и напомнила Эвшаг Гомуилу, но он резко оборвал ее:

— Не учи меня. Делай, как я говорю! Вынесешь чистый платок и объявишь гостям, что яблоко надкушено.

Эвшаг торопливо встала и в испуге вскинула руки, словно защищаясь от него.

— Что ты, что ты Гомуил, опомнись! — попятившись, прерывающимся от волнения голосом произнесла она. — Я стара, одной ногой стою в могиле... Нет, нет не пойду я на такое злодейство. И тебя прошу, бойся бога, не губи невинную девушку—сиротку. Я готова бросить свой платок к твоим ногам, лишь бы ты не сделал этого³⁷.

Эвшаг подняла дрожащую руку, но Гомуил порывисто вскочил и сердито крикнул:

— Не снимай платок! Не хочешь — неволить не буду. — Подойдя к ней и сверля ее ненавидящим взглядом, угрожающе добавил: — Но если ты хоть одним словом обмолвишься о нашем разговоре, то, смотри у меня, не сдобровать ни тебе, ни твоим сыновьям. А теперь убирайся вон!

— Хорошо, милый, хорошо, дорогой, повешу замок себе на рот и буду молчать, — поспешила ответить испуганная старуха.

Когда Эвшаг ушла, Гомуил несколько минут ходил взад вперед, неистово дымя кальяном и мысленно ругая старуху. Пьяные голоса гостей, доносившиеся снаружи, сейчас раздражали его. Староста не заметил, как скипнула дверь и в комнату вошел Илогу. Пьяно улыбаясь, он посмотрел на него.

— Пришел ашуг, поет о любви Лейли и Меджнуна. Здорово поет, чертов сын, такой голос, такой голос...

Гомуил продолжал ходить по комнате, не обращая внимания на чауша. Заметив, что хозяин чем-то сильно озабочен, Илогу с удивлением спросил:

— Что-нибудь случилось?

Гомуил сердито обернулся и хотел отмахнуться от него, но вдруг, точно осененный какой-то мыслью, остановился, на бородатом лице его появилось подобие улыбки. «Дурак я старый, — мысленно выругал он себя. — Связался зря с проклятой старухой!.. Как мне раньше не пришло в голову поручить это дело моему верному чаушу?..» Гомуил так обрадовался, что едва удержался от желания обнять его.

³⁷ Бросить платок к ногам мужчины у татов считается крайним выражением мольбы со стороны женщины. В таких случаях, если мужчина дорожит своей честью, он не должен отказать женщине в ее просьбе.

— Вот что, Илогу, — положил он тяжелую руку на плечо приземистого чауша. — Ты будешь енге для новобрачных.

Гомуил достал из нагрудного кармана своего бешмета вчетверо сложенный чистый новый платок и протянул Илогу. Тот с довольной улыбкой взял его и радостно хихикнул, обнажив редкие острые зубы. Но узнав, чего от него хочет староста, он со страхом и мольбой посмотрел на своего хозяина.

— И ты отказываешься, неблагодарный?! — рассвирепел Гомуил. Он грубо толкнул чауша к двери. — Иди сейчас же к гостям и сделай, как я тебе приказал, слышишь?!

Илогу на какую-то долю минуты задержался у двери, словно надеясь, что староста еще одумается. Но услышал за спиной раздраженный окрик:

— У тебя ноги, что ли, отнялись?! Выйди сейчас же и объяви!..

Илогу, как в тумане, видел веселившихся во дворе гостей, ашуга с сазом в руках...

Несколько минут он в нерешительности стоял, сжимая в опущенной руке платок. Но за дверью, в своей комнате ждал Гомуил... И чауш с видом человека, очертя голову бросающегося в опасный водоворот, взмахнул над головой белым платком и громко крикнул:

— Эй, люди! Смотрите сюда! Вот платок невесты! Эй, люди!..

Если бы сейчас возвестили о том, что на село идет дикая орда и что жизнь каждого из гостей в опасности, наверно, это известие не вызвало бы такого ошеломляющего впечатления и замешательства, как слова Илогу. Люди сначала остолбенели. Потом все сразу засуетились, зебегали, натываясь друг на друга, точно слепые. Оборвалась песня ашуга.

Через несколько минут во дворе не осталось ни души. Гостей будто волной смыло. Тотчас же с крыши дома раби Шафада раздались гулкие звуки ударов и торжествующие крики его дочери:

— Эй, люди! Выходите все на томоше³⁸! У Пери, сестры Сосуна, нет окровавленного платка!..

Она, как ведьма на шабаше, освещенная призрачным светом луны, кружилась на крыше в неистовом плясе, возвещая о позоре соперницы, и размеренные удары

³⁸ Томоше—зрелище.

скалкой о медный таз, которыми она сопровождала свои призывы, слышались во всех концах села.

Гомуил с перекошенным от ярости лицом ворвался в комнату, где находились жених и невеста.

— Шлюха! Бесстыдница! — дико заорал он на ошеломленную девушку. — Вон из моего дома! Посмотри, что происходит в селе!... Все говорят о твоём позоре! Они требуют вывести тебя!..

Жених, сраженный лошадиной дозой снотворного зелья, лежал точно мертвый. Пери, дрожа всем телом, в ужасе подняла глаза на озверевшего старика. Ей показалось, что он сошел с ума. Но не прошло и мунуты, как чьи-то руки схватили ее и с силой выволокли во двор на поругание возбужденной, бурлящей, пьяной толпы.словно из-под земли вырос перед ней черный ишак — символ безграничного позора и несчастья. Те же грубые и безжалостные руки поднимали ее и посадили на него лицом к хвосту. Перед глазами Пери блеснул кинжал, она вскрикнула от боли, когда ей отрезали косу — украшение и гордость девушки.

— Музыканты! — раздался громкий голос Гомуила, в котором прозвучало скрытое торжество. — Сыграйте ей «Обратный марш!», пусть скорее уведут эту дрянь с моих глаз!..

Пери никак не могла понять, что же происходит вокруг, что творится с людьми? Почему Гомуил, который всего лишь час-два тому назад сердечно и радостно обнимал ее, как родную дочь, сейчас — грубо оскорбил, обозвал самыми постыдными словами? Почему народ кричит, улюлюкает, бросает в нее комья грязи?..

Ей все это казалось каким-то кошмарным сном.

— Эй, люди! Все от мала до велика выходите на томоше! Это для Пери, сестры Сосуна, играет «Обратный марш!»! Эй, люди!..

Где она слышала этот голос, где?.. Ах, да! Это же Хонум!.. Но почему ей должны играть «Обратный марш!»! Почему, ведь она невинна?!

Голова Пери все ниже склонялась на грудь. Вдруг перед глазами девушки все поплыло, закружилось, и она, покачнувшись, едва не упала с ишака. Но какие-то люди, пьяно и нагло хохоча, грубо схватили ее, удержали. Один из них несколько раз ударил ее по лицу отрезанной косой.

Какой-то внутренний голос настойчиво твердил ей:

«Зачем ты позволяешь везти себя, как ягненка на заклание? Кричи, кричи на все село, что тебя очернили, оклеветали, клянись—народ поверит! Пусть на твой голос эхом откликнутся леса и овраги, пусть от твоего крика дрогнут земля и небо...» Но язык не повиновался ей, словно прилип к гортани. Где же Эсеф, ее любимый?! Не он ли так клялся ей в любви и верности? Почему же он не идет, не спасает ее от позора, а может, и смерти?!

Мгновенно Пери представила себе, как брат заносит над ней кинжал... Она в ужасе вскрикнула, закрыла лицо руками и, лишившись чувств, упала на землю.

...Сосун сидел в комнате, сразу словно осиротевший после ухода сестры. Его немногочисленные гости, сопровождая невесту, отправились в дом жениха. Ему было радостно, и в то же время очень грустно, в ушах еще звучали прощальные слова сестры:

— Горе мне, брат, как же ты теперь будешь без меня? Кто разделит твое одиночество, приготовит тебе пищу, встретит тебя у порога?

Сосун едва сдерживал слезы. Ему сейчас хотелось прилечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Но, боясь, что незаметно уснет, он встал и начал ходить по комнате. С минуты на минуту должен был появиться енге с вестью о невинности невесты и, как принято в подобных случаях, получить от него подарок.

Вдруг Сосун услышал беспорядочные крики, режущие слух звуки зурны и барабана.

Удивленный, ничего не подозревающий Сосун, вышел во двор, чтобы узнать, что происходит, и у плетеной калитки столкнулся носом к носу со старухой Эвшаг, которая с трудом переводила дух. Увидев Сосуна, она упала перед ним на колени.

— Это твоей сестре играют «Обратный марш!».. Но клянусь богом и памятью своих покойных, твоя сестра не виновата, ее оклеветали!.. — разом выпалила старуха и умоляющим голосом добавила: — Заклинаю тебя, не бери грех на душу, не поднимай на нее руку!..

Сосуна будто обдали кипятком. Глаза его вспыхнули яростью. Он быстро нагнулся, встряхнул ее за плечи.

— Рассказывай скорее, что ты знаешь!..

Эвшаг поднялась и, опасливо озираясь, прерывающимся от волнения голосом, коротко передала свой разговор с Гомуилом.

Эвшаг ушла. Сосун стоял, словно оглушенный громом. А тем временем процессия, сопровождаемая неистовыми криками и пронзительно-визгливой музыкой, медленно приближалась ко двору. Сосун бросился в дом и в ту же минуту выскочил из него с обнаженным кинжалом. Пробираясь пустынными безлюдными закоулками, он подошел к глинобитной ограде, окружавшей дом старосты. Легко перемахнув ее, перебежал опустевший двор, который недавно был полон гостей, где царил веселье, провозглашались тосты за жениха и невесту, звучала песня ашуга.

Подойдя бесшумно к двери комнаты Гомуила, он с силой толкнул ее. Староста сидел и спокойно покуривал кальян. Но когда он увидел разъяренного Сосуна с кинжалом в руке, кровь отхлынула от его лица, кальян выпал изо рта.

Вскочив на ноги, Гомуил прижался спиной к стене, не сводя испуганного взгляда с угрожающе блестевшего кинжала.

— Что тебе надо? — с трудом выговорил он.

— Где твой сын? — заслонив дверь спиной, спросил Сосун, дрожа от гнева.

— Его нет дома, он убежал, не выдержав позора, — запинаясь, ответил Гомуил.

— Ста-а-рый пес!.. Я сейчас с тобой расквитаюсь за все!.. — сверкнув глазами, Сосун пошел на старосту.

Охваченный животным страхом, тот шарахнулся в сторону и с громким криком кинулся в соседнюю комнату.

— Эсе-е-еф!.. завопил он.

Сосун бросился за ним, не давая ему закрыть дверь.

Жених, подобрав колени к животу и положив ладонь под щеку, спал мертвецким сном. Лицо его выражало полное умиротворение и блаженный покой. Он тихо улыбался во сне. Может быть, в эту самую минуту ему снилась Пери?..

Увидев безмятежно спящего жениха, Сосун левой рукой резко схватил его за ворот рубахи и приподнял с постели. Голова Эсефа бессильно повисла, а из стесненной груди вырвался глубокий вздох.

— Он сильно пьян, он без сознания, не трогай его! — взмолился староста, забившись в угол и со страхом глядя на Сосуна.

Тот швырнул Эсефа на смятую постель и взмахнул кинжалом. В тот же миг Гомуил, раскинув руки, с отчаянным криком: «Сы-ы-ын мо-о-ой!»—бросился вперед, прикрыл Эсефа своим телом и тут же, дико взревев, осел на пол, обливаясь кровью...

СТРАННЫЙ РАЗБОЙНИК

 В полукилометре от Нюгди расположено небольшое село Молла-Халил. В нем издавна жили азербайджанцы и лезгины. На окраине села по сей день возвышается старинная армянская церковь, построенная из добротного тесаного камня, с железным куполом, увенчаным большим золоченым крестом. От церкви простирается широкая зеленая поляна, окруженная со всех сторон густым лесом. Возле самого здания—узкий, но глубокий арык, заросший по краям камышом и кустарником. По дну его с тихим журчанием течет прозрачный родниковый ручеек. Чтобы попасть в храм, надо перейти железный мостик с ажурными чугунными перилами. Он, видимо, построен руками тех же неизвестных мастеров, которые возвели церковь с высоким сводчатым потолком и маленькими зарешеченными окнами.

Южнее этих двух соседних сел — Молла-Халил и Нюгди, примерно в двух километрах от них, в районе Семи родников находится большое армянское кладбище. Высеченные на могильных камнях армянские письмена почти стерлись и покрылись ржавым мхом. Местами кладбище заросло дубняком. Деревья, широко раскинув свои густые кроны, охраняют вечный сон погребенных здесь, оберегая их могилы от разрушительного действия зноя, ветров и дождей.

Два раза в год, весной и осенью, кладбище оживает: вокруг старинных могил разрастаются какие-то пышные, ярко-зеленые растения. Наверно, здесь когда-то высаживали цветы, которые потом одичали.

Еще в начале века для многих армян, живших в древнем Дербенте, церковь в Молла-Халиле и кладбище в районе Семи родников были местами паломничества.

Почти ежегодно, обычно весной или в начале лета,

приезжал сюда с женой и двумя детьми набожный армянин Пагос. У стен церкви, на краю поляны, где протекал ручеек, они разбивали шатер; как заезжие цыгане варили пищу на самодельных очагах. Три дня семья Пагоса дневала и ночевала здесь, молилась под гулкими сводами огромной пустой церкви с голыми стенами, посещала армянское кладбище, а затем уезжала обратно в Дербент.

Очень часто любопытные нюгдинские парни приходили сюда послушать молитвы и песни армянских паломников. Мертвые стены храма, эхом повторяя голоса певцов, будто сами обретали голос, казалось, в них обитают невидимые духи. Полная неизбывной тоски и горькой печали, нежной грусти и горячего призыва, гневного протеста и отчаянной мольбы, песня была рождена страдающим человеческим сердцем. Ей становилось тесно под высокими сводами храма, и она, вырываясь из открытых железных дверей, плыла, как волна, над тихой зеленой поляной, застывшим в глубоком молчании лесом, проникала в самую душу человека.

А некоторые молодые нюгдинцы приходили сюда просто поглазеть на красивых армянских девушек, которые в отличие от их односельчанок при виде чужих мужчин не отворачивались, не прятали глаз, а держались непринужденно, смотрели свободно и гордо. Не одно податливое молодое сердце было ранено красотой юных армянских паломниц. Поэтому нередко после их отъезда нюгдинские парни пели нежную и грустную песню о перелетной птице — журавле:

Ты край наш покинул, журавль,
Да будет счастливым твой путь.
О, ты улетел, мой журавль!
И песней тебя не вернуть...

Паломники, как правило, приезжали с собственной провизией, привозили с собой живых баранов, бурдюки с вином, муку, рис, посуду.

Теплым майским днем ехал Пагос в Молла-Халил. Безмятежную тишину нарушал лишь монотонный перестук колес. Легкая зыбь пробегала по еще зеленой пшенице. За пшеничными полями пестрым ковром расстилались сочные луга. Белоснежными облаками выделялись среди деревьев цветущие кусты терна, алычи,

груши и яблони, которыми изобилуют нюгдинские леса. Воздух был напоен ароматом трав и цветов.

Лошадью управлял сам Пагос, тучный человек лет пятидесяти с крупными чертами лица. В одной руке он держал вожжи, в другой—короткий кнут, которым время от времени подгонял смирную и усталую пегую лошадку. По случаю торжественного выезда, Пагос, несмотря на припекавшее солнце, надел черный новый сюртук. На арбе, спиной к нему, сидела жена, худая, смуглая женщина с тонкой шеей и огромными черными глазами. Дочь Пагоса, белолицая, чернобровая девушка лет восемнадцати с длинными черными косами, пристроилась возле матери, прислонившись к туго набитому серому мешку, верхом на котором сидел ее брат, подросток лет шестнадцати, в форме гимназиста. Девушка, хотя и не в первый раз приезжала сюда, глядела на все вокруг зачарованными глазами. В отличие от нее, мальчик держался спокойно, со сдержанным любопытством смотрел по сторонам.

В это же время Сосун одиноко брел по лесу. Под ногами шуршали прошлогодние листья, потрескивали ветки. В правой руке он держал старое двуствольное ружье, на поясе у него висел широкий кинжал в деревянных ножнах без кожуха. Темная черкеска его была изодрана, брюки, затянутые снизу жесткими портянками из грубой бязи, сплошь покрыты заплатами. Вот уже восемь месяцев Сосун скрывался в лесу. В тот страшный день, он думал, что убил Гомуила, сполна отплатил своему кровному обидчику. Но староста выжил. Правда, ходил теперь с искривленной шеей. Одно плечо его было опущено, как крыло раненой хищной птицы, голова поминутно дергалась. Гомуил очень постарел, голова его побелела. Но своего он добился: оклеветав и опозорив Пери, заставил Эседа жениться на нелюбимой Хонум.

Оправившись от тяжелой раны, Гомуил ещё больше приблизил к себе Илогу. Чтобы тот постоянно находился при нем, он отвел ему у себя во дворе однокомнатный саманный домик. Вместо одной дворовой собаки староста завел двух лохматых волкодавов. С наступлением вечера нюгдинцы старались стороной обходить двор старосты, опасаясь его свирепых псов, и нередко с горечью вспоминая известную поговорку: «Собака всегда похожа на своего хозяина».

Окружному начальству в Касумкенте Гомуил расписал происшедшее как злонамеренное покушение на его жизнь за ревностное служение властям. Старосте и его чаушу выдали для самозащиты боевую пятазарядную винтовку и по одному револьверу с солидным запасом патронов. Гомуил теперь никуда не отлучался без Илогу, который, как верный пес, следовал за ним повсюду.

По просьбе старосты окружное начальство раза три снаряжало в Нюгди жандармов, чтобы изловить «разбойника и бунтовщика» батрака Сосуна. Каждый раз, когда в село приезжали «стражи порядка и закона», Гомуил обильно угощал их, обещал солидную сумму за поимку беглеца, они, точно голодные гончие, раздраженные запахом свежего мяса, усердно рыскали повсюду, но безуспешно. Стоило им появиться в селе, как жители через сестру предупреждали Сосуна о грозящей ему опасности, и он успевал надежно укрыться.

Гомуил жаждал мести. К тому же он боялся Сосуна и стремился во что бы то ни стало избавиться от своего врага. Встревоженный безрезультатными поисками, Гомуил все больше проникался страхом за свою жизнь и жизнь единственного сына. Ни преданность Илогу, ни злые псы во дворе, ни ружье, с которым он не расставался даже ночью, ложась спать, — не вносили успокоения в его душу. Он часто видел сны, полные страхов и ужасов.

С невыразимой горечью думал он о безвозвратно уходящих счастливых временах, когда богатые и знатные спокойно наслаждались жизнью. А теперь все рушилось на глазах. Всего два-три месяца назад в столичном городе Петербурге бунтовщики опрокинули, казалось, такой неприступный трон русского царя. Правда, у них, слава богу, внешне пока все по-прежнему: сохранились те же порядки в округе и в городе, да и начальство почти все осталось старое. Но дух непокорности, как зараза, охватывал всю бедноту. Даже здесь, в этой глухой, отрезанной от мира дыре — лесном селении Нюгди, где люди жили, как рыбы в мутной воде, ничего не видя и не понимая, многое изменилось. Взять хотя бы этого каторжника одноглазого Рахмона. Он по-прежнему бедняк из бедняков, однако пользуется большим уважением среди односельчан. Теперь на майдане люди часто собираются вокруг него, жадно слушают его рассказы, а в присутствии старосты неловко замолкают.

В глазах иных односельчан Гомуил чувствовал даже открытую ненависть.

Преступника Рахмо́на считают чуть ли не героем, как будто он совершил подвиг, поджигая его скирды. Его Георгиевский крест и знание русского языка совсем вскружили им головы. До чего дошло: голодранцы настолько обнаглели — самовольно заготавливают дрова в его лесу, а завтра, того и гляди, пустят волов с плугами на его поля.

Гомуил надумал было перебраться с семьей в город, пока все не утрясется, не станет на свое место, а хозяйство оставить на Илогу. Но от этой затеи пришлось отказаться. Он знал, что нюгдинцы без него заключат чауша, съедят его живьем. Да этот трус и сам, если почувствует серьезную угрозу, убежит из села, спасая свою шкуру. Тем более у пройдохи нет в Нюгди никого и ничего, что могло бы его удержать: ни жены, ни детей, ни родственников, ни земли. И потом, переехать в город, хотя бы на время, значило бы наверняка потерять должность старосты, с которой расставаться не хотелось. Он привык к почету и власти, ради того, чтобы сохранить их, готов был на все.

...В первые дни после бегства из родного села Сосун нашел себе приют в доме лезгина Гасана, у которого было много кунаков-друзей среди нюгдинцев. Выбрав ночь потемнее, Гасан проводил беглеца на кутан, расположенный в пойме Григоринчая. Здесь на кутане, среди чабанов, были его сын и два племянника.

Лезгины с уважением относились к человеку, ставшему гачагом³⁹, будь то из-за кровной мести, или из-за ссоры с властями. Поэтому, когда старик Гасан привел Сосуна и попросил их отнестись к нему, как к своему человеку, те охотно приняли его, подарили ему старое ружье и снабдили патронами. Ночевал Сосун вместе с ними в землянке. Лезгины заботились о безопасности своего кунака, считая делом чести оберегать его.

Гомуил подозревал, что чабаны скрывают беглеца, поэтому он не раз к ним посылал своего чауша в надежде выследить Сосуна, обещал им деньги, подарки, если они выдадут его живым или мертвым. Чабаны каждый раз радушно принимали Илогу, словно почетного гостя,

³⁹ Гачаг—беглец, разбойник.

угощали свежим каймаком и сыром, удивленно цокали языком и восхищенно покачивали головами, слушая соблазнительные посулы, какими счастливыми обладателями дорогих пижкешев могли бы они стать, если бы им удалось схватить батрака. Они уверяли, что после таких обещаний во что бы то ни стало выследят его и выдадут властям, конечно, если Гомуил, как мужчина, сдержит свое слово. А Илогу каждый раз, чувствуя неискренность чабанов, возвращался от них безо всякой надежды на успех.

Чтобы не навлечь подозрения на своих покровителей, Сосун последнее время старался не оставаться на кутане, а целыми днями бродил с ружьем по лесам и полям. Он истосковался по дому, друзьям-односельчанам. Иногда, заметив крестьян, работающих в поле где-нибудь вдали от проезжей дороги, он осторожно подходил, отводил в разговоре душу, работал с ними. Время от времени Сосун глубокой ночью пробирался в селение, чтобы навестить одинокую сестру, судьба которой его больше всего беспокоила: иссякал небольшой запас зерна и муки, оставленный дома еще до побега. Единственную корову, которую еще несколько лет назад дал ему староста, тот отобрал обратно. Все эти восемь месяцев Сосун не работал, ни пахал, ни сеял, он с тревогой думал о том, что скоро наступит время, когда сестра совсем останется без куска хлеба. К тому же Илогу требовал, чтобы Пери внесла в казну подушный налог, грозился отобрать у них последние пожитки. А где взять денег?..

Тягостные думы одолевали Сосуна в этот погожий майский день. Не зная, что предпринять, он в раздумье брел по лесу. Вдруг он поднял голову и стал прислушиваться: недалеко раздавался монотонный перестук колес. Через лес проходила дорога, которая вела в его родное село и дальше в Молла-Халил. Сосун сразу насторожился. Боясь, что его могут увидеть, он лег на землю среди кустов, за толстым стволом старой раскидистой чинары, стоявшей в нескольких шагах от дороги: если едут односельчане, то он, остановит их, поздоровается, поговорит, а если чужие, постарается остаться незамеченным, как он обычно делал в таких случаях.

Спустя несколько минут Сосун уловил обрывки разговора, смех. Люди, ехавшие на арбе, говорили на каком-то непонятном ему языке. Забыв об осторожности,

он встал на колени и поверх кустов пристально посмотрел на дорогу. На арбе сидели, беззаботно и весело переговариваясь между собой, празднично одетые армяне. Когда они приблизились к нему на расстояние пяти-шести шагов, Сосун вышел из-за дерева и преградил им дорогу. Направив на Пагоса ружье, он приказал остановиться.

Побледневший старик с силой дернул на себя вожжи. Усталая лошадь сразу стала, мотая головой, словно кланяясь разбойнику. Дочь Пагоса, увидев человека в мохнатой папахе с ружьем, направленным на отца, с длинным кинжалом на поясе, издала пронзительный крик, и закрыв лицо руками, упала головой на грудь оцепеневшей матери. Не растерялся только мальчик. Он проворно запустил руку под мешок, чтобы достать спрятанный там пистолет, но встревоженный отец, догадавшись о его намерении, обернулся и сердито крикнул, угрожающе взмахнув коротким кнутом:

— Вардан, не смей, щенок!..

— Не надо, не надо, сынок, заклинаю тебя всеми святыми! — едва приходя в себя, взмолилась перепуганная мать.

— Что тебе, сынок, от нас, мирных паломников, нужно? — с мягким укором в голосе спросил Пагос, стараясь казаться спокойным.

— Отдай мне твой кошелек! — потребовал Сосун.

— Отдай, папа, отдай! — обратилась к отцу девушка.

— Мальчик, сдвинув такие же черные, как у сестры, брови, с нескрываемой ненавистью смотрел на грабителя.

Пагос, вынув из кармана кошелек, кинул его Сосуну.

— Только дай слово мужчины, — проговорил Пагос, — что ты не причинишь нам никакого зла, когда мы будем возвращаться назад.

Сосун, нагнувшись, быстро поднял кошелек. Не взглянув на содержимое, он поспешно сунул его в карман, затем, подняв глаза к небу громко произнес:

— Клянусь этим светящим нам солнцем, я вас не трону⁴⁰. Езжайте с богом!

Сказав это, Сосун повернулся и зашагал прочь. Он думал, как передать сестре деньги для проклятого чауша.

⁴⁰ У татов клятва солнцем или огнем считается самой сильной.

Через три дня семья Пагоса возвращалась с богомолья. Неожиданно навстречу им из лесу вышел тот же самый человек. Хотя на этот раз ружье висело у него за плечом дулом вниз и он дружелюбно улыбался, Пагос и его семья с опаской смотрели на разбойника, не ожидая ничего хорошего. Вардан не сводил с него настороженного, ненавидящего взгляда, решив, что если грабитель пристанет к ним с новой угрозой, он выпустит в него все пули из пистолета, который теперь держал за пазухой. Сосун делал вид, что не замечает враждебности мальчика. Остальные паломники почувствовали, что он настроен миролюбиво, несколько успокоились. Первым прервал тягостное молчание сам Сосун.

— Добрый день, дядя Пагос! — приветливо, как к доброму знакомому, обратился он, идя рядом с подводой. Но, заметив недоверчивое, напряженное выражение на лицах паломников, добавил: — Не бойтесь, я никакого зла вам не сделаю.

— День добрый, — тяжело вздохнув, с трудом выдавил Пагос, продолжая с опаской коситься на него.

Сосун, опустив голову, некоторое время шел молча, молчали и паломники. Но вот лес кончился, и арба выехала на открытое поле, местами поросшее редким кустарником. Неожиданно из придорожного куста, дергая хвостиком, выскочил заяц. Он на мгновение замер, поводя длинными ушами, затем, прижав их к спине, пустился наутек. Все невольно наблюдали за ним. Сосун сорвал ружье с плеча. Раздался выстрел. Заяц, сделав прыжок, упал и забился. Сосун побежал за добычей. Схватив зайца за задние ноги, он догнал арбу и положил его у ног девушки. Юная армянка легким кивком головы приняла дар, с выражением любопытства и жалости на лице, осторожно провела ладонью по мягкой теплой шкурке зайца. Затем она подняла глаза, в первый раз открыто посмотрела на Сосуна и робко улыбнулась. Эта неожиданная улыбка придала ему смелости.

— Дядя Пагос, ты на меня не обижаешься? — совсем некстати спросил Сосун, шагая позади арбы. И, почувствовав неловкость, хотел еще что-то сказать, но лишь густо покраснел и махнул рукой.

— Что ты, что ты, сынок, — с деланным великодушием поспешил ответить Пагос, боясь каким-нибудь неосторожным словом вызвать вспышку гнева у этого странного грабителя. — У меня в городе собственный

дом, виноградник. А у тебя, наверное, нет ничего. Эти деньги я тебе дал, как пишкеш. Они тебе нужнее, чем мне.

Сосун опустил голову и смущенно улыбнулся.

— Клянусь богом, ты прав, дядя Пагос, иначе стал бы я разве приставать к вам, как разбойник, — смущенно проговорил он.

Наивное признание грабителя показалось Пагосу наглой насмешкой. «Если ты, сукин сын, не бандит, почему же с кинжалом на поясе и с ружьем в руке рыщешь по лесам, из-за угла нападаешь на мирных людей?» — сердито подумал он, посылая в душе тысячи проклятий на его шальную голову.

— Я верю тебе, сынок, верю, — поспешил ответить старик, во избежание худшего и желая поскорее отвязаться от этого опасного человека.

Жена и дети внимательно прислушивались к разговору отца с разбойником, который они вели на азербайджанском языке. И нюгдинцы, и армяне, жившие в Дербенте с азербайджанцами, хорошо знали его. Чувствуя на себе любопытный, но все еще настороженный взгляд девушки, Сосун обернулся к ней, улыбнулся.

— У меня дома есть сестра, такая, как ты. Ее зовут Пери, — с теплотой в голосе произнес он.

— А тебя самого как зовут? — несколько осмелев, спросила девушка.

Сосун молча отвел глаза.

— Ах, прости, тебе же, наверно, нельзя открывать свое имя, — как бы извиняясь, сказала она.

Сосун вспыхнул. Чтобы не выглядеть в глазах девушки трусом, он назвался. Но она почему-то громко рассмеялась. Он еще больше покраснел и сердито нахмурил широкие черные брови, подумав, что юная армянка смеется над ним. Мать, заметив, как изменилось лицо разбойника, забеспокоилась. Она толкнула в плечо совсем некстати развеселившуюся дочь и с беспокойством сказала ей что-то по-армянски.

— Ты не обижайся. Сестра смеется потому, что тебя зовут почти так же, как ее, — вмешался в разговор Вардан, больше для того, чтобы успокоить мать, но уже без прежней откровенной неприязни к разбойнику.

Сосун не поверил. У татов никогда не совпадают имена мужчин и женщин.

Нет, девушка определенно смеялась над ним...

Но она, будто угадав мысли и сомнения Сосуна, сказала:

— Брат говорит правду: меня зовут Сусанна. Как видишь, у нас с тобой похожие имена.

В ответ Сосун лишь удивленно пожал плечами и улыбнулся.

К великой досаде и беспокойству Пагоса нюгдинец продолжал идти за подводой, время от времени настороженно оглядываясь по сторонам и притрагиваясь к ружью. Предупредив на своем языке детей, чтобы не болтали лишнего с бандитом, старик ослабил вожжи и тихо ехал, прислушиваясь к тому, о чем говорили молодые. Лошадь, перестав чувствовать хозяина, свернула в сторону и жадно потянулась к сочной траве, росшей на обочине дороги. Левое заднее колесо арбы зацепилось за придорожный пень. Пагос туго потянул на себя вожжи, пытаясь освободить колесо, но лошадь заупрямилась. Недовольно мотая задранной кверху головой с широко разинутым ртом, она не двигалась с места. Сосун, подойдя, сильным рывком приподнял арбу за задок и осторожно опустил на дорогу.

Семья Пагоса с удивлением посмотрела на раскрасневшегося и добродушно улыбающегося разбойника.

— О-о, какой ты сильный! — с невольным восхищением произнесла девушка, которая совсем перестала бояться и стесняться Сосуна, а потом с упреком и сожалением добавила: — Эх, ты, имея такую силу в руках, не работаешь, а занимаешься разбоем!..

Хотя это было сказано мягко, с улыбкой, лицо Сосуна снова залилось краской стыда. Пагос встревожился: из-за легкомысленной шутки дочери могла случиться новая беда. И он прикрикнул на нее, так чтобы Сосун услышал:

— Сусанна! Как тебе не стыдно? Зачем ты оскорбляешь доброго человека?

— Не ругай ее, дядя Пагос, — сказал Сосун и, горько усмехнувшись, добавил: — Ведь она говорит правду...

На несколько минут воцарилось неловкое молчание. Сосун шел рядом, сосредоточенно глядя на свои запыленные истоптанные чарыки. Потом, подняв голову, он с застенчивой улыбкой посмотрел на девушку.

— Я знаю, вы меня принимаете за разбойника, а я, клянусь небом, не злодей. Но не могу я вернуться домой, в родное село — меня сразу же арестуют, посадят

в тюрьму или сошлют в Сибирь, — тихо промолвил он, как бы оправдываясь перед этой девушкой с открытым добрым лицом.

И словно забыв, что перед ним совершенно чужие, при том обиженные им люди, Сосун стал рассказывать им о себе и своей сестре.

История потрясла паломников.

Брат и сестра слезли с арбы и пошли рядом с Сосун, дружелюбно и сочувственно глядя на своего нового знакомого. Сусанна сняла с открытой шеи маленький золотой медальон на красивой цепочке и торопливо сунула его в грубую заскорузлую ладонь Сосуна, крепко и дружески сжала ее.

— Ты добрый, храбрый брат, — чуть не плача, сказала она. — Я прошу тебя, возьми этот медальон и подари его от меня своей сестре.

Сосун, смутившись, посмотрел на девушку, покачал головой и хотел вернуть медальон, но тут вмешался Вардан.

— Ты знаешь, подарок нельзя возвращать назад, — мягко отстранив его руку, проговорил он.

Сосун, до глубины души тронутый сочувствием этих совсем незнакомых ему людей, вдруг прибавил шаг, догоняя арбу, которая шла впереди. На ходу он вынул из кармана кошелок с деньгами, кинул его на колени Пагосу и, не взглянув ни на кого, быстро свернул с дороги в лес.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Пери, обхватив руками колени, сиротливо сидела у горящего очага. Вечерело. За окном осенние сумерки быстро окутывали землю. Огонь отбрасывал на исхудавшее бледное лицо девушки красноватые отсветы. Они не оживляли, а еще больше подчеркивали болезненную худобу и печальное выражение ее лица. В комнате стояла могильная тишина. Изредка с улицы доносились лай собаки, тоскливое мычание коровы, приглушенные голоса прохожих.

Прошел год с того страшного вечера, когда Гомуил,

оклеветав, отправил ее в дом брата. Часто вспоминался ей пережитый кошмар, вставало перед глазами страшное злобное лицо Гомуила, в ушах звенели его гнусные слова, заново переживала она позор «Обратного марша»...

Безумная тоска и отчаяние охватили Пери, когда она узнала о женитьбе Эсефа на Хонум. Хотя она и понимала, что между ней и Эсефом раз и навсегда все кончено, что они теперь далекие, чужие друг другу люди, это было для нее страшным ударом.

На другой день после того, как Пери оклеветали и разлучили с Эсефом, Хонум, одуревшая от радости, ни от кого не скрывала своего злого торжества. С неутомимостью одержимой, она распускала самые дикие и гнусные слухи о Пери, стараясь еще больше очернить ее перед людьми. Она продолжала мстить поверженной сопернице за пережитые муки ревности, за перенесенные унижения, за пролитые втайне слезы.

Пери не выходила из дому. Она не хотела ни с кем встречаться, особенно с Хонум, грязные сплетни которой неотступно преследовали ее, как ядовитые стрелы. Даже за водой она ходила вечером, когда у родника никого не было, или на рассвете, когда все еще спали.

Пери была уверена, что Хонум — главная виновница ее несчастья. Мысль, что Эсеф так постыдно легко поддался мерзкому обману, женился на Хонум, которую сам презирал и отвергал, терзала ей душу. Вспоминались ей летние прогулки с Эсефом, когда они забирались в кусты терна и он, обнимая ее, клялся ей в вечной любви... Пери верила ему, потому что любила, любила больше жизни, и невыносимо горько было думать теперь, что самый близкий человек обманул, предал, обрек ее на вечный позор и мучение.

Некрасивая, низколобая Хонум, став женой Эсефа, совсем взбесилась. Иногда она, возвращаясь с родника, нарочно задерживалась у калитки Пери, выкрикивала непристойные ругательства, заливалась громким неестественным хохотом, желая вконец известить бывшую соперницу.

Хорошо еще, что после бегства Сосуна из села в доме остались два кенду⁴¹ с мукой. У Пери был еще свой хлеб и она могла куда-то не ходить.

⁴¹ Кенду—глиняный четырехугольный сосуд с открытым верхом.

По вечерам Пери часто навещала тетя Майрам, жена Рахмона и старуха Эвшаг. Они подолгу засиживались у нее, стараясь утешить, подбодрить девушку, рассказывали о Сосуне, когда узнавали что-либо новое о нем от своих сыновей и мужей.

Сегодня перед рассветом Пери, взяв кувшин, пошла к роднику за водой. Было еще темно и холодно, но на небе уже начали бледнеть и гаснуть редкие звезды. В разных концах села бодро перекликались петухи.

Когда Пери вышла за калитку, ей показалось, что какая-то тень метнулась в сторону и скрылась за черным плетеным забором соседа. Она в испуге вздрогнула. Кто это? Сосун? Да нет! Если он иногда тайком приходил домой, то только глубокой ночью, а на рассвете обычно уже торопился в лес. Да разве Сосун не узнал бы, что это не чужой человек, а она, его сестра?.. А кто же это мог быть?.. А может никого и не было, просто ей показалось?..

В сердце закрался страх. Но возвращаться домой с пустым кувшином ей не хотелось, что считалось дурной приметой. Да и в доме не было ни капли воды, а днем она ни за что не решилась бы на виду у всех пойти к источнику.

«Наверно, это Илогу», — подумала Пери. Несколько раз в это же время она видела, как чауш, прячась за углом дома, подкарауливал Сосуна. Девушка с сердцем плюнула в ту сторону, где, как ей показалось, спрятался Илогу, и возмущенно произнесла:

— Тьфу, собака, чтоб тебе провалиться сквозь землю!..

Пройдя по безлюдным улицам сонного села, Пери вышла на окраину, спустилась по узкой извилистой тропе в лощину к источнику. Прозрачная вода, над которой клубился легкий белый пар, тихо струилась из-под высокого обрыва. От родника тянуло зябким холодом. В кустах, прыгая с ветки на ветку, щебетали проснувшиеся птицы.

Наполнив кувшин водой, Пери поставила его на землю и, чтобы поднять продела через ручку веревку. Неожиданно из-за кустов показалась высокая фигура Эсефа. Пери выпустила из рук веревку и повернулась к нему спиной.

— Пери-джан!.. — голос Эсефа осекся, дрогнул.

Сжалось бедное сердце Пери. Когда она услышала бесконечно родной, ласковый голос, на какое-то мгно-

вление ей показалось, будто ничего страшного в ее жизни не было, а если и было, то разве это во сне, в кошмарном сне, который давно позабыт. Просто Эсеф пришел к ней на свидание... Но вновь услышав голос Эсефа, Пери вернулась к действительности. Сердце ее бешено заколотилось. Ее охватила острая ненависть к нему — своему мучителю. Но Эсеф, ничего не замечал, со слезами, спеша и запинаясь, точно торопясь излить душу перед Пери, говорил ей о том, что он любит ее по-прежнему. И с тех пор, как их насильно разлучили, сердце его не знает покоя, глаза отвыкли от сна, он не находит себе места. Поэтому очень часто на рассвете он ходит возле ее дома, чтобы только услышать ее шаги, взглянуть в ее лицо. Вот она сегодня обозвала его собакой, а он был рад слышать ее голос. Пусть бы она ругала его еще и еще!.. За все случившееся Эсеф проклинал отца, говорил, что ненавидит навязанную ему жену.

— Пери, прости меня!.. — сдерживая рыдания, воскликнул он. — Давай убежим в город, куда угодно, лишь бы ты была со мной!..

Девушка чуть повернула голову и исподлобья взглянула на Эсефа, но тотчас же отвела глаза в сторону. Она заметила, что он похудел и осунулся, словно перенес тяжелую болезнь. Его карие глаза, всегда добродушные и веселые, теперь были полны печали и тоски. Ненависть в сердце Пери сменилась жалостью и нежностью, к горлу подкатил комок. Она не могла вымолвить ни слова, боясь, как только заговорит, тут же разрыдается, выдаст себя... А к чему это?.. Все равно ничего не вернешь...

Крепко сжав дрогнувшие губы, Пери быстро вскинула на спину кувшин с водой и, не глядя на Эсефа, молча прошла мимо.

— Пери-джан!.. Неужели в твоем сердце не осталось любви ко мне?! — шагая за ней и протянув вперед руки, как нищий за подаванием, промолвил Эсеф. — Разве ты не видишь, как я страдаю?! Да и ты тоже... Я же не слепой... Заклинаю тебя богом, памятью твоего отца, убежим, убежим отсюда, моя любимая!..

Слова Эсефа терзали сердце Пери. Еще немного, и она не выдержит этой пытки, этой борьбы с собой, сбросит с плеча кувшин и обнимет Эсефа...

Сердце глухо билось в груди, ноги подкашивались, кувшин стал непосильно тяжелым, руки Пери едва

удерживали его. Ускорив шаг, не глядя под ноги, она побежала от любимого, как от смертельной опасности.

— Пери! Пе-ри! Не убегай от меня! — отчаянным голосом кричал вслед Эсеф. — Я сойду с ума, умру без тебя! Слышишь?!

Слова настигали Пери, как пули. От быстрого бега кувшин болтался за спиной, холодная вода выплескивалась из горлышка, заливая спину, но она ничего не чувствовала.

Уставшая, измученная девушка прибежала домой, поставила кувшин у двери и упала ничком на пол, сотрясаясь от рыданий...

Сейчас, сидя у очага, Пери вновь переживала ту встречу с Эсефом. От горестных воспоминаний ее отвлек робкий стук в дверь.

— Кто там? — не вставая с места, спросила она.

— Это я, Хумор! — отозвался тихий голос.

Пери, бесшумно отодвинув засов, открыла дверь и впустила в комнату смуглую круглолицую девушку, которой на вид было лет шестнадцать-семнадцать. Она усадила ее рядом с собой возле очага. Опустившись на пол, покрытый рваным паласом, гостья вынула из-под старенького шерстяного платка небольшой ворох шерсти и веретено, ласково посмотрела на хозяйку. Глаза у нее были черные, живые и глядели приветливо, с доброй усмешкой.

— Да сохранит бог твоего единственного брата! Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь чашку или горшок, — обратилась она к Пери.

Пери встала, сняла с полки темный глиняный горшок, поставила перед Хумор. Та принялась крутить в нем веретено, наматывая на него шерстяную нитку. Однообразное жужжание, точно гул пчелиного роя, раздавалось в тишине комнаты.

— Что нового, Пери? — тихо спросила Хумор, подняв глаза на хозяйку.

— Ничего, — печально ответила Пери, склонив голову набок.

Девушки, глубоко вздохнув, замолчали.

Хумор, вторая дочь Одома, была давно влюблена в Сосуна. Она тяжело переживала горе его сестры, но еще больше страдала от того, что Сосун вынужден скрываться, что его в любое время могут схватить заключить в тюрьму, и тогда она надолго, а может быть,

навсегда, будет лишена радости видеть его. Каждый вечер, ложась спать, она молила бога отвести от Сосуна беды и несчастья.

Хумор не была нареченной Сосуна, поэтому она, стесняясь людей, не решалась бывать у Пери, интересоваться судьбой ее брата. Это могло вызвать пересуды и сплетни, будто она сама навязывается парню. Такие разговоры бросили бы тень на ее доброе имя и на честь родителей. Она хорошо знала, что девушка должна соразмерять каждый свой шаг со строгими правилами и обычаями, чтобы люди не осудили ее. Хумор очень хотелось верить, что она тоже нравится Сосуну и, не случись с ним несчастье, он, быть может, сосватал бы ее, и теперь она была бы уже его женой, хозяйкой в этом доме.

Ей вспомнилось начало мая прошлого года. Она с отцом отправилась тогда на прополку пшеницы. День был ясный, солнечный. Над головой голубело чистое, без единого облачка, небо. Вооружившись большим ножом, Хумор срезала сорняки.

Старик, почувствовав легкий озноб — приближение приступа малярии, пошел к лесу, прилег на траве, укрывшись овчинным тулупом. Занятая работой, Хумор не сразу заметила, что от леса, приветливо и застенчиво улыбаясь, прямо к ней шел Сосун.

— Бог в помощь! — тихо произнес он.

— Спасибо, — со смущенной улыбкой ответила она, несмело поглядывая на парня.

До этого они никогда не разговаривали друг с другом. Хумор знала, что Сосун, несмотря на свою молодость, очень степенен, сдержан, даже суров. Таким его, видно, сделала жизнь, слишком рано возложившая на него заботы и тяготы взрослого мужчины. Хумор не слышала, чтобы Сосун за кем-нибудь ухаживал, хотя многие девушки — она знала об этом — тайно вздыхали по нему.

— Хумор, хочешь я тебе покажу одну вещь? — подойдя к ней близко, с какой-то необычной для него веселой мальчишеской улыбкой спросил Сосун.

— Покажи! — согласилась Хумор.

Сосун отошел к опушке, остановился на краю пшеничного поля и пальцем поманил ее. Когда она подошла, Сосун указал рукой на один из двух зеленых кустов, росших рядом, и предупреждающе приложил па-

лец к губам. Опустившись на четвереньки, он, точно кошка, подстерегающая на крыше воробья, стал осторожно и бесшумно подкрадываться к кусту. Едва Сосун сунул в него руку, как оттуда, шумно хлопая крыльями, выпорхнул фазан с длинным, разноцветным, как радуга, хвостом. Сосун раздвинул ветки и показал Хумор гнездо фазана с крохотными цыплятами. Маленькое гнездо, вырытое в земле и выстланное изнутри мягкой сухой травой, так искусно было скрыто от глаз, что его почти невозможно было заметить.

Взяв одного нежно-желтого, пушистого птенца, и подержав на ладони, Сосун передал его Хумор.

— Я давно заприметил это гнездо, — сказал он с довольным видом, глядя в зарумянившееся лицо девушки, — но ждал, когда выведутся цыплята. Хочу забрать фазана вместе с его выводком. Может быть, удастся приручить. Интересно все-таки. Только фазан никак в руки не дается, — с сожалением заключил он.

Сосун, улыбаясь, взял с раскрытой ладони Хумор пискливого птенца, тревожно перебиравшего тоненькими розовыми лапками, и осторожно положил в гнездо.

Несколько минут они стояли молча, не зная, о чем говорить дальше. Сосун давно искал повод для серьезного разговора с Хумор. А вот сейчас, когда такой случай представился, он не находил нужных слов. Насколько этот сильный, широкоплечий молодой батрак был упорен и расторопен в работе, настолько он был робок и застенчив с девушками.

— Почему ты не навещаешь Пери? — тихо спросил он и покраснел от смущения или, может быть, оттого, что хотел ей сказать совсем другое.

— Мы же с ней не подруги, а приходиться просто так неудобно, — призналась девушка.

А Сосун в замешательстве от ее откровенности только и смог пробормотать:

— Приходи, она будет рада...

Хумор, вспомнив тот памятный для нее день, задумчиво и грустно улыбнулась. Потом, желая сказать что-то хорошее, утешительное Пери, промолвила:

— В семье никто не любит дочь раби Шафада. Даже свекрови она не нравится. А Эсеф, если бы ты видел, стал как чахоточный. Она, подлая, всех сделала несчастными. Один Гомуил доволен ею, и то из-за нее ходит с кривой шеей и трясущейся головой.

Губы Пери тронула едва заметная улыбка. Все это она знала, но от слов Хумор ей как будто стало легче.

— Бог наказывает их за мои страдания, — вздохнув, проговорила она. А потом, немного помолчав, бодро добавила: — Хочешь, завтра пойдем в одно место? — Черные глаза Пери таинственно заблестели.

— Куда? — с любопытством спросила Хумор, продолжая крутить веретено.

— К Сосуну, в лес...

Хумор выпустила из рук веретено и отвела в сторону глаза, стараясь не выдать своего волнения.

— Только надо идти на рассвете, чтобы нас никто не заметил, — предупредила Пери. — Возьмем с собой мешки, как будто идем за шишками и айвой... Я уже приготовила узелок с хлебом и вареными яйцами.

Уговаривать девушку не пришлось. Хотя Хумор и таила от Пери свои чувства к ее брату, но та обо всем догадывалась, видела, как она тоскует по Сосуну. От этого Хумор сделалась ей близким, родным человеком.

Еще не совсем рассеялась предрассветная мгла, когда девушки с пустыми мешками вышли из села на дорогу, ведущую через поля в лес, в сторону Григоринчая. Но не успели они пройти и полверсты, как Пери, оглянувшись назад, заметила низкорослую фигуру Илогу. Тот, видимо, поняв, что обнаружил себя, сразу шарахнулся в сторону и спрятался за придорожными деревьями. Хумор, заметив, что Пери побледнела, с беспокойством спросила:

— Горе мне, на тебе лица нет, что с тобой случилось?

— Проклятый Илогу идет за нами по лямтам, чтобы кишки его сгорели!

Хумор сразу обернулась, но никого не увидела.

— Может, он решил заменить нам в дороге собаку, которую мы забыли взять с собой? — нарочно громко сказала Хумор, чтобы услышал чауш, и засмеялась.

...За последние полгода после свержения царя Гомуил и Илогу дважды ездили с подарками в окружной центр Касумкент, прося помощи для поимки «опасного бунтовщика» и «разбойника» Сосуна. Начальство, как и раньше, охотно принимало подношения, обещало помочь, но жандармов уже не посылало. Для самой окруж-

ной администрации наступили беспокойные времена. Хотя повсюду в Дагестане во главе военных гарнизонов в Ахтынской, Гунибской, Хунзахской и других крепостях, не говоря уже о городах, стояли прежние генералы и офицеры, а у власти—те же князья, беки и богачи, что верой и правдой служили царю, в народе не было ни безропотного повиновения властям, ни страха перед ними.

С каждым днем среди горской бедноты росла популярность большевиков, которые призывали самовольно пахать княжеские и бекские земли, говорили о необходимости отнять собственность и власть у богатых и передать рабочим и крестьянам.

Под самым боком у начальства, в каких-нибудь пятнадцати-двадцати минутах ходьбы от окружного центра Касумкента—в маленьком селении Ашага-Стал—оборванный, неграмотный старик, лезгин по имени Сулейман, обладавший чудесным поэтическим даром, слагал крамольные песни, в которых поносил мулл и знать. У многих они были на устах. Даже в Нюгди, где не все знали лезгинский язык, песни этого ашуга-бунтаря были известны.

Не надеясь теперь на помощь окружного начальства, которому было сейчас не до него—старосты какого-то захудалого, затерявшегося среди глухих лесов татского селения, Гомуил приказал Илогу во что бы то ни стало выследить Сосуна, поймать или убить его.

Чауш был многим обязан своему хозяину и покровителю. В молодости он бежал из своего родного Варташана после участия в каком-то групповом убийстве. Боясь наказания властей и мести родственников убитого, он добрался до глухого селения Нюгди, о существовании которого едва ли подозревали его земляки. Здесь он нашел приют и защиту у нюгдинского старосты. О преступлении пришельца было известно одному Гомуилу. Он не только не выдал беглеца, но и приблизил его к себе, сделал своим чаушем. Илогу хорошо знал, что многие сельчане ненавидят его не меньше, чем самого старосту, он понимал, что связаны они одной веревочкой, и готов был выполнить любое распоряжение своего хозяина, даже если оно было ему не по душе.

Несколько раз ночью, закутавшись в теплую баранью шубу, с револьвером в руке, Илогу подкарауливал Сосуна возле его дома. Но, к его великой досаде, он ни

разу не появился. Сегодня на рассвете Илогу опять устроил засаду. А когда он увидел девушек, вышедших в такую рань из дому, то сразу сообразил, что они идут на свидание с Сосуном. Чауш, спрятав по дороге шубу в кустах, решил неотступно следовать за ними, как волк за отарой, но по неосторожности обнаружил себя.

Девушки, зная, что Илогу следит за ними, решили перехитрить его, поэтому шли медленно и совсем не по той дороге и не в ту сторону, куда собирались. Небо уже совсем прояснилось, восточный край горизонта слегка порозовел. Холодный утренний ветерок шевелил на деревьях листья, тронутые осенней желтизной. Неподалеку уже слышался гул Григоринчая.

— А зачем нам так далеко ходить, — притворно беспечным голосом сказала Хумор, остановившись на дороге у края леса. — Здесь тоже много айвы и шишек.

Девушки вошли в лес и начали обрывать с веток мягкие, с тонкой коричневой кожурой, сладкие, как хурма, шишки и желтые плоды айвы.

В лесу было тихо, сумрачно и прохладно в этот ранний утренний час. Лесную тишину нарушал лишь близкий шум реки. Девушки чутко улавливали каждый шорох, слышали, как под ногами Илогу, украдкой пробирающегося за ними, с треском ломаются сухие ветки.

Налакомившись, наполнив мешки айвой и шишками, Пери и Хумор вышли к берегу реки. По ту сторону Григоринчая тянулся лес, зеленели поляны, освещенные яркими, но не жаркими лучами октябрьского солнца. Река, извиваясь, текла быстро, как будто спешила достигнуть конца своего пути.

Илогу, продолжая наблюдать за девушками, подошел к опушке леса, обрывающегося у берега, и лег на живот, укрывшись за широким стволом дуплистого дуба.

Вдруг Хумор, подбоченясь, произнесла громко, так, чтобы ее услышал чауш:

— Пери, давай искупаемся, все равно нам спешить некуда.

— Да ты что?! — притворившись удивленной и испуганной, воскликнула Пери. — стыдно же — нас могут увидеть.

— Кроме рыб в реке и зверя там, в лесу, нас никто не увидит, — засмеялась Хумор, нарочно поглядывая в ту сторону, где прятался Илогу.

Чауш понял, что девушки хитрят, хотят провести его,

но решил не поддаваться на удочку. Он был уверен, что купаться они не будут, вода в реке в такое время холодная. В душе Илогу злился и в то же время посмеивался над их наивной хитростью. Но когда Хумор подошла к реке, разулась и стала ногой пробовать воду, уверенность его поколебалась. «А вдруг эти сумасбродки и впрямь возьмут да искупаются?!» — подумал он и повеселел.

Несмотря на свои пятьдесят лет, Илогу не имел ни жены, ни детей. За годы жизни в Ньюди он женился много раз, но ни одна женщина не родила ему ребенка. Прожив с женой два-три года, он обычно выгонял ее, обвиняя в том, что она, якобы, бесплодная, и женился на другой.

Мужей, которые били своих жен, в селе не осуждали. Наоборот, если муж не бил жену, не был с ней суров, он считался недостойным звания мужчины. И женщины никогда не жаловались на деспотическое обращение мужей, так как это считалось предосудительным. Но жестокость Илогу по отношению к своим женам не знала границ. Поэтому нюгдинские вдовушки, к которым он сватался, предпочитали оставаться одинокими, влачить полуголодное существование, чем терпеть его издевательства.

Вот уже пять лет Илогу жил один. Он истосковался по женщине. И сейчас, услышав, что девушки собираются купаться, он, словно голодный волк, видящий перед собой овцу с жирным курдюком, в нетерпении ждал, когда же они сбросят одежду.

К большой досаде Илогу, девушки почему-то медлили. Неожиданно лес наполнился шорохами, хрустом и треском. Илогу невольно оглянулся. Прямо на него из леса двигалась отара. Овцы, пощипывая траву, направлялись к реке на водопой. Огромные лохматые псы сопровождали их. Обнажив острые, как у волков, клыки, они с неистовым лаем накинулись на застигнутого врасплох Илогу. Чабанов не было видно поблизости, они шли позади отары. Спасаясь от собак, Илогу быстро вскочил на ноги и, обхватив руками толстый ствол старого дуба, под которым только что лежал, попытался взобраться на него. Но один пес, с очень коротко отрезанными ушами и хвостом, торчащим как кол, успел схватить его за ягодицу. Чауш вскрикнул от боли и страха, сорвался с дерева и грохнулся на землю. На его счастье,

в это время слышался свист и громкие голоса чабанов. Собаки, оставив Илогу, неохотно повернули на зов. Чауш, воспользовавшись этим, сломя голову выскочил из леса на берег. Хромая и прикрывая рукой голый окровавленный зад, пугливо озираясь по сторонам, он под громкий хохот девушек торопливо заковылял в сторону села.

Вскоре той же дорогой вернулись домой Пери и Хумор.

ВСТРЕЧА



Было раннее утро глубокой осени, серое, пасмурное. Временами моросил дождь. Деревья роняли последние листья. Оглашая воздух сердитым карканьем, над ними кружилась стая встревоженных ворон. Оголились и почернели поля. Все вокруг было неуютно, неприятливо и угрюмо. Через мокрый лес по узкой тропинке, засыпанной опавшими желтыми листьями, шел худой мужчина с коротко остриженной темно-каштановой бородкой. Несмотря на то, что вид у него был изможденный, человек шагал бодро и быстро, а светло-карие с прищуром глаза смотрели весело. То был пасынок старосты Шоул. Он шел быстро, жадно всматриваясь в знакомые очертания лесов и полей. Они воскрешали в памяти дорогие сердцу видения детства, мать, односельчан, с которыми он не виделся вот уже более десяти лет, скитаясь по царским тюрьмам и ссылкам.

Шоул, сокращая путь в село, шел через самую глухую часть леса. Левее от тропинки тянулся неглубокий, но широкий овраг, усыпанный опавшими листьями и окруженный высокими деревьями, верхушки которых словно упирались в небо. Первозданная тишина царила здесь. Ее нарушал лишь монотонный шум мутного ручейка, протекавшего по дну оврага. Пахло прелыми листьями, грибами и мокрой землей.

Шоул внезапно остановился, увидев под одним из деревьев большую черную буйволицу со вздутым животом. Упираясь задом в широкий ствол, с налитыми кровью глазами, она пригнула голову к земле, угрожа-

юще выставив вперед могучие острые рога. Вокруг нее, щелкая зубами и опустив пушистые длинные хвосты словно в каком-то замысловатом танце, кружились волк и волчица. Они старались отвлечь ее внимание, чтобы уловив момент, прыгнуть на грудь и вцепиться зубами в горло.

Шоул сразу догадался, что буйволица, чувствуя приближение родов, отбилась от стада, как это часто делают стельные буйволицы, чтобы в укромном месте произвести на свет своего детеныша. Но волкам удалось подстеречь ее, и теперь они готовились к расправе с неповоротливым беззащитным животным. Шоул скрылся за деревом, раздумывая, как помочь попавшей в беду буйволице, и вдруг прозвучал выстрел. Волчица, подпрыгнув, осела на задние лапы, жалобно взывала и завалилась набок. Волк испуганно шарахнулся в сторону и, поджав хвост, быстро скрылся за деревьями.

Буйволица, подняв голову, настороженно огляделась по сторонам. Убедившись, что опасность миновала, она выбралась из оврага и помчалась прочь, подрагивая тяжелым животом.

Через минуту в нескольких шагах от себя Шоул увидел широкоплечего молодого человека в мохнатой папаше и рваной темной черкеске. В правой руке он держал ружье. Из одного ствола еще вился дымок, как из чубука кальяна.

Шоул, несмотря на свою близорукость, узнал в нем того маленького батрака, который работал на его отца Гомуила. Это был первый знакомый человек, встреченный им по дороге в родное село. Шоул с широкой улыбкой протянул ему руку. Но он, остановившись, посмотрел на него отчужденно и подозрительно, показывая, что не намерен вступать в какой-либо разговор.

— Ты разве не Сосун сын Ишмаила? — обескураженный таким приемом, спросил Шоул, щуря близорукие глаза.

Хмурое лицо Сосуна преобразилось и радостно засияло, когда он услышал знакомый голос. Быстро закинув ружье на плечо, он подошел к Шоулу и, обхватив его худые плечи, крепко обнял.

— С приездом, Шоул, с приездом, дорогой! — взволнованно сказал Сосун.

— Спасибо, спасибо, друг. Я тоже рад тебя видеть, — сердечно отозвался Шоул. Потом, окинув его лука-

вым, испытующим взглядом, добавил:—Тебя, брат, не узнать, вон какой стал—прямо богатырь!

— А я тебя не сразу узнал, ты тоже изменился.

— Постарел, скажи, — чуть грустно усмехнулся Шоул.

Сосун слегка смутился.

— Не то чтобы постарел, — уклончиво ответил он. — Ты просто так сильно изменился, что не сразу можно тебя узнать...

— Знаю, знаю, — мягко перебив его, Шоул дружески кивнул. — Но ты, брат, здорово разделался с волчицей — одним выстрелом. Еще бы несколько минут, и конец бедной буйволице.

Сосун скромно улыбнулся.

Шоул дружески взял Сосуна за локоть.

— Ну что, пойдём в село? Я тебе по дороге расскажу такую новость, что подпрыгнешь от радости.

Сосун покачал головой и виновато улыбнулся.

— У тебя что, какое-нибудь неотложное дело?—спросил Шоул и, впервые по-настоящему оглядев его, с недоумением добавил: — Да, послушай, зачем ты так вооружен и почему в эдакую рань бродишь по лесу?

Сосун опустил голову.

— Убежал из села, — после напряженного молчания проговорил он и глубоко вздохнул. — Вот уже целый год скитаюсь по лесам.

— Убежал, говоришь? — удивленно переспросил Шоул. — Зачем, от кого?

Видя колебание Сосуна, он дружески взял его под руку, подвел к стволу старого поваленного грозой дерева. Шоул присел. Сосун, неторопливо сняв с плеча ружье, опустился рядом с ним, положив двустволку между ног. Шоул достал из кармана кисет с табаком и короткую трубку. Набив ее, он протянул кисет Сосуну.

— Ну, рассказывай, как все было,—сказал он, выжидаяще глядя на парня.

— Скрываюсь от старосты, от властей,—с волнением начал Сосун и остановился. Потом, овладев собой, уже почти спокойно рассказал Шоулу обо всем, что произошло с ним и его сестрой.

Выслушав Сосуна, Шоул долго молчал.

— Да-да! Это похоже на моего отчима, — наконец произнес он в задумчивости. Потом ободряюще взглянул на Сосуна: — Теперь тебе незачем хорониться от

Гомуила! Пусть этот негодяй сам трясется перед тобой, как заяц!

Сосун с сожалением покачал головой и невесело усмехнулся. Тогда Шоул, поняв его сомнения, рассказал, что в Петрограде восставшие рабочие и солдаты взяли власть у богачей и теперь по всей стране устанавливаются новые порядки...

— Больше ни Гомуил, ни те, кто его поддерживали, тебе не страшны. Они сами будут бояться нас всех, — горячо, убежденно сказал Шоул так, словно перед ним сейчас стоял не один парень, а множество людей.

— Слушай, Шоул, дорогой мой, неужели это правда?! — дрогнувшим от волнения голосом переспросил Сосун.

— Да, мой друг, да, это — правда, — твердо произнес Шоул.

Сосун резко вскинул ружье вверх и дважды выстрелил в воздух, сопровождая каждый выстрел радостным громким гиканьем, которое многоголосым эхом прокатилось по лесу.

Пока они шли, оживленно разговаривая, погода понемногу стала улучшаться. Сквозь разрывы тяжелых облаков весело брызнули солнечные лучи, мягко осветив все вокруг.

Впервые за весь год Сосун шел в родное село при свете солнца, не таясь от людей.

День был праздничный. Все мужчины находились в нумазе⁴², а женщины, в ожидании возвращения своих мужей, сыновей и отцов, стояли у ворот, громко разговаривая.

Увидев Шоула и Сосуна, они удивленно умолкли, а потом дружной стаей бросились им навстречу, шумно и радостно приветствуя их:

— С приездом, о Шоул! Дай бог, чтобы ты всегда радовал глаза твоей матери!

— Да чтобы тебя миновали беды и болезни, о Сосун!

— Как ты изменился, Шоул?!

Одна из девушек побежала сообщить Гюзюргул о приезде ее сына. Пока Шоул говорил с односельчанами, старуха Эвшаг отвела Сосуна в сторону.

— Коли ты, сынок, замышлял было убить этого старого пса, надю было добивать его до конца, — с укором

⁴² Нумаз—молитвенный дом.

прошептала она ему в ухо. — Он не знает, что это я его выдала. Он думал, что ты согласишься клеветать на сестру, убьешь ее, как того требует намус, и все будет шито-крыто. А я всем по секрету рассказала, как он хотел меня подкупить...

Но вдруг Эвшаг, точно спохватившись и с беспокойством глядя на Сосуна, спросила:

— Тебя что, помиловали?.. А то, не дай бог, староста и чауш, как увидят тебя, арестуют сейчас же...

— Теперь конец Гомуилу и Илогу, тетя Эвшаг. У нас будут свой староста и свой чауш из бедняков! — неслыханным известием ошарашил Сосун старуху.

Вскоре прибежала Гюзюргул, с трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы и волнения. Раскрыв, как крылья руки, бросилась она к Шоулу. Мать долго не отпускала сына, всматриваясь в дорогие черты:

— Сын мой, горе твоей матери, что они с тобой сделали?! Ты совсем на себя не похож...

Шоул целовал сильно постаревшую мать, ласково гладил ее поседевшие волосы.

— Не волнуйся, мама, теперь никто меня в тюрьму не посадит, в Сибирь не отправит.

Глядя на них, смахивали слезы столпившиеся вокруг женщины.

— Хватит плакать. Вместо того чтобы радоваться, ты только расстраиваешь сына! — сказала одна из женщин, вытирая глаза краем платка.

— Легко так говорить, а попробуй-ка сладить с материнским сердцем, — в укор ей ответила другая.

Узнав, что по случаю праздника все мужчины ушли в нумаз, Шоул, крепко-как успокоив мать, вместе с Сосуном направился туда. Нумаз был единственным каменным сооружением в Нюгди. У входа в него над дверью, на развернутом каменном свитке, были высечены десять библейских заповедей.

По низким истертым каменным ступенькам нумаза Шоул и Сосун поднялись на веранду, но внутрь не зашли. Шло богослужение. Престарелый раби Шафад, облаченный в белый длиннополый атласный бешмет, стоял на амвоне и читал нараспев горькие сетования библейского пророка Иеремии, в которых он осуждал человеческие пороки и коварство:

«Берегитесь каждый своего друга и не доверяйтесь

ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правду не говорит, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости».

Дальше раби повторял произнесенные устами пророка слова господа о том, что люди легкомысленны и вероломны, отрекаются от бога и за это «трупы их будут повержены... как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их...»

Голос раби, красивый и сильный, натренированный десятилетиями, звучал внушительно и грозно. Но в нем уже не было прежней бодрости, а главное — проникновенности. Сам Шафад, еще не так давно тонкий, юношески стройный, заметно одряхлел, сгорбился. Длинная широкая борода, колечками спускавшаяся ниже груди, и густые брови стали совершенно белыми, как молочная пена. Живые черные глаза с твердым, пронизательным взглядом потускнели, смотрели беспокойно и рассеянно.

Все молча внимали голосу раби. Ближе всех к амвону сидел староста. Среди убого одетых односельчан он выглядел особенно нарядно. По случаю праздничного дня староста был одет в зеленый шелковый бешмет, перетянутый серебряным поясом, и в галифе из синего сукна. По правую сторону от него с безразличным и скучающим видом сидел его сын, а слева — верный чаш Илогу.

Покончив с пророчествами Иеремии, раби повернулся лицом к джамаату. Он широко простер руки над присутствующими и прочитал короткую молитву — благословение.

Едва раби, а вслед за ним все остальные произнесли «аминь», с места поднялся староста.

— А теперь, почтенный раби, читай благословение господину Керенскому, — обратился он к священнику, подергивая головой. — Раньше священники молились за царя. Теперь мы, к великой скорби нашей, потеряли этого падишаха, но с божьей помощью обрели Керенского. Он мудро правит нами, оберегая нас от большевистских беспорядков и безбожников...

Среди молящихся прошел шум. Шоул тронул Сосуна за плечо, молча указал глазами, чтобы он пока остался здесь, на веранде, а сам вошел в нумаз.

— Не верьте старосте!.. — громко воскликнул он.

Неожиданное появление Шоула, его слова произвели на всех ошеломляющее впечатление. Односельчане разом поднялись, устремив на него взгляды, полные удивления, ожидания и уважения.

— Это ты, Шоул?! — невольно вырвалось у старосты, пораженного неожиданной встречей со своим давно пропавшим пасынком.

— Брат!.. — радостно воскликнул Эсеф, бросаясь к нему.

Но Гомуил, сердито нахмутив брови, схватил сына и резко усадил его рядом с Илогу, который злыми кошачьими глазами неотрывно глядел на пасынка старосты.

Шоул поднялся на амвон, не слишком почтительно отстранив рукой раби Шафада. Тот осуждающе посмотрел на него, но, чувствуя внезапную перемену в настроении прихожан с неожиданным появлением этого смутьяна, отступил, медленно пятясь, спустился с амвона.

Все притихли, собираясь слушать Шоула, который, как говорили, шел против царя и богатеев.

— Односельчане! Я принес вам радостную весть! — громко произнес Шоул, обращаясь к нюгдинцам. — Рабочие в России прогнали Керенского, лишили богачей власти. Рабочие и крестьяне создали свою, новую власть, которая называется Советской властью. И возглавляет ее самый справедливый и мудрый человек на земле, друг и вождь бедняков — Ленин. Отныне вся земля принадлежит не Гомуилу и другим богачам, которые живут за счет чужого труда, а вам, тем, кто своим потом поливает эту землю, своими руками обрабатывает ее...

Раби Шафад, не желая слушать безбожные речи и глубоко оскорбленный тем, с каким интересом слушают их «впавшие в грех и блуд» его прихожане, покинул нумаз.

Как только он ушел, Гомуил, весь красный, сильнее, чем обычно, подергивая парализованной головой, подошел к амвону и крикнул не своим голосом:

— Больше-ви-ик! Харамзаде!⁴³ Убирайся вон!..

В ответ раздались крики, смех. И среди этого хаоса голосов вдруг прогремел выстрел. В открытом окне нумаза, за которым лежал глубокий овраг, а дальше — темнел лес, промелькнула приземистая фигура Илогу. Шоул, прижав ладонь к плечу и побледнев, медленно опустился на пол.

⁴³ Харамзаде — нечестивец.

Несколько человек одновременно бросились к раненому. В нумазе поднялся невообразимый шум, раздались проклятия и угрозы Гомуилу и Илогу. Рахмон с пылающим от гнева лицом кинулся на Гомуила.

— Злодей, убийца!.. — кричал он, толкая его в грудь кулаками.

Гомуил, схватив за руку рвавшегося к брату Эсефа, с силой потащил его к выходу. На минуту задержавшись у дверей, кипя от злости, он повернулся к односельчанам:

— Шакалы! Голодранцы! Я вам все это припомню!..

Но внезапно умолк и побледнел, увидев перед собой, словно выросшую из-под земли, плотную, налитую молодой силой грозную фигуру батрака Сосуна. На мгновение их глаза встретились. Эсеф вырвался из рук отца и, сломя голову, бросился в открытые двери нумаза.

НОЧНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ

Оюзюргул была в отчаянии. Ей казалось, что все беды и несчастья, какие только могут быть на свете, разом обрушились на ее голову. Старший сын, ее первенец, который столько лет томился в царских тюрьмах, голодал в далекой Сибири, теперь лежит раненый. Второй сын Эсеф, добрый и беспомощный, как дитя, опасаясь мести Сосуна и проклиная свою судьбу, убежал неизвестно куда. Где он сейчас, что с ним?.. От одной мысли, что он скитается, как бездомный, сердце ее разрывалось на части. Ее муж, который еще вчера был в селе первым человеком и все кланялись ему, сейчас, как узник, сидит в остроге, куда он сам сажал недоимщиков, скандалистов и конокрадов. Что с ним теперь будет?.. Говорят, большевики злые и беспощадные. Они убивают без разбора всех богачей. Но разве люди виноваты, если сам бог одних сделал богатыми, а других бедными?..

Она никак не могла понять, что же заставило ее сына, не знавшего нужды и тягот жизни, так озлобиться, стать большевиком? Бог свидетель, она никогда не любила Гомуила, не радовалась его богатству, не дорожила его вниманием. После гибели любимого мужа она и не дума-

ла о замужестве, хотела жить одна, посвятив себя будущему ребенку, сохранить до самой смерти верность памяти Юсуфа. Но неистовый Гомуил силой и уговорами вынудил ее выйти за него замуж, да простит его бог в такой тяжкий и скорбный для него час.

И отчим все делал для своего пасынка, как любящий отец для своего родного сына. Не пожалел денег на его учение. А чем отплатил ему ее сын, не будь худо о нем сказано? Вместо благодарности он возненавидел его как врага.

Гюзюргул не одобряла грубости и жестокости мужа по отношению к своим односельчанам. Но Шоулу-то он кроме добра ничего не сделал. За что же тот невзлюбил его?

Гюзюргул, сетуя на свою судьбу, сидела возле постели Шоула в доме Сосуна, куда его перенесли после ранения. Кроме них сейчас здесь никого не было. Шоул был ранен в плечо, но рана была не опасная. Его уложили у стены, возле очага, в котором горели сухие дубовые поленья, распространяя мягкое тепло по всей комнате. Огонь отбрасывал красноватые отблески на бледное лицо больного, на голые глиняные стены. В стенной нише чадила коптилка с колеблющимся язычком пламени.

Шоул лежал, прислонившись к стене, вытянув худые руки поверх одеяла, и молча слушал горькие сетования Гюзюргул. Лицо его заметно осунулось. Большие, как у матери, светло-карие глаза смотрели задумчиво и устало.

Время от времени он бросал на дверь нетерпеливые взгляды, словно поджидая кого-то. Наконец дверь отворилась и на пороге показалась Пери. На шее у нее висел маленький золотой медальон — подарок армянки Сусанны. Она была по-прежнему бледна, но лицо ее озаряла сдержанная радость. Из-под края ее черного платка торчала рукоятка кинжала. Увидев Гюзюргул, девушка смутилась, и, нахмурив тонкие черные брови, остановилась, не решаясь войти в комнату. Шоул, заметив это, приветливо и ободряюще улыбнулся ей.

— Пери, дорогая, входи, не стесняйся! — ласково произнес он.

— Входи, входи, дочка, — повторила старуха, но тут же, переведя настороженный и беспокойный взгляд на

сына, тревожно шепнула ему: — У нее, кажется, под платком спрятан кинжал?

— Не волнуйся, мама, — ласково тронув ее руку, тихо сказал Шоул. — Это я посылая ее за ним к старику Шелбету.

Подойдя к постели больного, девушка вынула из-под платка кинжал с поясом, положила на одеяло и тут же вышла во двор.

Увидев кинжал, Гюзюргул чуть не вскрикнула. Задышавшись от волнения, она наклонилась, дрожащими руками подхватила его. Прижала к груди и замерла, закрыв глаза. По ее щекам текли слезы. Потом она посмотрела на Шоула и прерывающимся голосом сказала:

— Сын мой! Ведь это кинжал и пояс твоего покойного отца. Откуда они?..

Знакомые вещи вдруг вернули ее к далеким дням юности, воскресили в памяти те недолгие счастливые дни, которые она прожила с Юсуфом, напомнили и о той страшной ночи, когда его привезли в селение мертвым с простреленной грудью.

Шоул подался вперед и здоровой рукой нежно обнял мать.

— Мама! — заговорил он. — Я знаю, тебе очень тяжело... И мне тоже. Но я должен сказать тебе всю правду. Только прошу тебя, возьми себя в руки и выслушай меня.

Но Гюзюргул продолжала плакать, прижимая кинжал к глазам, губам, к сердцу, точно обнимая живого Юсуфа, с которым она не знала ни горя, ни слез.

Глядя на мать, сын сам с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. Наконец Гюзюргул, немного успокоившись, твердо посмотрела на сына.

— Скажи, кто убил твоего отца? Я должна знать об этом!..

И Шоул поведал ей все, что ему было известно.

Гюзюргул казалось, что она видит ужасный сон. Ей вдруг стало душно, сердце словно сжимали тисками. Ох, как она хотела, чтобы оно разорвалось на части, чтобы настал конец этим мучениям. Боясь потерять сознание и напугать больного сына, мать с трудом заставила себя подняться, взяла свою шаль и, ничего не видя перед собой, вышла из комнаты.

Шоул не стал ее удерживать, понимая, что она хочет побыть одна.

Как только Гюзюргул ушла, Шоул, поправляя на себе одеяло, случайно нащупал рукой маленькую, сложенную вчетверо бумажку, видимо случайно или намеренно брошенную Пери. Он развернул ее и, приблизив к глазам, начал читать:

«Привет от Эсефа моей любимой Пери. Пери-джан, проклиная судьбу, я решил было бежать, куда глаза глядят, хоть в преисподнюю. Но куда мне бежать, любимая, свет моих очей, если мое сердце не со мной?! Верно говорится: «От трона своего убежал, но от судьбы своей убежать не могу». Ты—моя судьба, жизнь моя! Душа моя рвется к тебе, светлый мир без тебя кажется душной тюрьмой, тесной и темной могилой. Я недалеко, в Молле-Халиле, скрываюсь в доме одного нашего кунака. Пусть даже мир перевернется вверх дном, мне все равно, я хочу только одного: или быть с тобой навеки, или умереть на твоих глазах.

Эсеф.»

Прочитав письмо, Шоул подумал, что надо бы поговорить с Сосуном, пусть не держит сердце на Эсефа, не мешает несчастным влюбленным соединить свои судьбы.

От размышлений его отвлек скрип двери. В комнату вошел радостно возбужденный Рахмон, весело поблескивая единственным глазом. В солдатском мундире, с Георгиевским крестом на груди, он сегодня выглядел особенно нарядным и торжественным. Смуглые щеки его были гладко выбриты, усы с густой проседью молодежески закручены. Он весь светился: вчера односельчане на сходе избрали его председателем сельского Совета. А сегодня все от мала до велика называли Рахмона не иначе, как «Сельсовет Рахмон». Следом вошел Сосун, его заместитель. Он был вооружен с ног до головы: за плечом висел пятизарядный карабин, сбоку — пистолет, на поясе — кинжал. Карабин и пистолет были изъяты у Гомуила. Другой карабин, принадлежавший Илогу, отдали Рахмону.

Спустя минуту, появились члены Совета — старик Шелбет и Офдум Четверть Быка.

— Давайте рассаживайтесь и рассказывайте, что делает новая власть? — весело поглядывая на односельчан, сказал Шоул.

Рахмон и Офдум уселись возле постели, а Шелбет устроился ближе к очагу. Несмотря на то, что был конец осени, он ходил в той же одежде, что и летом: в запла-

танных бязевых шароварах и рубашке. Сосун вышел во двор и вскоре вернулся с большой охапкой дров. Опустившись на корточки, он бросил несколько поленьев в огонь. Дрова сразу вспыхнули, с треском загорелись, легкие искры взметнулись вверх, к зияющему в крыше темному отверстию. В комнате стало светлее и уютнее. Старик Шелбет, растопырив у огня сухие ладони, блаженно улыбался, покачивая головой на тонкой морщинистой шее.

— Сидеть долго не будем, — предупредил Рахмон. — Надо идти в нумаз. Народ уже собирается.

Вынув из кармана несколько помятых листов бумаги, испещренных криво написанными русскими буквами и цифрами, он бережно разгладил их. Затем, заглядывая в свои записи, бодро, точно рапортуя Шоулу, доложил о результатах замера земель, принадлежащих Гомуилу, численности его скота, о разных товарах, конфискованных в его лавке, которые по решению Совета будут распределены в первую очередь среди самых бедных.

Никогда еще в помещении нюгдинского нумаза не собиралось столько людей, сколько в тот вечер. Вместе с мужчинами пришли и женщины, которых раньше вообще не пускали в нумаз. Нюгдинцы, словно забыв, что они находятся в божьем храме, перебрасывались шутками, шумно разговаривали, спорили. К потолку над амвоном была подвешена большая железная лампа, на полу лежало несколько мешков соли и сахара, ящики с мылом, тюки мануфактуры, с десятков ружей и горка ружейных патронов. Все это было взято из кладовых богача Гомуила.

Шоул и члены совета во главе с Рахмоном стояли на амвоне. Рахмон выступил вперед и попросил собравшихся соблюдать тишину. Все сразу умолкли, когда начал говорить Шоул.

— Товарищи! С этого амвона раби Шафад возносил молитвы богу, читал вам сладкие, но пустые и лживые проповеди о вечном блаженстве, которое будто ожидает на том свете того, кто будет безропотно гнуть спину на богачей, отдавать плоды своих рук духовенству, жертвовать своим благом ради их богатства, и грозил вечной карой тем, кто осмелится поступить иначе. С этого амвона наши духовные отцы благословляли кровавых царей и правителей, которые держали народ в крайней ни-

щете, беспросветном рабстве и постоянном страхе...

Негромкий голос Шоула становился все увереннее и тверже, а собравшиеся с напряженным вниманием слушали своего земляка. Он говорил о тех обидах и притеснениях, которые терпели бедняки от богатей и царских чиновников, рассказал о преступлениях своего отчима Гомуила, которые сходили ему с рук, потому что такие же богачи как он, сидящие в окружной администрации, поддерживали его; о первых декретах Советской власти. Свое выступление он закончил под одобрительный гул собравшихся.

Нумаз загудел, как улей, в котором поворошили палкой, когда вышел Рахмон с бумагой в руке и объявил, что сейчас прочтет список, кого из сельчан решено наделить землей за счет конфискованных земель старосты и кто из крайне нуждающихся получит мануфактуру. Рахмону не дали договорить. Раздались нетерпеливые голоса:

— Давай, объяви сперва о земле!..

— Правильно! Покойник хоть три аршина земли имеет, а у меня и того нет!

— Только по-божески, по справедливости! Не так, чтобы одному досталась жирная земля, а другому — чахлая!

Поправляя на ходу сползающую с плеч рваную шубенку, к амвону подошел старик Одом. На минуту все в ожидании притихли. Старик сначала бросил взгляд в сторону разноцветных тюков, а потом повернулся к амвону, где стояли Шоул и представители Советской власти в селе: Рахмон, Сосун, Офдум Четверть Быка и Шелбет. Приподнявшись на цыпочках и взмахнув над головой сжатым кулачком, он прокричал петушиным голосом:

— Я требую, коли теперь наша власть, дать мне не только хорошей земли, но и хорошего ситца, иначе, клянусь небом, может произойти смертоубийство!..

— Что за угроза?!.. — с притворным возмущением сказал Офдум Четверть Быка.

Рахмон выступил вперед и, склонившись над перилами амвона, тоже обратился к старику с шутливым упрямством:

— Если ты такой храбрый, почему не убил Гомуила или Илогу, когда они мучили нас, а теперь грозишь?..

Люди громко засмеялись: у всех было возбужденное, веселое настроение. Старик пропустил все это мимо

ушей, энергично мотнув головой, заговорил:

— Да, не ручаюсь, может произойти смертоубийство... Мочи моей нету дальше терпеть такое. У меня и старуха, и дочери—все раздетые, прикрыться им нечем. Даже за водой они ходят теперь по ночам, когда никого нет на улице. Не могу же я на старости лет втапывать в грязь свою мужскую честь — ходить с кувшином за водой вместо женщины!..

Сосуну больно было это слышать, ведь он уже смотрел на Одома как на своего будущего тестя.

Старик хотел еще что-то сказать, но голос его дрогнул, осекся, на глазах выступили слезы.

— Садись на место, дядя Одом, мы учтем, обязательно учтем твою просьбу, — успокоил его Шоул.

Одом смущенно покрутил опущенной головой, передернул сухонькими плечами и, провожаемый сочувственными улыбками и шутками, направился к своему месту.

Едва Рахмон приступил к чтению решения совета о раздаче земли, мануфактуры безземельным и самым бедным сельчанам, как в помещение нумаза влетел взволнованный и запыхавшийся лезгин Гасан, подпоясанный патронташем, с ружьем за спиной и широким кинжалом на поясе. Худощавое лицо его, обросшее седой клочковатой щетиной, было красно от возбуждения. Все разом умолкли.

— Кунаки! — крикнул Гасан. — Богачи нашего селения и Аглаби собрали вооруженную банду. Они сегодня же ночью хотят напасть на вас, сжечь и разграбить село, отомстить вам за поддержку большевиков. Их ведет сюда ваш односельчанин — чауш Илогу. Не теряйте попусту время!

Грозное известие встревожило всех. Нюгдинцы окружили Гасана и начали наперебой задавать ему вопросы. Некоторые было бросились бежать, но голос Шоула остановил их.

— Товарищи! — громко произнес он, взмахнув над головой гневно сжатым кулаком. — Враги надеются запугать нас, чтобы мы отказались от Советской власти. Они хотят, чтобы все было, как при кровавом царе, хотя посадить вновь на наши шеи Гомуила и ему подобных. Дадим им отпор! Сила и правда за нами!..

Среди наступившего короткого молчания вновь раздался тонкий голосок старика Одома:

— Будь прокляты они, мучители и душегубы!.. — Он решительно сбросил с плеч шубу и вышел вперед, с жаром ударив кулачком в воинственно выпяченную грудь, измученную малярией. — Пусть попробуют сунуться!.. Дайте и мне ружье. Я первым пойду сражаться с ними. Это из-за них, проклятых, у меня все женщины сидят нагишом!..

На этот раз слова старика вызвали не смех, а гул одобрительных возгласов.

Шоул призвал всех соблюдать тишину и от имени Советской власти, всего нюгдинского джамаата выразил Гасану сердечную благодарность за его благородный поступок. Гасан, польщенный словами Шоула, громко произнес в ответ:

— Я приехал не один. Со мной мой сын и два племянника. И мы вместе с вами будем защищать ваше село.

Основная группа нюгдинцев вместе с Гасаном, его сыном и племянниками укрылась в засаде за высокой оградой сада, возвышающейся у дороги при въезде в село, откуда ожидали появления ночных пришельцев. Возглавляли ее Шоул и Рахмон. Остальные, вооруженные чем попало: кинжалами, вилами, топорами и длинными кольями, выдернутыми из заборов, отправились под командой Офдума в противоположную часть селения и перекрыли дорогу, ведущую в Нюгди с южной стороны.

Стояла напряженная тишина. Было темно и холодно. На небе робко мигали звезды. Застыли в немом молчании, словно насторожившись, уже почти оголенные деревья. Даже собаки в селе не тявкали, будто чуя приближение какой-то опасности. Дорога между садовыми изгородями напоминала сейчас темный, бездонный ров. Время тянулось бесконечно долго, руки и ноги сковал холод. Но вдруг чуткий слух сидевших в засаде уловил нестройный конский топот. С возрастающей тревогой вглядывались все в ночную темноту.

— Стрелять будем, когда поравняются с нами, чтобы наверняка, — шепотом передал Шоул по застывшей в ожидании сигнала цепи, сжимая здоровой рукой пистолет, который ему отдал Сосун.

Через несколько минут за поворотом показались черные силуэты всадников. Они двигались не спеша, видимо,

уверенные в том, что никто в Нюгди не знает об их приближении. Едва первые ряды подъехали к засаде, ночную тишину всколыхнули дружные залпы. Вспышки огня разорвали темную завесу ночи, тревожным светом озарили дорогу между садовыми изгородями, злые и растерянные лица бандитов, мотающиеся лошадиные морды. Послышались крики, громкое ржание испуганных лошадей. В селе потревоженные собаки подняли лай, кричали женщины, плакали дети.

Налетчики, застигнутые врасплох, побросав убитых и раненых, открыли беспорядочный огонь, в панике отступили. Но нюгдинцы продолжали оставаться на своих местах, охраняя дорогу в село. После первого успеха они приободрились и, разгоряченные боем, уже не чувствовали ни холода, ни усталости, шумно радовались. Сосуну казалось, что один из всадников, который после его выстрела, вскинув руки, упал с коня, был Илогу. Ему не терпелось перелезть через изгородь на дорогу, посмотреть: есть ли среди убитых ненавистный всем чауш. Но, подчиняясь приказу Шоула, он остался на месте, решив дожидаться утра.

Вдруг над головами сидевших в засаде нюгдинцев пронеслось несколько пуль. Стреляли с тыла. Видимо, бандиты, спешившись, пробрались в сад, у ограды которого нюгдинцы сторожили дорогу. Стрельба усилилась. По сигналу Шоула, обороняющиеся повернули назад, залегли и открыли ответный огонь.

В предрассветном мраке все смешалось и перепуталось. Теперь трудно было разобраться, где свои и где чужие. В разгар схватки Сосун не заметил, как совсем оторвавшись от своих, оказался в окружении нескольких бандитов. Рядом стояло голое ореховое дерево с широким стволом. Вокруг него на застывшей земле густо лежали припорошенные инеем большие желтые листья. Чуть подальше тянулся узкий арык с прозрачной, как в роднике, водой. Над ним клубился парок.

Сосун быстро отполз к дереву и из-за него стал отбиваться от наседавших бандитов. Один, видно, самый нетерпеливый, вскочил на ноги, чтобы броситься на него, но тут же, сраженный пулей Сосуна, упал, с криком выронив ружье из рук. Другой медленно и упорно подползал к нему сзади, все время прижимаясь к земле. Над пожухлой травой изредка мелькала его голова в черной папахе. После очередного меткого выстрела черная па-

паха опустилась на землю и больше не поднималась. Но остальные, держа Сосуна в огненном кольце, продолжали теснить его со всех сторон. Несмотря на предутренний холод, лицо Сосуна жарко пылало, глаза заливал горячий пот. То и дело, отрывая руки от винтовки, он нервно и поспешно вытирал лицо рукавом старой черкески. Бандиты, прячась за кочками и кустами, подползли к нему настолько близко, что он слышал их напряженное сопение. Сосун нажал на спуск — напрасно. Он открыл затвор, судорожно пошарил рукой в карманах брюк и черкески... — патроны были истрачены все до единого. Не дожидаясь, когда враги набросятся на него, Сосун отшвырнул в сторону винтовку и пружинисто вскочил на ноги, поднявшись во весь рост. Едва он выхватил кинжал из ножен, как одновременно прогремели два выстрела. Выронив кинжал и покачнувшись, с приглушенным стоном Сосун упал ничком на подмерзлую землю...

Первое, что он увидел, когда с трудом открыл затуманенные глаза—было торжествующее лицо Илогу, склонившегося над ним с кинжалом в руке. Его маленькие, быстрые, зеленоватые глаза смотрели на Сосуна с ненавистью, ногой он с силой давил ему на грудь. Внутри у раненого все горело, нестерпимо хотелось пить. Он попытался повернуться к арыку, но нога сильнее придавила его к земле.

Откуда же взялся этот рыжий дьявол?.. Сосун думал, что убил негодяя, а оказалось, он жив...

Глаза заволакивал туман, голова бессильно клонилась набок, он чувствовал, что неудержимо проваливается в бездну.

Вдруг Сосун услышал выстрел. Затем кто-то подхватил его на руки и понес. Сквозь тяжелую дрему, которая с каждой минутой все сильнее овладевала им, до него донесся встревоженный голос:

— Сосун, сын мой, очнись! Это я, Рахмон... Послушай, что я тебе скажу...

Потом все звуки сразу отдалились, потонули в обступившей его тишине. В угасающем сознании промелькнула картина из его уж не столь далекого детства. Вот Сосун идет с отцом, обрядившимся гудилом, по тесным улочкам родного села и выкликает осипшим голосом:

— Идет гудил по селу!..

А ребяташки, бегущие за ним, радостно и возбужденно восклицают в ответ:

— Хо-хо!

— Да ответит бог от вас все беды и невзгоды! — продолжает Сосун.

— Хо-хо! — восторженно кричит шумная детвора...

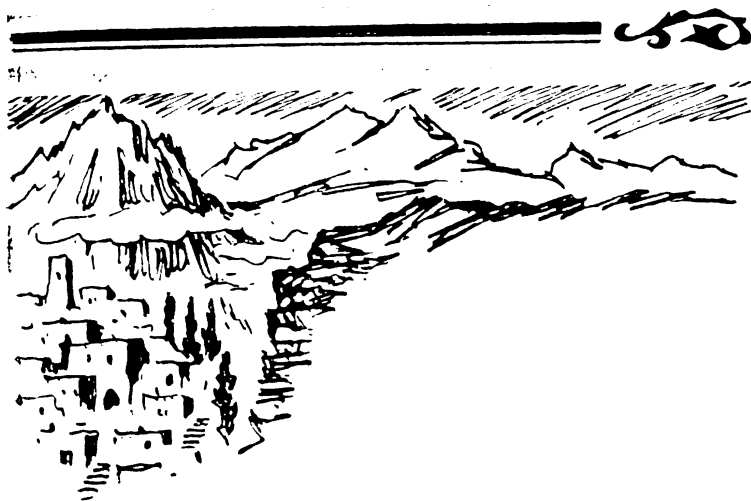
Потом это видение сменяется другим: вместе со своими односельчанами идет он через сельский майдан. Все в новых ярких одеждах. А девушки в разноцветных нарядах, словно деревья в пору цветения. Впервые Сосун видит на худых плечах вечно мерзнущего старика Шелбета теплую шубу. Старик, гордый, довольный обновой, вертя головой, счастливо улыбается, совсем как вчера ночью у очага в его доме. Рядом с ним, наряженный в зеленый шелковый бешмет, какой носил богач Гомуил, шествует маленький старичок Одом со своими дочерьми в красивых платьях. Слева и справа от аксакалов идут Шоул, Рахмон в солдатском мундире с Георгиевским крестом на груди, Офдум Четверть Быка, старуха Эвшаг, лезгин Гасан со своим сыном и племянниками, стройными, как молодые тополя, юношами. Пери и Эсеф, оба бесконечно счастливые, сияющие, шагают рядом. А он сам глядит на сестру и зятя и, сдерживая довольную улыбку, с напускным недовольством косится на них: неприлично так явно обнаруживать свою радость на людях. Откуда-то доносятся веселые звуки зурны и барабана: чувствуется, что сегодня какой-то необыкновенный праздник.

Губы Сосуна расплываются в широкой счастливой улыбке...

Рахмон с болью и отцовской нежностью смотрел на закрытые веки, на посиневшее лицо Сосуна, на плотно сжатый в застывшей улыбке рот, из уголка которого тонкой струйкой сочилась кровь. И чудилось Рахмону, что Сосун улыбается, слушая, как он говорит ему о том, что они наголову разбили бандитов, что он, Рахмон, собственноручно убил негодяя Илогу — подручного Гомуила, и, что такая же участь, справедливое возмездие ждет всех, кто поднимает руку на их свободу.

— Сосун, сын мой, ты меня слышишь?! — громко кричит Рахмон, словно Сосун не лежит сейчас на его онемевших руках, а где-то далеко-далеко.

Но Сосун не отвечается...



Рассказы

«ЖЕНИХ» БАБУШКИ ФАТЬМЫ



Ах, была не была, расскажу вам, что произошло со мной, старухой, недавно. Валах, помрете со смеху. Правда, я клялась, божилась никому не рассказывать об этом, но что делать, шайтан, — да чтоб он сгинул, — так и тянет меня за язык: хоть убей — не могу молчать!

А приключилось со мной вот что. Вчера вечером, когда я выходила из дома, двое дюжих молодцов разом налетели на меня, как коршуны на голубку, быстро завернули в бурку и, от радости не чуя ног под собой, во весь дух умчали куда-то. Но это еще что! Самый главный похититель стоял на коленях передо мной, как перед богиней, объяснял мне в любви, слезно умолял, чтобы я не отвергала его любви, иначе, мол, он как несчастный Меджнун из-за прекрасной Лейли сойдет с ума и белый свет ему будет не мил... Вот как!

Но что вы скажите, если я сообщу по секрету: сама я хотела, чтобы парни меня похитили! Ага-а! У вас, наверно, так и чешется язык: «Ах, ты, мол, дура старая! С ума, что ли, спятила? Или кровь выиграла на старости лет!..» Вы, пожалуйста, не зная, что к чему, заранее не беритесь судить, хорошо я поступила или дурно. Знаете, поговорку: «Не дойдя до речки, штаны не скидывают». А то, что я старая, это мне не в укор, а в честь, недаром свой век прожила. Один мой сын — боевой офицер, день и ночь границу нашу охраняет, другой мой молодец — знатный чабан, его портрет в газетах печатали, а дочь моя,

дай бог ей много сил и здоровья, десятого ребенка носит под сердцем, скоро матерью-героиней станет.

Если хотите знать, в свое время я была собой пригожа не меньше, чем самая красивая молодуха сейчас во всей округе. Дай бог памяти, не помню точно, когда это было, то ли пятьдесят, то ли семьдесят лет назад, к нам в аул приезжал один ашуг, веселый, голосистый такой, как соловей в весеннюю пору. Так он в своей чудесной песне сравнивал мои щеки с румяным яблоком, уста — со сладчайшим медом, а зубы — с аравийским жемчугом. Правда, от этого «жемчуга» у меня теперь остался во рту всего-навсего один только передний зуб. И стоит мне засмеяться, как мой годовалый внучонок тут же поднимает крик, боится, паршивец, думает, я хочу кусить его или нарочно пугаю.

Да, я немного отвлеклась, и уже забыла, с чего начала... Вот вспомнила!... Сижу, значит, я вчера одна у себя в сакле, качаю в люльке внушонка, а сама слегка дремлю. Вдруг слышу: кто-то открыл дверь и тихо вошел в комнату. С трудом открываю глаза, смотрю — это Михаил пришел, соседский парень. Лицо у него очень приметное: чересчур смуглое, скуластое, брови черные, лохматые, и улыбка — до ушей. Я его за версту увижу — и сразу узнаю. Он славный юноша: такой скромный, почтительный и работник хороший.

Михаил остановился посреди комнаты, смотрит на меня и ничего не говорит, только чешет затылок и смущенно улыбается.

«Ну, Михаил, с какими добрыми вестями к нам пожаловал?» — зевая во весь рот, как можно приветливее спрашиваю его.

Михаил подошел поближе и присел на корточки возле меня. «Знаете, бабушка Фатьма, — говорит он мне доверительным тоном, — у меня к вам очень важное дело...»

Я, правду сказать, гляжу на него еще совсем сонная и недоумеваю: какое у него может быть ко мне, старухе, важное дело? Я что ли хаким-начальник какой или этот самый депутат Совета?..

«Ну, говори, что у тебя за дело ко мне,» — неохотно отвечаю ему.

А Михаил прежде чем сказать, внимательно огляделся по сторонам и потом чуть слышно заговорщицки прошептал: «Только, бабушка Фатьма, чур! То, что я

вам скажу сейчас — большая тайна. Ни одна живая душа, кроме нас с вами, не должна знать об этом, обещаете?»

«Эге, думаю, коли он так предупреждает, стало быть, дело и впрямь нешуточное». Я сразу повеселела. Сонливость мою как рукой сняло, любопытство начало разбирать меня. А я ужас какая любопытная. Мой покойный муж, мир его праху, бывало, частенько ругал меня за эту мою слабость. «Тебя, Фатьма, хлебом не корми, — не раз выговаривал мне блаженной памяти мой муж, — только дай волю ходить по аулу и собирать всякие хабары, а потом, подобно сороке, весь день трещать о них без умолку.

«Ну, ладно, не тяни, рассказывай!» — тороплю я Микаила, чуть толкая его в плечо.

Микаил, придвинувшись еще ближе, шепотом говорит мне: «Мы сегодня вечером, бабушка Фатьма, хотим украсть одну девушку...»

Как только я это услышала, кровь бросилась мне в голову. Схватив с пола длинную палку (я всегда держу ее при себе, чтобы можно было не вставая с места прогонять кур и цыплят, которые забираются в саклю), в гневе замахнулась на Микаила. «Сейчас же разобью твою дурацкую башку, харамзаде-негодник! — кричу на него не своим голосом. — Как это так — украсть чужую девушку?!.. Я-то думала, что ты хороший парень, а ты оказывается, вон какой разбойник!..»

Ребенок от моего крика проснулся и так завопил, будто его сто чертей напугали во сне. Да и Микаил, вижу, сам тоже испугался не на шутку. Схватив мою руку, он начал умолять меня: «Бабушка Фатьма, ради бога успокойтесь! Я совсем не то хотел сказать... Послушайте же дальше!..»

Я неохотно положила палку на место и, сердито косясь на Микаила, принялась опять качать ребенка в люльке. «Пес тебя знает, Микаил, — ругаю его. — То говоришь, что хочешь украсть девушку, а как увидел у меня в руках палку, запел совсем другое. Поди разберись!..»

Короче говоря, из слов Микаила я поняла, что у него есть закадычный друг Ильяс. Этого Ильяса-балбеса я тоже знаю. Он так видный из себя парень, но пьяница и бездельник, нигде не работает, сидит у бедной вдовы-матери на шее. Словом, один из тех негодников, о которых говорят: «Вечером пьяница — утром лентяй». Он,

оказывается, по уши влюблен в девушку Рукият. Легкомысленный, а знает, шельма, в кого влюбиться. Она такая стройная, миловидная, притом, знает, самая лучшая доярка на ферме. В прошлом году, говорят, она заработала ни мало ни много шестьсот трудодней! На двух больших машинах привозили ей зерно и разное добро из колхозного амбара. Если верить Михаилу, этот бездельник ей тоже нравится, но выйти за него замуж боится. И правильно делает. Кому нужен муж-пьяница. Кто пьяницу полюбит — свою жизнь загубит.

И вот этот самый Ильяс решил похитить нашу милую Рукият, а Михаила просит, как друга, помочь ему в этом нечистом деле. А Михаил, словно между двух огней: отказывать другу — духу не хватает, позорить девушку — совесть не позволяет. Но самое главное, что Михаил хотел сказать мне (о чем — узнаете потом), он прошептал мне на ухо. Я, не долго думая, молча, с хитрой улыбкой кивнула ему головой в знак моего согласия.

И вот поздно вечером, когда все легли спать, я быстро накинула на голову платок и вышла из дому. Ночь была темная, безлунная.

Когда я очутилась во дворе, где живет прелестная Рукият, кто-то (человек, видно, очень сильный и ловкий) внезапно набросил на меня тяжелую бурку, проворно завернул в нее, как мать младенца в пеленку, и тут же взвалив меня на свои плечи, понесся куда-то со всех ног. Все это произошло так быстро, что я и пикнуть не успела.

«Куда ее теперь?» — слышу я сдавленный голос Михаила. «Забыл, что ли? — строго отвечает Ильяс. — Не-си, как мы условились, в «Пещеру любви», да поскорее, пока нас никто не заметил.»

«Пещера любви», огромная и темная, находится в высокой скале, за версту от нашего аула. Весною и осенью во время перегона овец чабаны укрываются в ней от дождя и гроз. Почему ее называют «Пещерой любви»? Говорят, когда-то один из слуг хана похитил красивую невольницу из его гарема, которую очень любил. Скрываясь от ханского возмездия, они здесь нашли приют для своей любви...

«Ты, пожалуйста, осторожно, — раздается предупреждающий голос Ильяса, когда мы отошли на почтительное расстояние от аула, как я поняла по отдаленному лаю собак. — Ты, случаем, не задушил ее? Я же знаю, ка-

кой ты медведь! Видишь, она даже звука не издает, а тебе хоть бы что!..» «Да ты не волнуйся, Ильяс, — успокаивает его Михаил, который несет меня на своих широких плечах, как купец свой драгоценный клад. — Она, видно, с перепугу лишилась голоса. Пустяки!.. А что касается «Пещеры любви», я туда с закрытыми глазами пройду».

И вот, как только мы оказались в пещере, Михаил, пытая и отдуваясь, осторожно, будто хрупкий сосуд, кладет меня на землю, тихо прислонив спиной к стенке.

«Зажги фонарь!» — слышу я опять нетерпеливый голос Ильяса.

Как только фонарь осветил закопченные дымом чабанских костров стены пещеры, влюбленный Ильяс с жаром кинулся ко мне, упал на колени.

«О, моя дорогая! О, моя ненаглядная! — прижимая обе руки к груди, громко и взволнованно восклицает Ильяс, как все равно в театре. — Прости мне мой дерзкий поступок, я без тебя жить не могу, стань моей женой!..»

Я нарочно подождала, пока Ильяс кончит изливаться душой, а потом разом скинула с себя бурку и с усмешкой устала на него.

«Ладно, разбойник, пусть будет по-твоему, — отвечаю ему. — Если ты и вправду так меня любишь и не можешь без меня жить, так и быть — я согласна выйти за тебя замуж!»

Видю: у Ильяса глаза полезли на лоб и язык отнялся. Он вскочил и стоял точно вкопанный, не в силах даже шелохнуться. «Ах, это вы, бабушка Фатма! — упавшим голосом вымолвил он наконец. А потом вдруг расширепав, кинулся на бедного Михаила: — Кого же ты прихватил, идиот?! Где были твои глаза?!..»

— Вот так штука! — шлепнул себя по вспотевшему лбу Михаил, притворяясь. — Волновался очень, да и темно было... Что теперь будет!..

Ильяс, видя, что дело плохо, хотел было удрать, но я в один миг вскочила с места и удержала его за пестрый галстук, точно непокорного бычка за веревочку. «Я не позволю, — говорю, — со мной шутки шутить! Раз похитил, объяснился мне в любви при живом свидетеле, так изволь жениться. Иначе сейчас иду в сельсовет жаловаться. Тюрьмы и позора тебе не миновать, так и знай!» А Михаил, пряча хитрую улыбку, весело подмигивает

мне: дескать, молодец, бабушка Фатьма, страшай его, вгоняй в пот, выбей у него дурь из головы!..

Я наступаю на Ильяса, а он пятится назад, выставляя вперед руки—боится, негодяй, как бы я не заключила его, «милого женишка», в свои нежные объятия.

«Что вы, что вы, бабушка Фатьма! — с нескрываемым страхом говорит Ильяс, бледнея. — Произошла ошибка...» «А-а! Ошибка?! — с силой дернув его галстук, кричу я. — Выходит, что ты сегодня в темноте подстерегал, как волк овечку, невинную девушку, чтобы похитить ее, а по ошибке сцапал меня, старуху?! Если бы так похитили твою мать или сестру, как бы тебе это понравилось?..»

Я продолжаю задавать ему жару, а Михаил то и дело толкает его в бок и говорит тихо, но так, чтобы я слышала: «Падай сейчас же в ноги бабушке Фатьме, проси прощения, не то — мы пропали!»

Одним словом, кончилась эта история тем, что напуганный до смерти Ильяс опять встал на колени передо мной, на этот раз, чтобы просить у меня прощения. А самое главное — по моему настоянию, он дал мне клятву бросить пить, не быть ярмом на шее бедной матери и работать как все нормальные здоровые люди. А я за это обещала никому о моем похищении не рассказывать и, если он исправится, помочь ему жениться на любимой девушке.

Как видите, первое свое обещание, разрази меня, я нарушила — не удержалась, рассказала вам про свое похищение. Но, клянусь вам, я обязательно выполню свое второе обещание. Дело за Ильясом...

КАК Я ПИСАЛ ДИССЕРТАЦИЮ



Почему бы тебе не написать диссертацию, не стать кандидатом наук? А там, как говорится, бог даст, и доктором будешь, — говорит мне жена ласково.

Мы сидим дома одни за вечерним чаем.

Вопрос жены показался мне настолько странным и неожиданным, что я даже поперхнулся. Поставив стакан на блюдце, я с полным недоумением посмотрел на свою дражайшую половину.

— А с чего это вдруг тебе пришло в голову, что я должен написать диссертацию? — спросил я ее. — Зачем?..

— Как зачем? — теперь уже не ласково, а с упрямymi, раздраженными нотками в голосе произнесла жена, нахмурившись. — А что толку от того, что ты пишешь эти свои смешные хабары? Люди читают, смеются, а мне, скажу тебе, не до смеха, плакать впору.

— Почему?

— Сама знаю — почему! — внезапно ожесточается жена, пускаясь в длинные рассуждения. — С тобой нельзя по-человечески ни посидеть, ни поговорить, ни посмеяться. Вечно сидишь в своем углу, как надутый индюк, и думаешь, думаешь, пока в твоей сумасбродной голове не сложится какой-нибудь хабаришка. А если и разговариваешь, то сам с собой, как помешанный, — дети даже начинают пугаться тебя. Если мы видим улыбку на твоей вечно озабоченной, угрюмой физиономии или слышим твой смех, так только тогда, когда ты пишешь эти свои злосчастные хабары, будь они неладны... Клянусь, житья в этом доме нет!.. — со слезами заключает она.

Между прочим, эту песню я от нее слышу не в первый раз. Но насчет диссертации — это что-то новое. Чтобы она на самом деле не расплакалась (у женщин, сами знаете, глаза на мокром месте), я, как можно мягче, говорю ей:

— А что мне делать, если у меня профессия такая?

— Что делать?! Перемени профессию, стань кандидатом, доктором. Брось проклятую писанину. Она у меня сидит вот тут, в печенке!

Мне очень обидно, что жена, самый, казалось бы, близкий человек, с таким неуважением говорит о моей трудной, но почетной профессии. Мне тоже хочется сказать ей в ответ что-то обидное, колкое, но бросив взгляд на ее перламутровую коробочку на серванте с набором разных склянок, пузыречков, таблеток от нервов, головной боли, давления, бессоницы и прочего, сдерживаю себя, пытаюсь как-то объяснить, что у меня нет никакого призвания к профессии ученого, что написать диссертацию для меня — все равно что иглой вырыть колодец в пустыне.

— Чепуха! — громко и решительно возражает жена, но тут же, понизив голос, добавляет другим тоном: — Конечно, среди тех, кто пишет и защищает диссертации,

много, очень много умных, талантливых людей, дай бог им здоровья. Но, кто не знает, что встречаются и такие, которых не назовешь ни умными, ни талантливыми.

И в подтверждение своих слов она ссылается на какого-то своего дальнего родственника, глупее и бестолковее которого она якобы никого еще не встречала в жизни.

— А вот, поди, защитил кандидатскую, — с завистью и обидой говорит она. — Глядишь, скоро и доктором станет. А ты, что, хуже его?

Не скажу, чтобы жена убедила меня, но я тем не менее призадумался: с одной стороны, мне до смерти надоели вечные сетования жены по поводу моей профессии, а с другой, — я поневоле вспомнил с грустью, сколько боли и огорчений доставляют мне порой мои «смешные рассказы»... Некоторые люди в моих героях узнают себя и при встрече косятся на меня, как бык на красный лоскут, а иные даже открыто бранятся. Сталкивался я и с такими, которые ничего не смыслили в том, что скрывается за той или иной моей шуткой, а принимались толковать мои рассказы вкривь и вкось.

Пораскинув умом, я решил, правда, без особого энтузиазма, последовать совету жены. Но передо мной тут же встал вопрос: какую тему избрать для своей диссертации, какую область научной мысли так сказать обогатить мне своим вкладом? Я долго думал, но напрасно. Какую бы тему я себе ни называл—тут же отвергал, чувствуя, что она не по зубам мне, не осилю.

— А скажи, пожалуйста, на чем защитил кандидатскую твой этот самый, как ты говоришь, бестолковый родственник? — озадаченно спрашиваю я жену.

— На каких-то насекомых, — с готовностью отвечает жена и улыбается, видимо, решив, что благодаря ее настоянию, я, хотя и, поздноовато, но все-таки наконец надумал взяться за ум, то есть за диссертацию.

Должен сказать, что, услышав ответ жены, я почувствовал облегчение, можно сказать, почти обрадовался. Что-что, а уж насекомых, слава богу, я хорошо знаю. Мое детство и юность прошли в глухом селении. Наш дом всегда кишел блохами, клопами, тараканами, мухами и множеством всяких шевелящихся и копошащихся существ. Помню, однажды наш сосед, поздоровавшись с моим отцом возле нашего дома, спросил его:

— Ай Довуд! Как живешь-можешь?

— Валлах, сосед, живу хлопотливо и блоховато, — с грустной усмешкой ответил мой отец, в этот самый момент прихлопнув на своем черном от загара, заросшем затылке блоху, неосмотрительно выползшую из его-шубы.

И вот я тоже, как и родственник моей жены, решил написать о насекомых, точнее, об одном из самых распространенных видов насекомых — комнатной мухе. Но когда я стал интересоваться нужной мне литературой, то оказалось, что о жизни, строении, биологии, вреде комнатной мухи написано немало трудов и среди них довольно солидных. Прочитав их, я даже изумился: у иного черствого человека и не угадаешь, где там сердце или душа, а ученые, оказывается, точно определили, что у малюсенькой ничтожной мушки сердце на месте и нервная система в полном порядке.

Но наличие богатой и разнообразной литературы о мухе не обескуражило меня и не поколебало мою решимость писать о ней. Наоборот. Наука, как и Вселенная, не имеет границ. Я избрал себе тему, никем не исследованную: «Отличие характера городской мухи от сельской и главная истребительная мера борьбы с той и другой».

Чтобы придать больший вес и значительность моей работе в глазах будущих оппонентов, я во введении, ссылаясь на авторитеты, не преминул указать, какую большую опасность представляет комнатная муха, будь она городская или сельская, для жизни и здоровья граждан. И что, поскольку она — один из основных переносчиков возбудителей многих заразных болезней (я насчитал их более сорока) и распространена во всех обитаемых районах земного шара, любая новая работа о домашней мухе и средствах борьбы с ней, в том числе и моя, само собой разумеется, является ценной и полезной для науки, а стало быть, и для всего человечества.

Перейдя к изложению одного из основных вопросов моей темы «Отличие характера городской, комнатной мухи от сельской», я напомнил, что хотя по своему строению, образу жизни, биологическим признакам городская муха ничем не отличается от сельской, но в их характерах все-таки наблюдается известное различие. Городская муха более шустрая, подвижная, импульсивная, впечатлительная. У нее быстрая реакция, она более назойлива,

если не сказать — нахальна. Когда гонишь ее через дверь, она опять тут как тут, без всякого стеснения влетает через окно. Пытаешься прогнать ее в окно, она липнет к стеклу и бежит по нему с виртуозностью канатоходца, будто знает, окаянная, что как из-за блохи шубу не сжигают, так из-за мухи ни один человек, будь он даже круглый идиот, не станет бить стекла в окнах, тем более сейчас, когда спрос на него очень высок.

Сельская же муха обладает более спокойным нравом. Она сонлива, малоподвижна, склонна к меланхолии, созерцанию, не так надоедлива.

Я на обширном материале показал, что отличие характера городской мухи от сельской обусловлено социально-экономическими факторами, вернее, существенной разницей между обстановкой и условиями городской и сельской жизни.

Наличие шума, постоянные сигнальные гудки, оглушительные sireны красных пожарных машин, раздражающая трескотня бесчисленных мотоциклов, всевозрастающая интенсивность транспортного движения, многоэтажные жилые дома, задымленная атмосфера и, конечно, нехватка легкого «подножного корма» — все это накладывает определенный отпечаток на характер и поведение городской мухи. В то время, как чистый деревенский воздух, покой и тишина, обилие разнообразной пищи и т. д. делают сельскую муху более спокойной и уравновешенной.

Но главным достоинством диссертации и своей несомненной заслугой перед отечественной и мировой наукой я считал то, что первым среди ученых указал на возможность использования бесчисленных воробьиных стай как самого мощного и эффективного в перспективе средства полного уничтожения этого древнего врага — домашней мухи, хотя и не отрицал некоторых достоинств ныне применяемых профилактических и истребительных мер борьбы с ней.

Почему я остановил свой выбор именно на воробье, а, допустим, не на ласточке, соловье или чижики, несмотря на то, что все они принадлежат к семейству воробьиных, то есть произошли, как надо полагать, от одного «праотца» и одной «праматери», как и все человеческие расы на нашей «грешной земле» от библейских Адама и его левоверной жены Евы? Дело в том, что в отличие от этих птиц, которые едва почуяв запах холо-

да, сломя голову удирают в жаркие страны, а возвращаются лишь в разгар весны, воробей — птица оседлая. Но от него человеку больше вреда, нежели пользы, он наносит огромный ущерб садам и посевам. Ежегодно в ненасытных воробьиных зобах исчезают сотни тысяч тонн зерна, содержащегося на токах, элеваторах и зерноскладах. В качестве конкретного и убедительного примера (то есть, как принято говорить в диссертации — полевого материала) я сослался на известный мне прискорбный случай. Один из колхозных зерноскладов после уборки урожая до самой крыши был засыпан первосортной пшеницей. Спустя три месяца пришли на склад члены ревизионной комиссии, чтобы проверить наличие зерна в нем и как оно хранится. И что же вы думаете? Только колхозные ревизоры заглянули внутрь склада, они тут же ахнули. Им, конечно, было отчего ахнуть. Дело в том, что за все это время со склада по колхозной разнорядке не было отпущено ни одного килограмма зерна, но его, как ни странно, осталось меньше половины. Видя крайнее изумление ревизоров, завскладом, недолго думая, проворно засунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Тотчас же испуганная стайка воробьев дружно поднялась с груды зерна и поспешно скрылась между пыльными балками потолка.

— Видите!? — обрадованно воскликнул завсклад, указывая рукой на воробьиную стаю. — Все они, они сожрали, распроклятые!..

После того, как расстроенные и удивленные ревизоры, словно на поминках, молча, без застольных тостов, не чокаясь, распили вместе с завскладом несколько бутылок вина и основательно закусили, они составили акт, в котором указали, что причиной обнаруженной ими при ревизии недостачи зерна являются, порази их чума, воробы!..

Подтвердив таким образом, на живом факте, сколь вреден воробей для наших хлебных запасов, я в своем научном труде выдвинул блестящую идею: заставить воробья переключиться со злаков и ягод на мух, будь они городские или сельские, и, как говорится, убить сразу одним выстрелом двух зайцев.

Я не только подал идею, но и подсказал, как ее следует воплотить в жизнь: предложил произвести скрещивание ласточки с воробьем, основываясь на том, что ласточка, в отличие от воробья, питается насекомыми, и

главным образом — мухой. Она развивает скорость до ста двадцати километров в час и обладает большой маневренностью. Я рекомендовал путем неоднократных скрещиваний и всевозможных экспериментов эти полезные для нас качества ласточки передать воробью и, таким образом, вывести новую породу — гибрид ласточки и воробья («ластовороб» или «воробласт»), занимающуюся исключительно вылавливанием и истреблением мух...

Пока я писал диссертацию, жена была очень внимательна ко мне, как в первые счастливые годы нашей супружеской жизни. Ходила осторожно, на цыпочках, кашляла в кулак. Если кто-нибудь из детей начинал шуметь, озорничать, она тут же одергивала его и грозно покрикивала: — Тише, дети! Папа пишет диссертацию!

Когда я закончил свой труд, я, понятно, первым делом прочитал его жене. Она осталась очень довольна. Не откладывая дела в долгий ящик, я на следующий же день отправил свою диссертацию на кафедру биологии в один из крупных университетов страны... Но вот беда: до сих пор оттуда ни духу, ни слуху, хотя с того времени прошел целый год. Знаете, всякое приходит в голову и я, понятно, очень волнуюсь. Но моя жена, в отличие от меня, спокойна, не теряет надежды. Она все ссылается на своего глупого и бестолкового родственника.

ШАЙТАН

В основу рассказа положено действительное происшествие. Автор изменил лишь некоторые детали и имена лиц, причастных к нему.



С полуночи и до самого рассвета непрерывно лил дождь как из ведра, яростно гремел гром, то и дело вспыхивали молнии. Никто в ауле не выходил после полуночи из дома, несмотря на это, на следующее же утро все жители, едва продрав глаза, уже знали о том, что случилось ночью на окраине их аула, недалеко от старой мельницы. И не где-нибудь, а на узеньком шатком деревянном мостике, перекинутом через глубокий, как

пропасть, глухой овраг, где и двум встречным негде разминуться.

А случилось вот что. Молодой пастух Тагир, здоровый, улыбочивый, благодушный юноша, ночью столкнувшись со своим дядей, сторожем колхозной птицефермы Якубом на этом самом мостике, принял его... За кого бы вы думали? За шайтана.

Но почему в такое время ночи, да еще в грозу и ливень, дядя и племянник очутились на мосту и что им там надо было, и как могло случиться, что, оказавшись носом к носу, родной племянник не только не узнал своего дядюшку, а принял его за самого шайтана — этого пока еще никто не знал да и не мог себе представить что-нибудь подобное. Поэтому каждый то всерьез, то в шутку судил, гадал по-своему. Лишь вечером после работы, когда мужчины по обыкновению собираются на досуге на очаре поговорить, похабарничать, им уже были известны все подробности этой трагикомической истории, ставшей вскоре достоянием всей округи.

Но как это ни странно на первый взгляд, из того, что рассказывали аульчане об этом удивительном происшествии, нетрудно было понять: в том, что молодой пастух напал на своего дядю, одубасил его, приняв за шайтана, виноват, оказывается, сам же пострадавший... И вот как это произошло.

Тагир только что пригнал стадо в аул. Взвалив два мешка зерна на спину осла, которое мать еще накануне старательно провевяла и высушила на крыше своей сакли, он уже собирался было отправиться на мельницу, когда, сильно прихрамывая на левую ногу, вошел к ним во двор дядя Якуб, высокий, сравнительно еще молодой мужчина, но с большой ухоженной благообразной бородой. По его озабоченному виду, по тому, как он хмурил широкие, кустистые брови, бросал вокруг нетерпеливые сердитые взгляды, сильнее обычного стучал концом суковатой палки о землю, точно желая проткнуть ее, юноша сразу понял, что дядя чем-то расстроен и взволнован. Но спросить об этом не решился.

Якуб прошел в угол двора, где у плетеного забора лежал толстый чурбан, тяжело, со вздохом опустился на него. Держа палку между колен, он несколько минут хранил суровое молчание. Нервно теребя пальцами кончик пышной бороды, он глядел куда-то в сторону, нарочно не замечая сейчас ни племянника, веж-

ливо и покорно стоявшего перед ним, ни его осла, томившегося под тяжестью набитых мешков. Наконец дядя, устремив на юношу взгляд, полный гнева и упрека, заговорил вдруг громко и запальчиво:

— До каких пор ты, харамзаде-негодник, будешь на потеху разных зевак петь эту дурацкую песню!?. Будь жив твой покойный отец, он голову бы тебе оттяпал за это. Но пристало тебе петь эту песню — дед твой, мир его праху, сам был муэдзином!..

Только сейчас юноша понял, почему дядя в таком скверном расположении духа. Он сразу вспомнил свое вчерашнее выступление в колхозном клубе на торжественном вечере по случаю возвращения чабанов с колхозными отарами с зимних пастбищ в родные горы, на альпийские пастбища. Это событие всегда отмечалось у них в ауле как большой праздник. Тагир на этом вечере пел известную народную шуточную песню «О муэдзине и молодой вдове». Песня рассказывала о том, как однажды муэдзин, взобравшись на минарет, чтобы прокричать азан¹, увидел во дворе, примыкавшем к минарету, молодую, красивую, белолицую женщину-вдовушку. Та, опустившись на корточки, высоко подобрав подол цветастого платья, в это время доила корову. Наш муэдзин, несмотря на свои почтенные годы, сохранивший еще в сердце любовный жар, решил объясниться вдове в любви и назначить ей свидание. Но, чтобы люди, слушающие его, не узнали об этом, он в конце каждого предложения, обращенного к ней, которое произносил на протяжный и печальный мотив азана, искусно вплетал два-три слова из самого азана.

Сообразительная вдова в свою очередь, чтобы соседи во дворе не догадались, с кем и о чем она говорит, принялась громко петь популярную песенку «О коро-вушке», которую нередко поют здесь женщины во время дойки, а на самом деле отвечала на любовные излияния своего поклонника, кричавшего азан с минарета.

Тагир, который состоял членом художественной самодеятельности при колхозном клубе и обладал приятным голосом, не первый раз исполнял эту песню перед аульчанами. И каждый раз он с удовольствием замечал, что она нравится им. Ни один концерт у них не проходил

¹ Призыв к молитве.

без этой песни, которая, можно сказать, была его коронным номером. Если она почему-то не оказывалась в репертуаре очередного концерта, то публика с места требовательно кричала: «Муэдзина и вдову!», «Муэдзина и вдову!», а самого исполнителя ее под веселый дружный смех и горячие аплодисменты вызывали «на бис!» И каждый раз во время исполнения этой песни, особенно когда зрители шумно выражали свое одобрение, Тагир, довольный и сияющий, искал глазами среди них свою любимую девушку, искусную ковровщицу и стройную, как тополе, черноглазую Гюлназ, которая не меньше, чем он, радовалась его успеху.

Но молодому пастуху было невдомек, что песня эта кое-кому не по душе. Как любой матери, которой и в голову не придет, что ее любимый ребенок может кому-то не нравиться, так и юноша-певец не мог представить себе, что из-за этой песни в ауле кое-кто его недолюбливает. Поэтому за веселыми, ободряющими улыбками он не замечал хмурых, недовольных лиц некоторых аульчан, вроде его родного дяди.

— Это шайтан соблазняет тебя, толкая на грех, чтобы ты пел эту пошлую песню! — продолжал рвать и метать дядя. — Да будет тебе известно, олуху несчастному, все беды и заблуждения человеческие от него, проклятого!..

Дядя на минуту замолчал, сокрушенно качая головой, а потом принялся, но уже не так громко и запальчиво наставлять и грозить молодому пастуху: если он, поддавшись греховному соблазну, и впредь будет петь эту песню, бросающую тень на божьих слуг, то всевышний, разгневавшись на насмешника и греховодника, сурово накажет его. Он в одну из грозовых ночей подойдет к нему шайтана и тот искалечит и изуродует его так, что и родная мать не узнает своего сыночка.

Свою речь дядя заключил протяжным вздохом, похожим на стенание, как бы выражая этим, как он соболезнует и скорбит душой по поводу заблуждений племянника и остро переживает печальную участь, ожидающую его.

Тагир, низко опустив голову, молча слушал внушение и угрозы Якуба со смешанным чувством: ему, вчерашнему десятикласснику, комсомольцу было и смешно и грустно слышать от дяди про шайтана, а главное — как он пытается уstrasшить его им. А Якубу вдруг показав-

лось, что племянник молчит, потупив взор, потому что ему, Якубу, слава богу, удалось наставить и вразумить его... Думая так, он почти успокоился и даже повеселел, с трудом пряча в бороду упрямо прорывающуюся на губах горделивую, самодовольную улыбку. Даже тогда, когда молодой пастух, сдерживая застенчивую улыбку, показал на свои большие, сильные руки и шуточно сказал ему, что он сам, как увидит шайтана, первым бросится на него и задаст ему такую трепку, чтобы тому не повадно было нападать ночью на мирного человека, точно разбойник с большой дороги, дядя несколько не рассердился. Он в ответ, лишь чуть усмехнувшись, тихим, отечески-наставительным тоном заметил:

— Надобно знать тебе, сынок: шайтан, да чтоб он сгинул, существо не только злое, но и коварное. Чтобы обмануть, усыпить тебя, он может явиться к тебе в обличье кого-нибудь из твоих знакомых или близких, ну, хотя бы в моем. И ты не успеешь опомниться, а он, глядь, тебе того... То-то, сынок.

Только тогда, когда юноша, которому, видно, надоели дядины рассказы и его нелепые угрозы, сказал твердо и решительно о том, что не верит в существование шайтана и всякой чертовщины, пел и будет петь эту песню, которая нравится его аульчанам, Якуб побагровев, точно ужаленный, вскочил с места и яростно стуча палкой перед собой, произнес грозным тоном:

— Ах, так?! Тогда вот что: я обещал твоей матери пойти с ней сватать дочь моего соседа бригадира Агалара. Она тебе нравится, я знаю. Но я теперь ни за что этого не сделаю. Больше того, я постараюсь, чтобы ее родители и слышать не захотели о твоём сватовстве. Так тебе, впрочем, и надо, нечистив...

Якуб вдруг от чрезмерного волнения и злости перхнулся, прервав свою речь на полуслове. Осел, стоявший позади Тагира, то и дело перебирая усталыми ногами, точно воспользовавшись наступившей паузой, глядя в сторону давившегося от приступа нервного кашля Якуба, заорал неожиданно громким, дурным протестующим голосом, словно желая сказать ему: «Хватит тебе шуметь тут и стучать палкой, как ретивый конь копытом! Совесть есть у тебя?!.. Разве не видишь, как я долго стою по твоей милости под тяжелой поклажей? Да и хозяину моему неприятен твой разговор!..»

И действительно, последние слова дяди подействовали на молодого пастуха так, будто кто ударил его обухом по голове. Он даже переменялся в лице. Но ничего не сказав в ответ, юноша демонстративно повернулся к нему спиной, подтолкнул рукой осла, поспешил на мельницу, тем более неожиданно поднялся ветер, а над темной грядой высоких гор, окружавших их аул, начали собираться огромные черные, как сажа, грозовые тучи, предвещая непогоду.

...Время было за полночь, а Тагир, задумчивый и печальный, сидел один на мельнице у потухшего очага, глядя перед собой невидящими глазами, думая свои думы. В уютном, закопченном помещении старой мельницы, напоминавшем грубое нехитрое жилище древнего человека, легким белым облачком висела в воздухе нагретая мучная пыль, от которой першило в горле. В ушах стоял однообразный шум воды, стремительно падавшей по вертикальному желобу на деревянные лопасти мельничного колеса, грохот вращающихся тяжелых каменных жерновов и частый монотонный стук дагда². Мысли одна беспокойнее другой будоражили душу, вызывая тревогу. Он подозревал, что дядя, прежде чем сегодня прийти к нему со своими наставлениями и угрозами, наверное, побывал в доме отца Гюлназ и наговорил о нем бог знает что. Иначе чем объяснить то, что ее родители неожиданно отправили свою дочь в другой аул, скрыв от него ее отъезд. Уже больше недели нет ее в ауле. Вчера, когда он пел в клубе, все время искал глазами Гюлназ, каждую минуту с волнением ждал, думал: вот-вот она появится. А она никогда не пропускала ни одного выступления художественной самодеятельности с его, Тагира, участием.

Теперь между загадочным отъездом любимой девушки и угрозами дяди встревоженное воображение юноши усматривало определенную связь: наверно, родители нарочно отправили свою дочь в другой аул и, надо думать, надолго, против ее воли, чтобы он не смог видаться с ней.

Из этих тягостных раздумий вывели молодого пастуха оглушительные раскаты грома и шелест внезапно обру-

² Специальная палочка, которая регулирует подачу зерна из бункера.

шившегося на землю ливня. Еще вечером старик-мельник, уходя домой, предупредил Тагира о том, что погода начинает портиться, собирается гроза. Если ночью пойдет сильный дождь, то пусть Тагир обязательно поднимется вверх к каналу, приподнимет в нем задвижку, чтобы поддерживать нормальный уровень воды в желебе.

Как только Тагир вышел наружу, в лицо ему хлестнул косой дождь с ветром. По земле стекали невидимые ручейки, а вокруг была разлита такая непроницаемая мгла, что он шел почти ощупью по мокрой, скользкой тропе. Она в двадцати-тридцати шагах от мельницы обрывалась у глубокого оврага, по дну которого сейчас, заглушая шуршание дождя, с шумом неслась вздувшаяся речка, а над самым оврагом висел узенький деревянный мост, прикрытый сверху тоненьким слоем земли.

Едва Тагир приблизился к мосту, как огненные всполохи, сопровождаемые грозowymi раскатами, зажгли ослепительным светом почти полнеба и на мгновение ярко осветили фигуру дяди, медленно и осторожно семенившего по мосту. Якуб, обеспокоенный усилившимся дождем и грозой, спускался сейчас в ложину за своим осликом, которого еще вчера вечером пустил пастись на всю ночь на вольной траве.

Якуб тоже заметил идущего навстречу племянника. И дядя, точно между ними ничего не было, крикнул ему на ходу:

— Эй Тагир! Ты случаем моего осла не видал там, в низине?!..

Тагир промолчал. Но в эту самую минуту, когда он услышал голос дяди, какой-то внезапный внутренний толчок, неподвластный его воле, заставил его убыстрить шаг и скорее ступить на мостик, пока тот не перешел его. И как только Тагир приблизился к Якубу вплотную, он в мгновение ока вырвал палку из рук дяди и в сердцах огрел его по плечу.

— Да-а что ты делаешь, разбойник?! — завопил сторож колхозной птицефермы, изумленный и возмущенный таким приемом, едва удерживаясь на ногах. — Я же твой дядя!..

— Нет, ты — шайтан в обличье моего дяди!.. — закричал разгневанный Тагир, подкрепив свои слова еще одним увесистым ударом.

Якуба охватил великий страх, тем более все это происходило на середине узкого шаткого мостика, поминутно вздрагивавшего под ногами и напоминавшего канат, перетянутый через пропасть, и где сейчас было очень легко и опасно оступиться, поскользнуться. Поэтому, несмотря на дождь, непогоду, его прошиб пот, ноги задрожали. Как Якуб ни кричал, ни уверял пастуха, что он не шайтан, а дядя его, тот, казалось, ничего не слышал, не понимал, а удары, один чувствительнее другого, так и сыпались на него. И дядя, точно забыв, зачем он шел сюда среди ночи в такую погоду, забыв совсем, что он хром и притом без палки, избитый, оглушаемый громом, ослепляемый молнией, промокший весь до костей, бросился бежать с быстротой лани назад от этого страшного места, от разошедшегося во всю племянника, которого он сейчас в душе и проклинал и жалел одновременно, думая, что, бедняга, непременно сошел с ума...

СЫН

*Доброй памяти моего русского друга,
бывшего однополчанина А. В. Потапова
посвящаю.*



Я шел по неоглядной степи, освещенной закатными лучами апрельского солнца. По ней, с хрустом щипая молодую ярко-зеленую траву, медленно, врассыпную двигалась отара в направлении кошары. Было прохладно и ветрено.

Мимо меня, подрагивая непомерно вздутым животом, бежала из последних сил, словно спасаясь от погони, лохматая овца с грязной клочковатой темно-коричневой шерстью. Вдруг она остановилась, как вкопанная, возле приземистого кустика и тут же с тревожным и прерывистым блеянием, точно сраженная пулей, рухнула на землю. Ноги ее начала сводить судорога, и сама она затряслась как в лихорадке. Несколько раз животное с жалобным криком пыталось приподнять голову, но тут же беспомощно роняло ее опять на землю.

Прибежал чабан, пожилой человек среднего роста, в папахе такого же темно-коричневого цвета, как и шерсть

на его овце, в истоптанных и облепленных глиной кирзовых сапогах. Бросив ярлыгу, он быстро опустился на корточки и принялся осторожно давить заскорузлой ладонью живот овцы.

Я тихо подошел и остановился около старика. Заметив меня, он, не отрываясь от дела, чуть поднял голову и, повернувшись лицом в мою сторону, кивнул мне со сдержанной улыбкой. Не прошло и пяти минут, как он бережно подхватил трепещущего новорожденного ягненка и также бережно положил его перед носом матери. Ягненок был беленький, с мокрым тощим тельцем и черным пятнышком на лбу. Овца, совсем обессиленная, продолжала еще дрожать всем телом, но уже успокоенная, принялась с горячей нежностью обнюхивать и облизывать своего детеныша. Старик опять взял ягненка в руки и, ласково глядя на него, с добродушной усмешкой на смуглом, с крупными, но редкими морщинами, худощавом лице, с нарочитой громкостью произнес:

— Ну, «богатырь», узнал, кто твоя мать, а теперь попробуй материнское молочко!

С этими словами он приставил ягненка к вымени овцы. Ягненок тотчас же принялся живо, очень бойко сосать мать, словно он это проделывал уже тысячу раз. Чабан поднялся и, отерев мокрые руки о свою старую темную ватную стеганку, поздоровался со мной за руку и тут же, показав взглядом на овцу и ее младенца, доверительно, точно старому знакомому, промолвил:

— Сейчас ходи да гляди в оба: что ни день, то десять-пятнадцать овец ягнятся у меня в отаре. Сегодня это уже четырнадцатая...

Чабан на мгновение умолк, потом, с неожиданным любопытством посмотрев на мои корреспондентские атрибуты—фотоаппарат и полевую сумку—спросил:

— В командировку?

— Да. Я из республиканской газеты.

Старик понимающе кивнул головой, дружелюбно улыбаясь одними глазами. Они у него были карие, приветливые, с твердым, но немного грустным взглядом. В это время подошел другой чабан, молодой совсем парнишка, лет семнадцати, видно, его помощник. Честно говоря, если бы он не держал в руке ярлыгу и не носил на плече котомку, я бы ни за что не подумал, что он тоже чабан.

Парень был одет, как некоторые наши тогдашние аульские щеголи. На нем были ладные хромовые сапоги, новые габардиновые галифе и гимнастерка, перехваченная в талии широким блестящим офицерским ремнем, светло-серая каракулевая папаха, заломленная набекрень. Мое удивление еще больше возросло, когда он назвал пожилого чабана «отцом».

Внешностью своей парень хоть сколько-нибудь не был похож не только на своего отца, но вообще на южанина. Курносое добродушное лицо со светлой кожей, задорно-веселые голубые глаза, мягкие льняные волосы — все как будто выдавало в нем уроженца северных областей России. «Может, кто из предков старого чабана или его жены был русским? — невольно подумал я про себя. — Ведь во времена долгих шамилевских войн было немало случаев, когда николаевский солдат, очутившись у горцев, принимал их веру, обычаи, рождался с ними, женившись на горянке... А в потомках, как известно, очень часто оживает облик близких или далеких предков...»

Молодой чабан низко наклонился над овцой, погладил ее по впавшему после родов боку, затем ласково дернул за куцей, шевелившийся хвостик ягненка, поглощенного своим занятием. Потом он, выпрямившись, повел рукой по мягкому с ямочкой подбородку и, прищурив задорно-веселые глаза, сказал старику:

— Отец, я отнесу ягненка в кошару, в тепляк.

Старый чабан молча кивнул головой.

Парень извлек из котомки серую тряпку, старательно завернул в нее ягненка и двинулся к кошаре, желтые камышовые заборы которой отчетливо виднелись отсюда на фоне вечернего неба. Овца раза два беспокойно заерзала на месте, потом тяжело, с трудом поднявшись, поспешно засеменила за своим детенышем.

Когда я глядел вслед уходящему молодому чабану, мне вдруг показалось, что я где-то видел его и не раз. Я видел это лицо, эти голубые с прищуром задорно-веселые глаза, этот мягкий с ямочкой подбородок, видел этот привычный жест, слышал этот голос, но где?.. И почему-то думалось, что видел я его, когда служил в армии.

И я тут же стал перебирать в памяти людей, которых знал или хорошо запомнил за годы своей сравнительно долгой почти пятнадцатилетней военной службы. Она

для меня началась в первый день вероломного нападения фашистской Германии на нашу страну и кончилась только три года назад. Но так и не вспомнив, где я встречался с этим парнем, вдруг со всей ясностью понял, что я его не мог видеть среди своих бывших сослуживцев ни во время войны, ни после нее. Ведь парнишке-то от роду не более семнадцати?.. Я даже поразился: как такая нелепая мысль могла прийти мне в голову?..

За степной далью уже погасло зарево. Начало темнеть. Старик, покрикивая на овец, то и дело размахивая своей длинной ярлыгой, стал торопить их к кошаре. Ему в этом помогали огромные лохматые чабанские псы-волкодавы с коротко отрезанными ушами и благодушно-свирепыми мордами. Они, бесшумно подойдя вплотную к отстающим овцам, подгоняли их своим сердитым рычанием и угрожающим отрывистым лаем: чего, мол, мешкаете, не слышали команду?!

Почувяв приближение отары, маленькие ягнята в кошаре, выпущенные, видимо, из тепляка, дружно и разногласно заблеяли. И тут же, убыстрив шаг, им начали вторить овцы.

Когда отец и сын пропустили всю отару в кошару, в ней на некоторое время началась отчаянная суматоха, настоящее столпотворение. Пока матки и ягнята искали друг друга, они орали, кричали на разные голоса, страшно суетились, бегали, как очумелые, оттесняя, отталкивая друг друга. Казалось, вся вечерняя степь от края до края наполнена сейчас их невообразимым криком, шумом и топотом.

До единственной в этой местности небольшой заолустной железнодорожной станции, куда я сейчас держал путь, оставался еще добрый десяток километров. Надвигалась ночь, темная, ветреная. В такую ночь в незнакомой степи запросто можно сбиться с дороги, заблудиться. Поэтому, когда гостеприимный чабан предложил мне остаться у них ночевать, я охотно согласился.

Через час мы со стариком, точно два давних знакомых, сидели в чабанке — маленькой глинобитной хатке с глиняным полом. В углу на черном ворсистом войлоке лежала аккуратно свернутая постель. У правой стенки возле низенького окна стоял небольшой стол с приемником, на котором лежала большая кипа книг с тетрадами. В самодельном очаге, дымя тихо, без треска, горел кизяк. Из круглой медной кастрюли без крышки,

стоявшей на нем, исходил аромат вареного мяса. Огонь отбрасывал красноватый свет, который делал невзрачную чабанку как-то уютнее и приветливее.

Парня не было с нами. Когда мы со стариком направлялись в чабанку, он о чем-то поговорив с отцом, сел на лошадь и ускорил куда-то.

В кошаре наконец как будто воцарилась тишина. Только иногда доносилось сонное отрывистое блеяние ягнят. Но среди этих редких голосов все время, беспрерывно раздавалось надсадное, громкое блеяние какой-то овцы. Она буквально разрывалась. Я невольно стал прислушиваться: что с ней?..

— Да это овца, у которой два дня назад после родов пал ягненок,— почувствовав мое недоумение, объяснил чабан. — Мы с сыном решили завтра загнать ее в специальную клетку, запереть ее там на два-три дня и приставить к ней чужого ягненка, мать которого принесла двойню... Ничего, привыкнет к нему, полюбит как своего, — уверенно заключил мой собеседник.

И хозяин стал рассказывать мне, как эта самая овца вчера ночью, прорвав плотный камышовый забор, бежала в открытую степь. Вернулась она на рассвете, вся помятая, испачканная грязью, с откушенным курдюком — волк отхватил. Видно, серый был один, притом сыт или очень стар, иначе бы ей, бедняге, не унести ног. Сразу же по возвращении в кошару, овца, не найдя своего детеныша, пыталась опять бежать назад, но ее с трудом поймали, насильно водворили в кошару и привязали на веревку.

— Не ест, не пьет, все время кричит, — с грустью проговорил чабан.

Когда мы поужинали и начали курить, я спросил старика, куда поехал его сын на ночь глядя.

— На центральный кутан колхоза, — ответил он. — Две недели от матери нет письма, и вот волнуется. Задано и свежие газеты прихватит.

Но когда я сказал ему, что мне сначала показалось, что мальчик не его сын, а какой-то русский парнишка, старик неожиданно вздрогнул и смутился, сигарета, которую он держал между пальцами, так и застыла возле рта. Заметив это, я сам вдруг почувствовал себя очень неловко. «Неужели он понял меня по-дурному?..» — мелькнуло в голове.

Наш непринужденный, дружеский разговор на какое-то время сменился неловким, тягостным молчанием. Но первым нарушил его сам хозяин.

— Ты, кунак, верно заметил, — вопреки моему ожиданию заговорил он спокойным и почти дружелюбным тоном, стараясь не выдать своего волнения, которое все же чувствовалось по его слегка дрожавшему голосу. — Иса у меня не родной сын, а приемыш...

Он бросил недокуренную папиросу в потухающий очаг и, с минуту задумчиво уставившись на него, заговорил вновь:

— У меня, кунак, нет своих детей, — тихо, точно рассуждая сам с собой вслух, начал он свой рассказ, который я слушал, не перебивая. — Дети у меня были, но все они умерли, когда еще были маленькими. И что только я не делал, чтобы спасти их: и лекарства разные добывал, и знахарей приглашал заговаривать болезнь, не жалел последние деньги на садага³ — и все попусту. За что меня бог так карал — не знаю. Я боялся, что так и останемся с женой на всю жизнь бездетными. А на что она, жизнь, человеку без детей?..

Из девяти моих детей выжил только один, Магома его звали. И когда он болел — а дети, кунак, чем только не болеют, — мы с женой сами чуть не умирали от горя и тревоги. А когда он чувствовал себя здоровым, резвился, смеялся, казалось, счастливее нас не было на свете людей.

Зато какой парень он стал, когда вырос, если бы знали: сильный, красивый, смелый. Словно судьба, которая всегда была неласкова к нам, наконец, сжалившись над нами, вознаградила нас с женой за наши потери, за наши страдания... Мы собирались женить его, подыскали ему невесту, думали скоро, дай бог, будем нянчить внуков, но тут к несчастью, грянула война...

В первый же день войны мой сын ушел на фронт. Надо ли говорить, как тяжело было нам отправлять единственного сына на войну, где каждый день тысячами гибнут люди? Но что делать: когда враг грозит тебе, с кинжалом ломится в твою саклю, об этом не приходится думать. Да и сам он, как я заметил, был доволен и даже

³ Садага—приношение, подаяние в религиозных, благочестивых целях.

горд, что едет сражаться с ненавистным врагом, как подбавляет мужчине в такой грозный для Родины час.

Я работал чабаном, день и ночь находился при отаре, но сердце, все мое существо были там, на фронте. Каждый день думали, гадали с женой: где сейчас наш сын, жив ли, а может, ранен или, не дай бог, убит? Если бы не письма, что он посылал нам регулярно, мы со всем бы извелись.

И вот однажды вместо письма от сына принесли нам какое-то извещение. Сказали от райвоенкомата. Ах, кунак, не знаю как вам это передать... Мне, скажу вам, было бы легче, в тысячи раз легче принять пулю в грудь или кинжал в бок, чем услышать то, о чем писалось в этой черной бумажке...

Голос у него дрогнул и смолк. Старик опустил глаза, на лицо, точно траур, легла скорбная тень. Молчал и я. Но через минуту-две он, справившись с волнением, продолжил свое горестное повествование:

— С того дня будто свет померк для меня, — тяжело вздыхая, произнес он. — Я сразу постарел лет на десять. Я-то еще кое-как крепился, брал себя в руки, но жена моя прямо-таки гибла на глазах. Ночью, когда ни проснусь, она сидит, сиротливо обняв колени, тихо поет и качается, как от неутраченной боли. «Эй, жена, — говорю ей, — ради бога, перестань изводить себя! Не один твой сын погиб на войне. И у других, которые погибли, тоже ведь есть матери?!» А она будто и не слышит меня...

Однажды весной 1943 года, месяца три спустя после гибели нашего сына, я как-то узнал, что в город Хасавюрт привезли целый эшелон маленьких детей-сирот из блокадного Ленинграда. Мы в то время, как и сейчас, находились на зимних пастбищах. Оставив отару на попечение младшего чабана, я немедленно отправился в город на попутной машине. И сразу — в детдом, где разместили эвакуированных ребят. В те дни многие приходили сюда, чтобы взять осиротевших детей, поэтому моему приходу никто не удивился. Был как раз послеобеденный час. Малыши все спали на маленьких кроватках. Все они были ужасно худые, изможденные и такие жалкие, смотришь — и комок к горлу подступает.

Вместе с директором детского дома, полной пожилой женщиной с добрым лицом, мы осторожно пробирались мимо кроватей спящих детей. Когда я подошел к кро-

ватке одного из малышей, такого же заморыша, как почти все остальные, который спал, склонив на бок белую, будто седую головку, он вдруг открыл глазки, уставился на меня и, представьте себе, начал улыбаться мне так, будто он меня хорошо знает или я родной ему. В то же время было что-то очень жалкое и беспомощное в этой улыбке. Она, эта его улыбка, приковала меня к месту, спазмы сдавили мне горло...

Словом, чего тут долго говорить, вот с этого дня этот русский малыш вошел в нашу жизнь, точно солнышко озарил ее, стал нашим сыном. И вы же видели, каким он молодцом выглядит сейчас. Работает со мной в отаре и учится заочно в ветеринарном техникуме.

Старик умолк, взволнованный воспоминаниями. Он стал шарить рукой возле себя, ища сигареты. Я быстро достал свои, и мы опять закурили. Я подождал немного, а потом, как бы между прочим, спросил его, чтобы разрешить внезапно возникшую у меня догадку, какой была фамилия у Исы, когда он усыновил его.

Задумчивое лицо моего хозяина постепенно стало расплываться в улыбке, а потом он вдруг негромко рассмеялся, поперхнувшись дымом:

— Знаете, смешная такая — Петухов.., — кашляя, воскликнул он.

И тут меня точно обожгло. Я вспомнил, где я видел не Ису, а человека, который так поразительно похож на него. То был мой однополчанин, молодой солдат — кавалерист Владимир Петухов. Мне он запомнился больше, чем некоторые другие бойцы в нашем эскадроне, может, потому, что кроме него и меня все у нас были донские казаки. Хотя Петухов был ленинградцем, но они почему-то в шутку дразнили его, называя «тамбовским казаком». Откровенно говоря, я и до сих пор не знаю, что кроется за этой шуткой. Но я хорошо помню то, что и «тамбовский казак» тоже не оставался в долгу. Вставая в нарочито горделивую позу и привычным жестом касаясь ладонью мягкого с ямочкой подбородка, он «презрительно» щурил на них свои задорно-голубые глаза, затем громко, насмешливо выпаливал: «Да! Ваши отцы были казаками, а вы... казачий!» А те дружно покатывались со смеху.

Я знал о Петухове еще то, что у него жена умерла от голода в блокадном Ленинграде, а его полуторого-

довалого сына эвакуировали, но куда — он не знал. И это его очень тревожило.

В январе 1943 года во время нашего наступления на Кубани осколком фашистского снаряда ему оторвало кисть левой руки. И с тех пор мы с ним не виделись. Но у меня дома сохранилась его фотография с адресом.

Я был крайне взволнован этим неожиданным для меня открытием. И чтобы не обнаружить перед старым чабаном своего состояния, встал и поспешно вышел во двор.

Ветер уже совсем стих. На небе мигали неяркие звезды. Ночная степь, окутанная густой тьмой, безмолвствовала. Только из кошары продолжал по-прежнему доноситься охрипший голос безутешной овцы, потерявшей своего ягненка. Я смотрел на ночную мглу и видел перед собой печальное лицо своего далекого друга. Дробный топот скачущей лошади вывел меня из тяжелого раздумья, которым я был охвачен сейчас. Иса, у самой чабанки осадив лошадь, не сходя с нее, радостно крикнул отцу:

— Ге-е-ей! От мамы письмо!.. Письмо от мамы!..

* * *

...С тех пор во мне два человека постоянно борются друг с другом. И каждый из них требует, чтобы я слушал только его. Один приказывает: «Напиши Владимиру, что нашелся его сын!..» Другой грозно шепчет: «Не делай этого, не лишай стариков их последней радости!..» И я не знаю, кого из них послушаться.

Так проходят недели, месяцы, годы. Я каждый год посылаю Владимиру поздравительную открытку с Днем Победы, но о том, что видел его сына, знаю, где он, написать все же не решаюсь. Вот уже десять лет как я ношу эту тайну в себе. Одному мне известно, как я мучаюсь, страдаю от этого.

Сейчас я нахожусь в Ленинграде, в городе, где живет мой русский друг. Седьмой день, как я здесь, лежу в военном госпитале для ветеранов войны. Завтра мне будут делать операцию, очень сложную. Не знаю: выдержу ли. Я испытываю большое беспокойство: а вдруг сегодняшний день — последний в моей жизни? И эта тайна, которую я храню столько лет, навсегда уйдет со мной. Нет! Хватит откладывать, надо спешить, пока еще

есть время!.. Вот сейчас достану из тумбочки бумагу и ручку и напишу письмо Владимиру, напишу, где я нахожусь, напишу, где его сын, напишу, почему я до сих пор, страдая и мучаясь, молчал об этом...

ВСТРЕЧИ У РОДНИКА

Омар, прижимая к бокам пустые ведра и боязливо озираясь, осторожно спускался по узкой тропинке в ущелье, где из-под черной каменной скалы с веселым журчаньем, точно радуясь, что удалось вырваться на свободу, пробивался родник.

Была ночь. На темно-синем небе крупными жемчужинами горели яркие звезды. Полная луна заливала мягким сиянием притихшую землю. При свете луны прозрачная вода в роднике отливала серебром, а на дне его, точно мелкие монеты, блестели белые, круглые обкатанные камешки. Недалеко от источника росли сплошные зеленые кусты, откуда сейчас слышалось громкое щелканье одинокого соловья. Наверху, за ущельем, на фоне высокой горы, упиравшейся в небо, отчетливо виднелись темные очертания саклей с редкими освещенными окнами.

Подойдя к роднику, Омар поставил ведра на землю. Еще раз посмотрев по сторонам и убедившись, что ему удалось добраться сюда никем незамеченным, он облегченно вздохнул и смущенно улыбнулся. Но вспомнив, как жена только что, почти насильно, со скандалом выводила его за водой, он сразу посуровел, нахмурился. Омар медленно опустился на замшелый камень у источника, задумался и перед глазами его отчетливо встала неприятная картина сегодняшней ссоры с женой.

Еще утром его жена, Сакина, уходя в школу, сказала ему.

— Омар, дорогой, я приду поздно, сходи пожалуйста, за водой. Прошу тебя!..

Омар потупил глаза и сердито буркнул:

— Ладно, уже слышал!.. — Но чувствуя на себе осуждающий взгляд жены, он поднял на нее глаза и мучени-

чески улыбаясь, добавил: — Ну, сказал же — пойду, чего пристала?!..

Проводив жену, Омар взял ведра и по узкой каменной лестнице спустился во двор. Он открыл калитку и вышел за ворота, но тотчас же, громыхая ведрами, вбежал обратно: невдалеке в высокой, лихо заломленной папахе стоял сосед — председатель сельского совета Мехти Бабаев и будто нарочно смотрел в его сторону, с важной медлительностью покручивая пышные седеющие усы.

Омар быстро прикрыл калитку, крепко прижав ее спиной. Сердце его бешено заколотилось, а на лбу выступила испарина. Он чувствовал себя как человек, которому удалось избежать большой опасности. Отдышавшись, Омар опять осторожно приоткрыл калитку, но остановился в нерешительности. Ему представилось, как он идет с пустыми ведрами по улицам аула, а люди, показывая на него пальцем, отпускают вслед ему язвительные шутки:

— Глядите-ка на него, ха-ха!..

— Ему остается теперь вместо папахи надеть на голову платок и доить корову!..

— Они с женой, видать, поменялись ролями!

— Всегда так: дай жене волю, заведет молодца в неволю!

В душе Омара поднялась жгучая обида на жену. Пора бы ей привыкнуть к аульским обычаям. Мало ли, много ли, уже полтора года, как она приехала из города в их аул, девять месяцев как они поженились, а она все еще не перестает удивляться и возмущаться: как может, мол, мужчина считать для себя позором нести ношу вместо матери-старухи, сходить раз-другой за водой вместо жены, работать серпом?..

Это все, конечно, так. Но попробуй пойти наперекор обычаю — не только мужчины, но и женщины будут смеяться над тобой, мужчиной считать перестанут.

Правда, до последнего времени жена только сокрушалась, но ни разу не принуждала мужа выполнять «женскую работу», потому что его мать была дома. Она, по обыкновению, вставала раньше всех, разжигала огонь в очаге, доила корову, приносила воду. Недели две назад старуха уехала в соседний аул, чтобы присмотреть за больной сестрой. Теперь вся тяжесть разнообразной и многотрудной домашней работы легла на плечи жены, которая к тому же была беременна. Ей

было тяжело после дня, проведенного в школе с детьми, еще хлопотать по хозяйству, а потом до поздней ночи проверять тетради и готовиться к занятиям. Омар все это понимал, но по-прежнему стыдился помогать ей.

Вечером Сакина, вернувшись домой и увидев пустые ведра, пришла в отчаяние.

— Омар, ты так и не сходил по воду?!.. Дома же ни капли воды нет, даже руки помыть нечем. Какой же ты!..

Голос ее дрогнул, и она боясь, что вот-вот заплачет, замолкла. Грузно подходя к столу, Сакина молча, с сердцем швырнула на него кипу тетрадей, которую держала под мышкой. Но когда она, тяжело опустившись на стул, обхватила голову руками, подавленная и сильно растроенная, то вдруг заплакала громко и судорожно.

Омар, вместо того, чтобы успокоить жену, нахмутив брови, невольно взглянул на нее, на ее вздрагивающую и расплывшуюся от беременности фигуру. Резким движением он отодвинул от себя настольную лампу, сердито захлопнул книгу, лежавшую перед ним, встал и возбужденно зашагал по комнате.

Когда Сакина подняла голову и ее взгляд упал на обложку книги, которую только что читал муж, она пришла в негодование.

— Читаешь «Горянку» Расула Гамзатова, а ведешь себя по отношению к горянке, как столетний дед, напичканный предрассудками? И не стыдно тебе?! А еще комсомолец, зоотехник, интеллигент вроде!..

На минуту в комнате воцарилась тягостная тишина. Потом вдруг жена с выражением злой решимости на лице вскочила с места и, схватив пустые ведра, подошла к мужу.

— Если ты сейчас же не пойдешь за водой, я уйду из этого дома — и навсегда!

Угроза подействовала. Омар взял ведра, но всем своим видом выражая недовольство и гнев, выскочил из комнаты. На небе ярко светила луна, поэтому он не решился выйти за калитку: вдруг кто-нибудь увидит? Особенно боялся он встречи со своим соседом, председателем сельсовета Мехти Бабаевым, который, наверно, еще утром заметил его с пустыми ведрами... И он решил подождать у ворот, пока луна не скроется за тучами. Но луна, будто угадав его намерения, казалось, нарочно за-

стыла на месте, продолжая заливать потоками света плоские крыши саклей, кривые узкие улицы между домами, дорогу, ведущую к роднику.

Наконец, к несказанной радости Омара, со стороны большой горы, над которой начали гроздиться тучи, отделилась лохматая, словно распростертая чабанская бурка, большая черная туча. Она, точно подгоняемая ветром, поплыла прямо навстречу луне. Закрыв ее, туча отбросила на землю густую тень, и все сразу потонуло во мраке. Омар мигом выскочил на улицу и во весь дух побежал к роднику. Но когда он подошел к источнику, луна вновь выглянула из-за тучи и озарила все вокруг своим сиянием.

Набрав воды, Омар собирался было уходить, но тут же замер на месте, заметив вдали чью-то приближающуюся фигуру. От неожиданности он так растерялся, что не знал что делать. Но быстро спохватившись, он оставил полные ведра и стремглав кинулся в кусты. Соловей, который продолжал выводить свои трели, сразу умолк.

К своему немалому удивлению, в спускавшемся к роднику человек, молодой зоотехник узнал секретаря сельсовета Эмина Гайдарова, худого мужчину лет сорока с узкими плечами, длинной журавлиной шеей и острым кадыком. В левой руке он держал ведро, а в правой — медный кувшин с узким изогнутым горлышком. Он шел спокойно, в полной уверенности, что в этот поздний час его никто не увидит. Но, подойдя к роднику и наткнувшись на ведра с водой, Эмин сразу остановился и украдкой посмотрел по сторонам. Когда до его настороженного слуха донесся неясный шорох из кустов, он мигом опустил на корточки. Загородившись кувшином и ведром, затаив дыхание, он уставился напряженным взглядом в сторону подозрительного куста.

Прошло несколько томительных минут. Кто-то хихикнул, повергая Эмина в трепет. Омар понял, что они могут так прождать до утра, хоронясь друг от друга, встал во весь рост и, продираясь через кусты, на ходу бодро крикнул ошеломленному Эмину:

— О, салам алейкум, дорогой секретарь сельсовета! Какая приятная встреча?!..

Эмин, вобрав голову в плечи, испуганно прошептал что-то похожее не то на проклятье, не то на молитву.

Подойдя к Эмину, Омар похлопал его по согнутой спине. Тот медленно поднялся, посмотрел на широко и,

как показалось ему, нахально улыбающегося Омара, растерянно и враждебно.

— Ну, скажи дорогой Эмин, только честно, — с трудом сдерживая разбивавший его смех, сказал Омар, — давно ли ты ходишь за водой по ночам вот так, точно на темный промысел или на тайное свидание?

— Замолчи, ради аллаха! — вдруг вскипел Эмин, с опаской оглядываясь вокруг. — Чего ты хохочешь, как сумасшедший?

— Нет, ты все же скажи: давно?

— Вай аллах! — шумно вздохнул Эмин, с досадой хлопнув себя по бедрам. — Ты бы лучше помолчал. Первым же сюда пришел ты, а не я. — И добавил с язвительной усмешкой: — Да еще прятался как заяц в кустах...

Омар притворился обиженным.

— Ты что, Эмин, на самом деле, шуток не понимаешь? — сказал он с укором, а потом дружелюбно произнес: — Ну ладно, хватит сердиться да расстраиваться, давай немного посидим, покурим,—после ссоры с женой он не торопился домой.

Несколько минут они сидели молча, дымя сигаретами, прислушиваясь к петушину перепеву и тявканью собак, доносившимся из аула. Встреча была настолько неожиданной и нежелательной для обоих, что за все время вынужденного «перекура» ни у кого из них не было ни охоты, ни настроения говорить о чем-либо. Они лишь, качая головой и горько усмехаясь, точно пораженные и подавленные случившимся, то и дело коротко восклицали: «Да-а-а!..» «Вот история!..», «Ну и ну!».

Эмин встал так же молча, схватил кувшин. Он только что собирался погрузить его в воду, как Омар остановил его, резко тронув за плечо.

— Эмин, гляди, еще кто-то из нашего брата направляется сюда, — чуть слышно произнес он, показывая в сторону аула.

И они оба, стоя рядом, напряженно и с любопытством стали следить за приближающимся человеком.

— Вах! — с радостным удивлением воскликнул Эмин. — Это же мой начальник, твой сосед, почтенный Мехти Бабаев! Я его по папахе узнаю...

Председатель сельсовета шел медленно, поминутно оглядываясь по сторонам. Но вдруг, заметив людей у родника, он сперва застыл на месте, а потом, быстро по-

вернув назад, бросился бежать, громыхая ведрами. Эмин пустился за ним вдогонку. Но Мехти, несмотря на то, что был человек полный, к тому же в годах, продолжал бежать, как медведь, преследуемый роем разозленных пчел.

— Пстой, Мехти, пстой!.. Чего ты бежишь, как лань от охотника? — наконец догнав его, сдавленным голосом произнес Эмин. — Это — мы, мы...

Председатель остановился, с грохотом выронив ведра, медленно и не совсем уверенно повернулся на знакомый голос. Но, успокоенный тем, что встретил своего подчиненного, а не другого, он облегченно вздохнул. Снял с головы папаху и старательно вытер ею взмокший лоб.

— Ух, жарко как! — проговорил он, шумно отдуваясь и тут же, к еще большему удивлению Эмина, принялся негромко окликать кого-то.

— Эй, выходи, дорогой, выходи, не бойся! Тут свои, свои тут!

Из-за толстого ствола раскидистой чинары вынырнула долговая фигура Селима, секретаря партийной организации колхоза.

Омар встретил их чуть ли не с восторгом.

— О, добро пожаловать, почтеннейшие люди аула! — с преувеличенным энтузиазмом произнес он, и тут же, указывая рукой в сторону родника, добавил: — Только чур! Давайте отныне ходить по воду только днем!..

— Да ты в своем ли уме, Омар! — испуганно воскликнул председатель, который еще не совсем справился с волнением.

— А почему бы и нет? — поддержал Омара парторг. — Видишь, сама жизнь заставляет нас идти наперекор этому нелепому обычаю.

— Не сама жизнь, дорогой Селим, а наши с вами жены заставляют, будь они не ладны, запальчиво произнес Эмин, сердито вращая глазами, — больно они хвост задрали! Надо бы им немного поприжать его.

Председатель сельсовета покачал головой и невесело усмехнулся.

— Смотри, как бы нам с тобой за это самое дело хвосты не прижали, — заметил он своему подчиненному, быть может, вспомнив в эту минуту, как жена, не считаясь с его возрастом и высоким положением в ауле, бесцеремонно вытолкала его из дому, отправив за водой.

Поэтому он, безнадежно махнув рукой, наставительно добавил: — Лучше не связываться!..

Пока председатель сельсовета, его секретарь и парторг колхоза, не спеша набирали воду и спорили друг с другом, Омар стоял и смотрел на бархатно-синее небо в золотой россыпи звезд, на ясную луну. Все, что произошло с ними, четырьмя мужчинами, здесь, у родника, показалось ему очень смешной и несуразной историей. Он невольно засмеялся, вспомнив свои недавние сомнения и страхи, поведение каждого из них, когда они украдкой шли сюда за водой.

Как бы в ответ на веселое настроение Омара, в кустах вновь раздалась соловьиная трель. С улыбкой оглядев Эмина, Мехти и Селима, молча ждавших его с полными ведрами и кувшинами, он, указывая рукой на бескрайнее звездное небо и сияющую луну, громко воскликнул:

— Не правда ли, друзья, чудесная ночь?!..

ИСТОРИЯ С ПОЦЕЛУЕМ

кажу откровенно: нет на свете справедливости. Нету — и все! Я это на своем личном горьком опыте знаю. Вот, например, я — фигура! Притом — номенклатурная. Моей глупой жене радоваться бы и гордиться, что у нее муж не какой-нибудь обыкновенный, рядовой человек, а важное лицо. А она... Эх-х, честное слово даю вам, и сказать стыдно, что она обо мне думает, говорит.

— У тебя, — говорит, — кроме фигуры-то ничего и нету...

Слышите?!.. Конечно, по части фигуры я выразился некоторым образом иносказательно, хотя, должен признаться, фигура у меня действительно внушает... Не то, что у иных мужчин, у которых и смотреть-то не на что.

Фигура фигурой, а я, как и всякий человек с ображением, понимаю, что в наш век НТР — научно-технической революции — то есть, когда человек быстрее пули летит в космос, не хуже, чем любая рыба спускается на дно океана, шагает ножками по луне, как все равно я, к примеру, на своей загородной даче, чтобы занимать руководящую должность одной внуши-

тельной фигуры мало. Надо к ней непременно иметь и диплом. Я, к счастью, имею и то и другое. А попробуй все это втолковать моей жене — обыкновенной домохозяйке, которая только и знает стряпать и через каждый год, словно по заведенному графику, рожать детей и, главным образом, женского пола. При этом она совершенно не желает понимать, что современная культурная и уважающая себя женщина не разводит детей, как кроликов, а еще позволяет делать мне, номенклатурной фигуре с дипломом разные глупые замечания, учить уму-разуму.

— Подумаешь, — говорит, — диплом! На кой он, — говорит, — твой диплом, если у тебя одна блажь в голове. Фанфарон ты, — говорит, — и больше никто.

Некультурная женщина, а слово-то какое выискала — «фанфарон»! Я человек с дипломом и то сроду не встречал нигде этого слова. Я сперва думал, что оно так просто взбрело ей на язык, сама его придумала, а что оно означает для нее — бог ее знает. А потом, когда жена и в шутку и в гнев стала обзывать меня «фанфароном», а с ее легкой руки и вся улица начала за спиной дразнить меня этим, я пошел к старому учителю русского языка и от него узнал, что действительно такое слово существует, не она его выдумала.. Фанфарон, оказывается, — человек, выставляющий напоказ свои мнимые достоинства.

Честное слово, я сам себе удивляюсь: как я, человек с характером, привыкший командовать другими, мог столько лет терпеть эту вздорную и упрямую женщину, хоть она и жена мне, и мать моего единственного сына и восьмерых дочерей?!.. Мне и без того достается от вышестоящих начальников, да еще от нее нет покоя.

Она сердится на меня за то, что я, имея диплом в кармане, не могу долго удержаться на одном месте. Пусть так. А тебе, скажи, что за беда, если я за последние пять лет побывал на должностях заведующего городской овощной базой (по диплому я — агроном-овощевод), директора городской мельницы, хлебопекарни, и. о. начальника городской пожарной охраны, и что отовсюду меня, грубо говоря, вытуряли с выговорами и строгачами? Ты, пожалуйста, знай свое дело: рожай и дальше дочерей, стирай пеленки, вари хинкал и в мои мужские дела не суй нос. Хоть мы с тобой по закону и равноправы, но не забывай, что ты все-таки женщина!

Тем более, пока я числюсь в списке номенклатурных лиц, тебе нечего беспокоиться за меня, за наше благополучие: снимут с одной номенклатурной должности, назначат на другую... Неважно, где ты работаешь, важно — кем ты работаешь.

Но я с огорчением должен сказать, что снимают меня отовсюду по одной и той же глупой мотивировке: превышение власти, грубое обращение с подчиненными. Не согласен я с этим — хоть режь меня! Только с должности и. о. начальника пожарной охраны — я признаюсь в этом — отстранили за дело. В тот день, когда на окраине города на совхозной свиноферме случился пожар и окрест распространился аппетитный шашлычный запах, одна пожарная машина с брандспойтом поливала мой огород на даче. Я тоже, конечно, был там. Я тут положил руку на сердце, еще раз говорю: на этот раз я был виноват, наказали меня правильно. Народ на противопожарной службе хороший, мужественный, чувствует себя все время в постоянной боевой готовности, в случае пожара нередко рискует жизнью. А я в тот день в отличие от моих людей, «тушил» пожарной машиной «огонь» на грядках с помидорами и огурцами на своей даче.

Но речь сейчас не об этом. Посудите сами: какой же я начальник, если подчиненные не будут беспрекословно и без колебаний исполнять мои приказы, нравится им это или не нравится? К сожалению, не все это понимают, и от этого я страдаю. Взять хотя бы эту самую нашумевшую по всему нашему маленькому городу злополучную историю с поцелуем...

Вот как это было. После отстранения от последней должности и. о. начальника пожарной охраны меня назначили директором межколхозного театра. Откровенно говоря, я никогда не питал почтения ни к театру, ни к актерской братии. Актерское занятие всегда казалось мне несерьезным, шутовским делом, а сами актеры — легкомысленным и ветреным народом, но зато я опять-таки не рядовой, а — директор!

Аккурат приближался праздник уборки урожая, и театр в спешном порядке готовил новый спектакль — комедию местного драматурга на современную колхозно-бытовую тему. За несколько дней до премьеры я распорядился, чтобы повсюду были расклеены плакаты, выставлены красочные афиши, передавали объявления по радио — реклама — великое дело.

И вот, когда в переполненном зале шла премьера, вдруг ко мне в кабинет с шумом вбегает режиссер. Испуганно вытаращив глаза и схватив руками свою пышную шевелюру, которую он, казалось, в отчаянии собирался рвать, как несчастная вдова волосы на похоронах своего мужа, принялся кричать:

— Горим!.. Горим, товарищ, директор!..

Я сам, признаться, не на шутку испугался, думаю: упаси бог, как бы с театром не произошло то же самое, что с колхозной свинофермой. Я тут же кинулся к телефону, чтобы немедленно позвонить по известному номеру, но режиссер, страдальчески сморщив лицо и энергично замахав руками, закричал еще громче:

— Да не-е-ет!.. Не от огня горим, а...

У меня, знаете, сразу отлегло от сердца. Раз, думаю, горим не от пожара, можно особенно не волноваться. Из дальнейшего разговора я понял, что один из актеров внезапно заболел сильным расстройством желудка. Он заперся в известном месте и ни за что не желает выходить на сцену, ты хоть на него наставляй пистолет. И режиссер начал просить, умолять меня, чтобы я в спешном порядке заменил заболевшего актера.

Правда, эта роль в спектакле маленькая, эпизодическая и совсем несложная. Чудаковатый старый холостяк, колхозный пастух, пригнав к вечеру на ферму колхозных коров, заглядывает в коровник и к своей несказанной радости застаёт там молодую незамужнюю доярку, к которой он давно неравнодушен. Пастух от радости, что встретил ее, поет и пляшет вокруг доярки, просит, чтобы она хоть разок «для утешения души» позволила ему поцеловать ее. И он трижды повторяет свою просьбу. Она, однако, не соглашается, пытается отстранить его рукой — вот и вся роль. Я несколько раз был на репетиции, хорошо помнил все это — то, что должен был говорить и делать влюбленный пастух. И я согласился — не срывать же из-за этого спектакль.

Только одно смущало меня: я совершенно не умею петь. Природа, наделив меня завидной фигурой, совершенно обделила голосом. И когда я начинаю петь, мой голос даже самому мне напоминает утиное кряканье: га-га-га!..

О своем опасении я, конечно, сказал режиссеру. Но тот, весьма обрадованный моим согласием, тут же поспешил успокоить меня:

— Что вы, что вы! Это даже лучше, — начал уверять он меня. — Внесет больше комизма в игру. Это же — комедия!..

Немедленно принесли мне в кабинет папаху, бурку, длинную увесистую палку с загнутым концом, приклеили мне пышные накладные усы. Прежде чем выйти на сцену, я полез в ящик своего рабочего стола, вынул спрятанную там на всякий случай бутылку коньяка. Налив полный стакан, я залпом выпил его, так сказать, для храбрости: как ни говори, первый раз выступаю на сцене да еще без всякой предварительной подготовки и, конечно, волнуюсь, хотя я, должен сказать, человек не из робкого десятка.

И вот под разноголосое мычание «коров» и «телят», только что пригнанных в село, я захожу в «коровник». Увидев свою «симпатию», я, разумеется, как мне положено по роли, сияю, как медный самовар, лихо, самодовольно поглаживаю накладные усы. Затем от охватившего меня волнения, начинаю юлой кружиться вокруг нее, танцевать, петь, вернее крякать по-утиному.

Смотрю, в зале зрители смеются, хохочут. Довольны, стало быть. И я доволен: спас спектакль от неминуемого срыва и моя игра нравится уважаемой публике. Я вошел в раж и продолжаю свой номер. Кончив петь, куролесить, я в самом прекрасном настроении подхожу вплотную к предмету моего поклонения, прошу, чтобы она, пока нелегкая не привела сюда кого-нибудь из ее подруг, позволила мне поцеловать ее. А доярка, смущенная моим приставанием, мягко отстраняет меня рукой, отбегает от меня и стыдливо прячет зардевшееся лицо. Но я, как следует мне по роли, не отстаю от нее, прошу, молю об одном единственном поцелуе, и все безрезультатно.

И вот тут, убей меня — не помню, не могу объяснить, как это случилось: то ли коньяк ударил мне в голову, то ли самолюбие начальника во мне разыграло, я крайне возмущен, разом скинул с плеч бурку, бросил вон палку, сорвал с головы папаху и в сердцах шлепнул ее об пол, и фальшивые усы с лица — долой! — кричу ей:

— Набо-о-от! (Набот — это ее настоящее имя, а в пьесе — другое, забыл). Я же — твой начальник! Как ты смеешь не слушаться меня, подрывать мой «абторитет» в глазах моих подчиненных?!..

Я тут же сгреб ее в охапку и с силой поцеловал в ярко накрашенные губы. Но не успел я прийти в себя, как вместе с проклятиями разгневанной «доярки» на мою голову с грохотом обрушилось ее пустое ведро. И хорошо еще, что оно было пустое. Вслед за этим я почувствовал, как кто-то другой изо всей силы огрел меня между лопатками той самой палкой, которую я только что держал в руке. Это, оказывается, был ее настоящий муж, тот самый актер, который не мог выйти на сцену из-за расстройства желудка, пропади он пропадом.

Короче говоря, спектакль сорвался в самой середине действия, и эта веселая комедия превратилась лично для меня в печальную трагедию: то есть меня сняли с должности директора...

Беда, как вы знаете, не приходит одна. Жена тоже выгнала меня из дому, несмотря на то, что я — отец ее единственного сына и восьмерых дочерей. Когда я в тот вечер возвратился домой с ноющей спиной и больной головой, она как увидела на моих губах и щеке следы губной помады и крема, которые я от расстройства и волнения забыл стереть и, конечно, почувствовала, как от меня несет спиртным, набросилась на меня, как разъяренная.

— Иди вон! — кричит, — туда, где пил захриман и с кем там целовался-миловался... такой-этакий!..

И все это, как видите, из-за одного злополучного поцелуя. После этого разве можно сказать, что есть на свете справедливость?..

ХАБАР И ХИНКАЛ



едушка Азиз вышел из сакли, остановился посреди двора и огляделся вокруг. Землю уже окутывали теплые летние сумерки, в которых постепенно расплывались очертания высоких гор, окружавших его родной аул. На небе уже зажглись первые звезды, а во многих окнах засветились огоньки.

«Пора идти», — подумал старик. И только сделал первый шаг, как навстречу ему из коровника вышла жена, долговязая старуха с большими натруженными руками и постным лицом. В правой руке она держала медную,

блестевшую в сумерках бадью с парным молоком. На минуту они остановились друг против друга: она — высокая, костистая, он — маленький, сухонький и чуть сутулый.

«Вот аллах послал мне женушку, то ли в наказание за мои грехи, то ли в награду за мою доброту, — мысленно усмехнулся Азиз, косо оглядывая жену и задумчиво поглаживая рукой коротко остриженную белоснежную бородку. — Как я на ней женился—ума не приложу?!»

Несмотря на свое врожденное добродушие, дедушка Азиз не выносил, когда жена вот так становилась перед ним и смотрела на него сверху вниз. Ему казалось, что это унижает его мужское достоинство.

Первой нарушила молчание жена.

— Ва, Азиз, куда опять идешь?

— Куда хочу, туда иду, еще буду тебя спрашивать! — сердито проворчал он, передернув узкими худыми плечами и тут же, гордо подняв голову, прошел мимо жены, всем своим видом подчеркивая свою абсолютную независимость и пренебрежение к ней.

Старуха не нашлась сразу, что сказать своему свое нравному и чудаковатому мужу, лишь после некоторого молчания она крикнула ему вслед:

— Вот-вот дети должны прийти с поля, хинкал уже сварился. Остался бы дома, натолок чесноку, поужинали бы вместе!..

Азиз, не задерживаясь шел дальше, не обращая внимания на ее слова. Потом вдруг, словно вспомнив что-то, он остановился, повернулся в ту сторону, где все еще стояла жена с бадьей в руке:

— Эй, жена! — крикнул Азиз, чуть приподнимаясь на цыпочки, в голосе которого звучали сейчас решимость и в то же время скрытая насмешка. — Хоть и говорят: «Хинкал лучше хабара», а по мне, добрый хабар лучше твоего худого хинкала, хе-хе... Я иду слушать хабар!..

Сказав это, дедушка Азиз ускорил шаг. Он мысленно выругал жену: из-за ее глупой болтовни как бы не опоздать в клуб, куда он спешил сейчас. Сегодня аульский радиоузел трижды оповестил джамаат о том, что приехал ученый-лектор из города читать лекцию для верующих «О происхождении жизни и человека».

... Из восьмидесяти лет своей долгой жизни шестьдесят пять лет дедушка Азиз ходил за отарой. Два года тому назад его чествовали всем аулом и с почетом про-

водили на заслуженный отдых. С тех пор не было ни одной лекции или вечера, на которых он бы не присутствовал.

Правда, говорят, что лектор, который приехал сегодня, очень молод, совсем юноша. Многим верующим, которые будут слушать его сейчас, он не только во внуки, но в правнуки годится. Ну что же из этого? Есть пословица: «Ум не в возрасте, а в голове». Иной человек долго живет, а бестолку только небо коптит. На другого посмотришь: молод-зелен, а умом всех превзошел...

Рассуждая так, старик не заметил, как очутился у дверей клуба. Азиз осторожно заглянул в зал. Он был полон народу — почти одни старики и старухи. На трибуне стоял бледнолицый юноша в пестром галстуке и гладко расчесанными блестящими черными волосами. Все скамейки были уже заняты, только в первом ряду, у самой трибуны, оставалось несколько мест. Азиз тихо прошел туда и чинно уселся.

— Товарищи! Прежде чем рассказать вам, как произошла жизнь на Земле и как появился человек, — уверенно начал молодой человек, — я коротко объясню вам, что такое жизнь...

Дедушка Азиз нетерпеливо заерзал на скамейке и подставил свою маленькую морщинистую ладонь к уху: очень любопытно, что на этот счет собирается говорить лектор им, старикам, прожившим жизнь.

— Жизнь есть способ существования белковых тел, — тем же уверенным тоном продолжал гость. — Сущность жизненного процесса заключается в непрерывной и одновременной ассимиляции и диссимиляции живого...

Дедушка Азиз зажмурил глаза и энергично покрутил головой, точно желая встряхнуть свои старые мозги и, подавшись всем телом вперед, еще больше напряг слух. Но и после этого все, что говорил оратор, не доходило до его сознания, оставаясь для него, как говорится, книгой за семью печатями. А лектор, словно забыв перед кем он выступает и будто щеголяя своей эрудицией, сыпал в зал научные, совершенно непонятные Азизу и другим присутствующим термины: агностицизм, детерминизм, мистицизм, идеализм, дуализм, атеизм, анимизм, пантеизм, панпсихизм, делая ссылки на Платона, Демокрита, Спинозу, Гегеля, Аристотеля, Фейербаха, Дарвина...

«Что за имена такие, как горох из торбы сыплет этот

юноша? — искренно недоумевал дедушка Азиз. — Какие люди носят эти имена, мужчины или женщины, христиане, иудеи или язычники, живые или мертвые? Может, у этого юноши жар, ему нездоровится?... А в жару человек может сказать не только все, что взбредет на язык, но и выкинуть самую неожиданную штуку. Ведь был же с ним, Азизом, случай, когда он заболел однажды двусторонним воспалением легких и в бреду принял собственную старуху, которая пыталась напоить его теплым молоком, за самого Азраила — ангела смерти, пришедшего по велению бога за его душой. Он тогда, недолго думая, вскочил с постели, сорвал со стены кинжал и в одном исподнем, в которое был одет, с решимой яростью погнался за женой. Хорошо, что на ее крик во время подоспели люди, силой увели в дом и уложили его обратно в постель, иначе не миновать бы греха...»

От этих размышлений отвлек дедушку Азиза богатырский храп, раздававшийся прямо за его затылком. Он невольно обернулся и увидел, что кузнец Сафар спит, сложив свои темные здоровенные ручища на животе, опустив кудлатую голову на широкую грудь, которая, как мехи в его кузнице, вздымалась и опускалась в такт храпу. Соседи его сидели тоже с безучастными, скучающими лицами. Это окончательно вывело дедушку Азиза из терпения.

— Можно?! — громко произнес Азиз, обращаясь к лектору.

— Нельзя! — тотчас же громовым басом воскликнул кузнец, который сквозь сон принял этот вопрос в свой адрес. — Я еще твоего ишака не подковал!..

Но в тот же миг проснувшись, кузнец беспокойно огляделся, растерянно моргая глазами. Этот неуместный возглас, растерянный и сконфуженный вид кузнеца на некоторое время вызвали оживление и дружный хохот в зале. Посыпались шутки, остроты. Наконец, когда все стихло, лектор, скрывая досаду, спросил Азиза:

— У вас вопрос ко мне? Но я еще не кончил. — Потом, немного подумав, добавил: — А впрочем, что вы хотели?

— Твоего здоровья, сынок, прежде всего, — любезно, но со скрытыми нотками недовольства и насмешки произнес он, привычно трогая бородку. — Ты, сынок, прости меня, старика, что немного помешал твоей лекции. Ночь еще впереди, успеешь наговориться, — начал

издалека старый Азиз. — Если наступил момент снести курочке яйцо, ты хоть пугай ее тапанчой, не остановишь. Так и у меня. Если меня беспокоит какая-нибудь мысль, я ее обязательно должен высказать, нравится ли это кому или не нравится, у меня такой характер...

— Вы, дедушка, говорите по существу! — бросил с трибуны гость, жалея, что дал этому, как ему показалось, «вздорному старику» слово.

Но дедушка Азиз, пропустив мимо ушей его замечание, продолжал спокойно:

— Ты, наверное, сынок, не знаешь горскую поговорку: «Конь узнается по ходу, человек — по слову». К чему я это веду? Вот ты сейчас сказал, что жизнь есть вроде «халам-балам», «хапур-чапур»¹. Услышав это, сынок, я невольно подумал, что ты еще не знаешь настоящей жизни, раз о ней так думаешь...

— Да я ничего подобного не говорил! — возразил удивленный лектор.

— Говорил, говорил! — с места подтвердили несколько человек.

Лектор, смеясь, недовольно покачал головой.

— Я говорил «ассимиляция и диссимиляция», а не «халам-балам», — настаивал на своем лектор.

— Это одно и то же: «Что Хужа-Али, что Али-Хужа»²! — уверенно выкрикнул кто-то с задней скамейки.

— Видишь? — торжествующе взглянув на лектора, весело произнес старый Азиз. — Не зря говорится: «Сорвалось с языка — досталось всему миру». Знаешь, сынок, неглупые люди выдумали пословицу: «Жизнь — что соленая вода, чем больше пьешь, тем больше жажда». Вот что такое жизнь... На своем веку я видел много хорошего и много плохого. Теперь я стар. Как бы сердцу не молодиться, а телу не обновиться. А хочется, сынок, как хочется, чтобы оно обновилось. Жизнь-то нынче совсем не та, что была при моей молодости. Где ты сейчас увидишь, чтобы дети горцев с голыми пупами шлялись по аулу, а взрослые мужчины из-за куска хлеба скитались по чужим краям, сахаром лакомились только на свадьбах?.. Ты бы лучше сказал, как сделать жизнь еще краше, чтобы человек жил долго и бодро. Вот до тебя здесь читал лекцию доктор, дай аллах ему

¹ Халам-балам — всякая-всячина, вздор, чепуха.

² Поговорка.

здоровья. Много хороших слов говорил он, а хорошее слово — пища для души. Почему вредно пить водку, особенно молодому? Молодой и без вина пьян, а напьется, так совсем голову потеряет, натворит беду. Потому-то и говорили блаженной памяти наши деды-прадеды: «Если бык опасен спереди, осел сзади, то пьяный человек опасен со всех сторон...»

— Хватит, дедушка! — страдальчески сморщив лицо, резко перебил лектор Азиза. — То, что вы говорите, к теме моей лекции не относится. Садитесь и не мешайте людям слушать!

Дедушка Азиз хотел дать ему еще несколько мудрых советов, но с досадой махнув рукой, сел на место. Он решил до конца лекции не проронить ни слова, какой бы вздор не нес юноша.

Когда лектор, коротко «ознакомив» присутствующих с эволюционным учением Дарвина о происхождении видов, тут же, без всякого перехода заявил, что наши далекие предки произошли не от так называемых пра-родителей Адама и Евы, как утверждается в библии и коране, а от... обезьяны, старики были поражены в самое сердце. А дедушка Азиз, вопреки своему решению, уже собирался было вступить опять в горячую полемику с лектором, его опередила одна старуха, сидевшая рядом с Сафаром. Она, видно, сочла слова юноши об обезьяне за осквернение памяти своих усопших предков, поэтому крайне возмутилась. Вскочив с места, она, как рассерженный гусь, вытянула жилистую худую шею и уничтожающим взглядом окидывая юношу, прошамкала беззубым ртом:

— Шам ты обежяна, шын обжяны! Каркаешь тут што попало!..

И продолжая ворчать и браниться, демонстративно покинула зал.

После лекции Азиз сразу поспешил домой. Все уже спали, кроме старухи, которая терпеливо ждала возвращения мужа, чтобы подать ему ужин. Увидев жену, Азиз, против обыкновения, приветливо и ласково улыбнулся ей.

— Валлах, жена, зря я на этот раз не послушался тебя, — с сожалением проговорил он и, строго нахмутив седые брови, добавил: — Чем такой хабар, который мы только что слышали в клубе, твой хинкал в тысячу раз лучше. Подавай его!..



-э-эх, бабка, будь ты трижды неладна!.. А еще говорят: «Уваж-ж-жа-ай, мол, их, стариков, почита-а-ай, склоня-яй свою голову перед ними!..»

— А что она сделала тебе плохого, эта бабка?

— Что сделала?! Хуже, чем разбойник с большой дороги! Без ножа зарезала, без ружья убила! Вот что сделала!..

Понимаете, наша контора «Заготрогатскот», где я работаю заведующим ветеринарной службой, построила на берегу моря красивый десятиквартирный дом со всеми удобствами. И в каждой квартире по два балкона: один выходит на море, другой — в парк, где по вечерам играет оркестр. Словом, не дом, а мечта. Скоро его должны заселить. Но как бы я ни мечтал, попасть в этот дом у меня было столько же шансов, сколько у грешника войти в рай. У меня есть квартира из двух комнат, правда, без удобств. Да и семья у меня — я да жена. Детей у нас, слава богу, нет и не предвидится. Живем для себя. Положа руку на сердце скажу: зачем современному человеку дети?.. Они только мешают ему жить в свое полное удовольствие... Но, как подумаю, что не я, кто-то другой будет жить в этом доме, — меня сразу бросает в жар. Если уж на то пошло, что мне до тех наших работников, которые вовсе не имеют жилья. Всякая рука к себе загребает. Как говорится: «И пророк за свою голову молится».

Я долго думал, мучился: что бы такое предпринять, чтобы влезть в этот дом. Но ничего путного не мог придумать. Как-никак хоть и называется наша контора «Заготрогатскот», но руководят ею не быки и коровы, а люди, понимающие, что к чему. Я готов был уже взвыть от досады и отчаяния, когда жена, разделявшая вместе со мной все мои переживания и тревоги, неожиданно под-сказала мне самую верную мысль.

— Слушай, — говорит она, — у тебя, кажется, в селе живет столетняя бабка?..

— Правда, живет! — радостно крикнул я и бросился обнимать жену. — Вот это идея!..

Честное слово не вру: как только я вспомнил о своей бабке, меня вдруг охватило такое волнение, такая нежность и такая тоска по ней, что вижу: без нее я, как рыба без воды, и часу прожить не смогу. Не смогу — и все! Вот что значит родная кровь! Я чуть не заплакал от жалости, представив себе горькую участь моей бабушки. Ведь она, бедная, как круглая сирота, одна-одинешенька: ни мужа, ни сыновей, ни дочерей у нее нету, один я. И живет моя бабушка, можно сказать, у чужих — у сестры, тогда как у нее есть прямой потомок — я, родной внук, черт меня побери!

Недолго думая, я в тот же день помчался в село, чтобы привезти бабушку в город жить с нами в новой квартире. Пусть, думаю, теперь руководители нашей конторы «Заготрогатскот» посмеют не дать мне квартиру в новом доме. Таких старожилов Земли, как моя столетняя бабушка, ученые на учет берут, носят с ними как курица с яйцом. Они словно исторические памятники далекого прошлого находятся под особой охраной государства. Кроме того, бабушка—мать погибшего на войне партизана, то есть моего родного дяди.

Как бы там ни было, я был уверен: если бабуля будет со мной, ордер на новую, четырехкомнатную квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам весело гремит оркестр, у меня в кармане. Но теперь меня беспокоило другое: жива ли бабушка? Не скрою: я давно не видел ее и ничего о ней не слышал. Среди городской суеты и будничных забот я, грешным делом, забывал о ней, не справлялся о ее здоровье.

Но опасение мое, к счастью, оказалось напрасным. К своей несказанной радости, я застал бабусю живой и здоровой. Да и она, моя бедная старушка, была рада-радехонька встрече со мной — своим единственным внуком.

За те десять лет, что я ее не видел, представьте себе, она нисколько не изменилась. Такая же маленькая, сухонькая и шустрая. И такой же у нее кальян с аршинным чубуком, который она редко выпускает изо рта. Несмотря на свой древний возраст, она, как это не удивительно, сохранила острое зрение и хороший слух. Единственная перемена, которую я в ней заметил, это то, что бабушка, как мне показалось, стала еще меньше ростом, как бы сократилась.

Сначала она и слышать не хотела о переезде в го-

род, чем меня, сами можете представить, напугала здорово. Потом, когда я ласково обнял бабуся за плечи и шутливо пригрозил, что если она добровольно не захочет поехать со мной, то я ее непременно похищу, как в свое время поступил мой дед, она расчувствовалась, прослезилась и в конце-концов согласилась.

На другой день я на машине привез ее в город. Мы с женой сразу начали кружиться вокруг бабки, как мотыльки вокруг свечи, от которой исходит свет и тепло. Мы из кожи лезли, чтобы создать праздничную атмосферу в доме, угодить ей во всем. Чтобы сделать ей приятное, я даже в тот вечер повел ее в театр. Купил два билета в первом ряду, чтобы ей хорошо было видно и слышно. Но сейчас я каюсь, ох как каюсь, наверно, всю жизнь буду локти кусать, что допустил такую оплошность. Кто знал, что бабка в театре выкинет такой номер, оё-ёй!..

В тот вечер в театре показывали какую-то пьесу о том, как советские партизаны в годы Великой Отечественной войны боролись в тылу врага. Бабушка, задрав худой морщинистый подбородок, чинно сидела на своем месте и внимательно следила за ходом спектакля. Видно, ей было интересно. Все вроде было хорошо, пока два вооруженных фашиста не втащили в свой штаб пленного нашего партизана с забинтованной головой и связанными за спиной руками. Сначала бабушка только беспокойно ерзала на стуле и вслух ругала фашистов на чем свет стоит. Но когда немецкий офицер, разъяренный упорным молчанием пленного, приставил к его груди пистолет, бабушку мою будто вихрем с места сорвало. В одно мгновение на сцену полетела резиновая калоша, облепленная грязью, и угодила прямо в гладко выбритую надменную и свирепую физиономию фашиста.

— Не смей, душман проклятый! — топая в ярости ногами, срывающимся голосом крикнула на весь зал бабушка. — Иначе я тебя, свинью поганую!.. — И разойдясь вовсю, бабушка дрожащей от волнения и возмущения рукой потянулась тут же за второй калошей. Вид у моей бабки был такой грозный, что, окажись в эту самую минуту у нее под рукой вместо калоши бомба, она, мне кажется, не колеблясь, бросила бы в немецкого офицера.

Все это произошло так неожиданно и быстро, что я не успел во время спохватиться и удержать разбушевавшуюся старуху. Под недовольные возгласы одних, требо-

вавших «наказать хулигана и дебошира!», веселый хохот и пронзительные свисты других, я, не мешкая, схватил бабушку за руку и силой поволокнул ее к выходу с одной калошей на ноге. Но она все еще продолжала бешевать, кричать, угрожающе размахивать сжатым кулачком, всячески порываясь вырваться у меня из рук. Только на улице она вдруг сразу смолкла, утихомирилась, но шла, как в воду опущенная.

Мне, конечно, как человеку культурному и порядочному, было очень стыдно за бабкину дикую, скандальную выходку. Я был возмущен. И я принялся безжалостно распекать ее, стыдить. Что делать! Хоть и старый человек, но надо воспитывать, выколачивать, как говорится, дурь из головы. Она слушала меня, низко опустив голову, всю дорогу угрюмо молчала и тихо всхлипывала, краем платка украдкой вытирая слезы: видно, мои слова пробрались к ней как следует.

На следующий день я сочинил большое заявление на имя администрации и профсоюзной организации «Заготрогатскот». Ссылаясь на то, что со мной живет моя столетняя бабка, мать партизана, замученного фашистами, я требовал, чтобы мне в первую очередь предоставили четырехкомнатную секцию в новом доме.

Вернулся я в тот день с работы как все равно со свадьбы в самом веселом приподнятом настроении. Я уже представлял нашу жизнь с женой в новой квартире, видел, как мы с ней под звуки оркестра, играющего в парке, обнявшись и прильнув щекой к щеке, танцуем вальс на нашем просторном балконе. Но, придя домой, я был очень удивлен, застав жену в сильном расстройстве, с красными воспаленными глазами. Стекая с накрашенных ресниц, по щекам ее катились черные слезы. Я сперва думал, что жена плачет из-за бабки. Ее пребывание у нас ей, конечно, неприятно, в тягость, доставляет лишние хлопоты. А я, как порядочный человек и настоящий муж, жалею свою жену. И это естественно. Как женщина она мне нравится; кроме того, жена моя приносит домой денег больше, чем я: она заведует дамским салоном в большой парикмахерской.

Я, конечно, сделал вид, что все это пустяки. Ласково улыбнувшись жене, я тихо, чтобы бабка в другой комнате не слышала нас (я не сомневался в том, что она там или дремлет, как курица на насесте, или сосет свой кальян, наполняя комнатку едким табачным дымом), про-

шептал ей на ушко, украшенное изящной бриллиантовой серьгой:

— Моя дорогая, потерпи еще немножечко, вселимся в добрый час в новую квартиру, а потом, а по-о-том, вежливенько выпроводим бабуку обратно в село, к сестре. Ведь она все-таки ближе ей, чем ты — чужой человек, тем более, как я вижу, ей трудно привыкнуть к нашему городскому образу жизни.

А жена с внезапно прорвавшимся громким рыданием отвечает:

— В том-то и дело — уехала-а-а!..

— Как уехала?!.. — Мне показалось, что почва ускользает у меня из-под ног и я неудержимо качусь в пропасть. — И ты не могла удержать ее?!..

Жена, глотая черные слезы (о, как они меня сейчас раздражали!), с убитым видом покачала головой:

— Нет, не смогла. Я ее и так и эдак просила, умоляла, чтобы она немного осталась, пожила у нас, иначе не видать нам четырехкомнатной квартиры в новом доме...

— А она что? Что она ответила?!

— Валлах, говорит, раз такое дело, я тем более, говорит, не останусь у вас ни одного дня. Мне, говорит, у вас не нравится, как будто в тюрьме нахожусь, и очень жалею, говорит, что приехала... Если, говорит, вам с мужем при вашей бездетности обязательно хочется четырехкомнатную квартиру, приезжайте жить к нам в селение. Там его отцовский дом пустует. А хороший сын, говорит, не должен дать погаснуть огню в отцовском очаге.

Одним словом, наша надежда получить новую квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам играет музыка, лопнула, как мыльный пузырь. И все из-за глупого каприза моей сумасбродной бабушки, пропади она пропадом! А еще говорят: «Уваж-ж-жа-а-ай, мол, их, стариков! Прочита-а-ай!..»

КАК Я ВОСКРЕС



умер, но умер не наяву, а во сне, и поэтому видел, чувствовал все, что происходило со мной и вокруг меня.

Едва неумолимый ангел смерти Азраил вместе с последним вздохом отнял мою

душу, меня тот час же раздели догола и убрали с кровати (покойнику, мол, незачем валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол (теперь, дескать, все равно никакая хворь к нему не пристанет). Угол, где я лежал, занавесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже покойник, растянуться нагишом на виду у всех). Потом меня тщательно обмыли горячей водой и завернули в белый чистый саван (видимо, на тот свет без предварительной «санобработки» не принимают).

После этих и других процедур, предусмотренных рядом (знаете, иногда живому легче попасть к начальнику-бюрократу, чем бедному покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки и быстро, точно желая поскорее избавиться от меня, понесли на кладбище.

Впереди процессии шли мои сестры, тетки. Жена с детьми осталась дома (она от горя сама была едва живая).

Все мои родственницы, прыгая рядом с носилками, как это водится у нас, царапали себе лицо, хором кричали «ай-вай, изар!» и рвали на себе волосы. Выше всех прыгала, несмотря на свой преклонный возраст, и громче всех причитала моя теща: пусть, мол, люди знают, как тяжело переживает она смерть своего зятя. Глядя на нее, я невольно вспомнил с горечью, как она постоянно совала свой нос в нашу личную жизнь, ела меня поедом. Теща не могла простить мне то, что я, молчаливый, застенчивый и невзрачный человек, совсем не из того сорта «доблестных» мужчин, которые на ходу подметки рвут, создают все условия для жены, чтобы она зажила барыней, стал мужем ее дочери, достойной якобы лучшей доли.

Я смотрел на все происходящее совершенно равнодушно, с полным безразличием, как полагается покойнику. Но когда со своих носилок, мерно покачивающихся на плечах согласно шагающих друзей, бросил прощальный взгляд на родной город, освещенный лучами предзакатного солнца, меня охватила невыразимая тоска. Он, этот город, был бесконечно дорог мне и мил. Я здесь вырос, познал волнение первой любви. Город из года в год рос и хорошел на моих глазах. Многие здания в нем были выстроены при моем участии (при жизни я, помнится, был бригадиром строительной бри-

гады), и я смотрел на них, как смотрит старый садовник на цветущие деревья, посаженные его заботливыми руками.

Горькая, как полынь, жгучая, как молния, смысл о том, что я навеки вечные расstaюсь со своим городом, детьми, женой и друзьями, что умираю в расцвете сил, перевернула мою душу, все во мне восстало. Мне пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы взять себя в руки и подавить эти земные, суетные мысли, покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя тише воды, ниже травы.

Похоронная процессия наконец вступила на кладбище. Носилки с моими бренными останками поставили у свежeverытой могилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались безмолвные надгробные камни и безымянные холмики. Их вид навевал на меня тягостные думы, надрывая мне сердце. Невольно приходили на память печальные строки величайшего из поэтов—Омара Хайяма:

Друг, не тужи о том, чего уже нет.
Нам светит дня сегодняшнего свет.
Всем завтра предстоит нам путь безвестный,
Вслед ушедшим за семь тысяч лет¹.

Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму, и мир с голубым небом, горячим солнцем и мерцающими звездами навсегда захлопнется передо мной. Но в это время чей-то голос объявил об открытии траурного митинга. От имени коллектива и профсоюзной организации строительно-монтажного управления дали слово бригадиру второй строительной бригады, с которой мы соревновались, старому Дада Бадаеву.

Боль моя немного смягчилась, когда я услышал об этом. Я не сомневался в том, что этот седой человек с задушевным голосом и добрыми глазами скажет обо мне людям сейчас, когда они провожают меня в последний путь, несколько сердечных слов.

Но какой же я получил удар, когда почтенный Дада Бадаев, деловито покашляв в кулачок, вытащил из кармана напечатанный на машинке листок и, запинаясь, начал читать, впиваясь близорукими глазами в текст;

¹ Перевод Б. Державина.

— То-ва-а-рищи! За последние годы у нас широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство... Наш боевой девиз — строить быстро, дешево и высококачественно, с честью выполнять взятые обязательства, не допускать простоев и штурмовщины, спячки и горячки...

Дальше оратор сообщил о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул нескольких передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне сказал, что я «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы...»

Старик и сам, видно, чувствовал, что говорит не совсем то. Он поминутно дергал с досады головой, хмурился, неловко кряхтел, но продолжал монотонно читать речь, видимо, написанную для него каким-то административным сухарем. Заканчивая свое выступление, он на мгновение повернулся в мою сторону, но боясь сбиться с текста и сказать «лишнее», продолжал тем же монотонным голосом:

— Дорогой товарищ Хизгил! Пусть четырехэтажный сорококвартирный дом со всеми коммунальными удобствами, который мы строили при твоём участии в тупике Шайтан-базар и который мы вскоре должны сдать в эксплуатацию после устранения дефектов, обнаруженных приемочной комиссией, будет памятником тебе за твой ударный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, дорогой товарищ!..

Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушая приличествующую моменту скорбь, они — о ужас! — весело улыбались. А один большеголовый, пучеглазый толстяк без всякого стеснения хихикал, будто его щекотали.

Глядя на все это, от досады и возмущения я чуть не повернулся на своих носилках. «Ну зачем доброму Дада Бадаеву нужно было выступать с этим производственным отчетным докладом на моих похоронах? — сокрушался я. — Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется нескольких сердечных слов? Неужели я только и делал в жизни, что «ловко орудовал мастерком и свободной левой рукой?...» Разве я не был любящим мужем, хорошим отцом, верным другом?.. Разве не было у меня радо-

стей и горестей, мечтаний и стремлений?!.. Почему об этом не сказали ни слова?..

Толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а, запрокинув голову, без зазрения совести гоготал вовсю, точно жизнерадостный малыш в цирке при выступлении клоуна.

Вдруг, как это ни странно, и мне самому стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче я начал хохотать. Тело мое содрогалось от разбиравшего меня смеха. Как я ни старался сдержаться, вести себя прилично, как подобает покойнику в его положении, ничего не выходило из этого. Я боялся, как бы мои друзья, собравшиеся на кладбище, не дай бог, не подумали, что покойник смеется над ними, живыми. Еще чего доброго поругают, если не вслух, то про себя скажут: экое, дескать, безобразие, свинство и прочее!..

От моего громкого смеха черное покрывало стало колыхаться как листья от дуновения ветра. К изумлению всех, я вдруг ожил и, сбросив с себя мрачное покрывало, вскочил на ноги...

Я слышал, что смех излечивает от многих болезней. А на этот раз смех избавил меня от самой злой и страшной штуки — смерти.

Проснувшись в то утро, я очень обрадовался, что жив, но, вспомнив свои похороны, на всякий случай предупредил жену:

— Знаешь, дорогая, если я умру раньше тебя, не позволяй устраивать митинги у моей могилы. — Но потом, подумав немного, добавил: — Хотя, может, так даже лучше: вдруг воскресну, как это было со мной во сне. Как говорится, чем чёрт не шутит!..

ТЕЛЕФОН



Чёрт меня дернул поставить у себя дома телефон. Зачем я вбил себе в голову, что он мне необходим? Ведь обходился же я, слава богу, без него все эти годы. И ничего. А вот с тех пор как появился телефон,

у меня одни неприятности, я вконец извелся, потерял покой, чуть не заработал удар.

А впрочем, так мне и надо. Говорили же добрые люди из конторы связи... Особенно один там пожилой, круглый, с удивительно спокойным и приятным голосом, видимо, самый главный:

— Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело писать и писать, а не растрачивать свое драгоценное время на телефонные хабары-разговоры.

Честное слово, говорил. А я: «Поставьте мне телефон — никаких гвоздей! Дом телефонизирован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?»

Мой довод, видимо, сразил самого главного, и мне через несколько дней поставили телефон, такой модный, красивый, блестящий, хоть гладь рукой, как живого. Одно лишь огорчало меня: телефон не подавал никаких признаков жизни. Через неделю я взял трубку (в квартире соседа, разумеется), позвонил самому главному и робко пожаловался.

— Телефон вам не патефон, чтобы он запел сразу... — ласково упрекнул меня в ответ обладатель невозмутимого приятного голоса.

— Ведь уже целая неделя, как его поставили, а он молчит...

— Ну пусть молчит, хлеба он у вас не просит.

— Это верно, но...

— Простите, дорогой товарищ... У нас нет пока свободных номеров! — и положил трубку.

Спустя три месяца я опять позвонил самому главному (опять из квартиры соседа).

— Телефон молчит...

— Пусть молчит, хлеба он у вас не просит.

— Зачем тогда мне поставили телефон?

— Вы сами просили...

— Правильно, просил, но мне нужен телефон, который говорит, а не... В конце-концов, фельетон, что ли, о вас писать?! — разозлился я.

С минуту в трубке слышалось напряженное сопение, потом многозначительное предупреждение:

— Как вам угодно! Но фельетон — это не телефон!..

И разговор оборвался. На другой день у меня на столе вдруг затрещал телефон. Я с радостью взял трубку, предвкушая удовольствие от разговора по «собственному телефону» с другом, товарищем или просто знакомой женщиной.

— Алло! Алло! Как там самочувствие моей жены?
— слышу вдруг из трубки.

— Что, что?!

— Я спрашиваю, как самочувствие моей жены? — настойчиво повторил мужской голос.

— Откуда я знаю! — вспылил я. — И какое я имею отношение к вашей жене или она ко мне?.. Вообще, почему вы звоните мне?

— Простите, это разве не родильный дом? Я разве не с дежурным врачом разговариваю? — извиняющимся голосом произнес незнакомец.

— Нет, квартира.

— Ах, тогда, пожалуйста, извините!

Я положил трубку, вновь взялся за перо, но через минуту опять раздался звонок, а в трубке — тот же голос:

— Скажите, пожалуйста, как самочувствие моей жены?

Я, не произнося ни слова, в сердцах бросил трубку. Немного погодя — опять звонок, опять тот же голос и опять тот же самый вопрос. Я схватился за сердце и глубоко страдающим тоном взмолился:

— Дорогой мой, я же сказал вам, что это не родильный дом, а квартира, ква-а-ртира-а-а! Не туда звоните.

— А какой номер вашего телефона?

Я назвал. Но незнакомец словно взбесился, услышав номер.

— Как вам не стыдно?! Зачем врете?! — заорал он. — Я и вчера и позавчера звонил по этому самому номеру, и мне все время отвечали, как положено... Вы просто нахал...

Я швырнул трубку, взял ручку, но уже не мог сосредоточиться. Мысли мои разлетелись в разные стороны, как потревоженные пчелы из улья, и теперь не желали возвращаться обратно. Дрожащими пальцами я вынул из открытой пачки сигарету, закурил, но тут мой телефон вновь заверещал. Я поднял трубку.

— Скажите, пожалуйста, кто у меня родился: мальчик или девочка? — спрашивал уже другой, ласковый, но тоже нетерпеливый голос. — Я целую неделю был на кутане, ничего не знаю...

Я понял, что опять звонят в родильный дом.

— А кого бы вы хотели? — усталым голосом спросил я.

— Мне все равно, но желательно, конечно, мальчика. У меня две девочки-двойняшки.

— У вас мальчик, — произнес я и тут же положил трубку: по крайней мере теперь не скоро позвонит.

Не прошло и пяти минут — о боже! — опять звонок.

— Вы не скажите: жена моя разрешилась? А то мы все дома волнуемся, сидим как на иголках — такое дело: сами понимаете. — Тот, кто спрашивал, назвал фамилию.

Я с полминуты молчал, размышляя: если сказать, что не родила, будет звонить опять и опять, поэтому ответил, что все благополучно, она чувствует себя хорошо, передает привет, целует и прочее.

— Ай спасибо! А кто у нас родился — не скажите?

— А кого бы вы хотели?

— Я? Я хочу дочку, мечтаю!

— Ваша мечта сбылась — у вас дочь, поздравляю! — и сразу повесил трубку.

Я взял с кровати подушку, накрыл ею телефон и больше к нему не подходил. Но самая большая неприятность, как оказалось, ждала меня впереди.

На следующий день, несмотря на то, что у меня есть звонок, кто-то с такой яростью вдруг начал бить ногой в мою дверь, что она чуть не сорвалась с петель. Я удивленный и возмущенный кинулся к двери, открыл ее. У порога на лестничной клетке стоял совершенно незнакомый мне мужчина, с тремя белыми свертками на руках. Два свертка он держал на правой руке, а один — на левой. Незнакомец был коренастый мужчина средних лет с суровым, обветренным лицом, черными усами, лихо закрученными кончиками вверх. Одет он был в пиджак, брюки галифе с широкими клиньями и блестящие хромовые сапоги. Голову незнакомца украшала серебристая каракулевая папаха с широким бархатным верхом.

— Я узнал, это вы, оказывается, вчера ответили мне по телефону, что у меня родился сын! — окинул он меня недобрый, почти враждебным взглядом.

Я сразу догадался, что это тот самый, который говорил, что был целую неделю на кутане, у него две девочки-двойняшки...

— Да, я...

— А почему вы мне наврали? Ведь у меня родилась тройня — и все три девочки! Вот они у меня на руках.

— Пусть так, но причем тут я? Разве я виноват?..

— Я что ли виноват, — резко оборвал он меня, — если вы сообщили неправду... Кто вас заставлял?

Я чувствовал свою вину и решил благоразумно промолчать. Но тот, крича и бранясь, ставил мне в вину такое, чего у меня в мыслях не было.

— Вы хотели разыграть меня, посмеяться?! Где ваша совесть?! — Он вздохнул и, бережно поправив на руках свертки, смерил меня с ног до головы злым, ненавидящим взглядом. — Подшутив надо мной, вы тем самым нанесли оскорбление не только мне, как отцу, но и моим новорожденным девочкам, всему женскому полу, если хотите знать...

— Слушайте, я совсем не имел такого намерения, — попытался я успокоить его, но он, не слушая меня, еще больше распаляясь, продолжал осыпать меня упреками.

— У меня на руках три будущие горянки — три! — Он гордо вскинул голову. — Сейчас горянка — инженер, ученый, министр, о горянках книги пишут, а женщинам, родившим десять детей, если даже все они девочки, вешают на грудь звезду матери-героини. Вот что! А вы просто отсталый тип и пустой насмешник. Вижу: телефон завели, мебель заграничную, а мозги — с плесенью!..

Пока отец новорожденных девочек поносил меня на чем свет стоит, я вдруг с ужасом заметил поднимающуюся по нашей лестнице незнакомую женщину с сердитым лицом. «Может, это жена того самого мужчины, которого я поздравил с рождением дочери, а у них, наверное, родился сын или ребенок, не дай бог, скончался, не успев появиться на свет?..» — с тревогой подумал я и тут же быстро захлопнул дверь. Взволнованный и расстроенный вконец я подошел к телефону и позвонил в контору связи самому главному.

— Слушайте, почему мне все время звонят и спрашивают родильный дом?

— А-а-а! — услышал я его веселое восклицание и сдержанный смех. — Это очень просто: мы дали вам номер телефона, принадлежавший роддому. У них несколько телефонов. Ничего, обойдутся без одного. А вы не волнуйтесь.

— Как не волноваться, люди же не знают об этом, звонят без конца... У меня из-за этого большие неприятности.

— Да, вполне возможно, — согласился самый главный, — будут и еще звонить, — «успокоил» он меня.

— До каких пор? — с тревогой спросил я его.

— Пока не издадут новую абонементную книжку и не укажут точно, у кого какой номер...

— А скоро ее издадут?

— Наверно, нет, судя по тому, что последняя абонементная книжка по нашему городу была издана пять лет назад.

Услышав это, я в отчаянии схватился за голову, взмолился:

— Тогда, дайте мне, ради бога, другой номер.

— Не можем!

Я вышел из себя, стал грозить, что перережу провод, выброшу телефон в мусорный ящик... На это самый главный ответил мне своим обычным невозмутимым, приятным голосом:

— Ка-а-ак вам угодно! Но писать о нас фельетон из-за того, что вам не установили телефон, у вас нет оснований. Всего наилучшего!..

МАСТЕР КРАСОТЫ



Знаете, каждый хочет быть красивым, — поднося бритву к моему намыленному горлу, убежденно произнес парикмахер.

У него мощная круглая бритая голова, отливающая синевой, неторопливые, но уверенные движения. На широком смуглом энергичном лице торчат, словно пучки прутьев, длинные прямые усы. Когда он говорит, его левый ус то и дело шевелится и вздрагивает, а большие темно-карие глаза смотрят на клиента с какой-то затаенной печалью.

— Так оно и должно быть, — не отрываясь от дела, продолжает добровольно просвещать меня уста¹, — на то он и есть человек, как говорится, венец природы, чтобы любить и ценить красоту. Это, извините за выражение, козлу или верблюду все равно, как они выглядят. Вот взять, к примеру, того же самого верблюда. От

¹ Мастер.

того, что у него шея кривая или горб торчит на спине, он, думаете, хоть сколько-нибудь чувствует себя несчастным? Наоборот, если вы заметили, верблюд держится даже очень высокомерно, как чванливый лорд или высокогородный бек. Если хотите знать: верблюд настолько безразличен к тому, что в его фигуре все криво и косо, что на этот счет существует даже пословица. Спросили у верблюда: «Почему у тебя шея кривая?» Он: «А что у меня прямое, чтобы шея была ровная?» А вот у моей супруги, простите за сравнение, к слову сказать, — в голосе парикмахера сразу прозвучали грустные нотки, — на мою беду на кончике носа выскочила маленькая бородавка, ну величиною с комарик или «божью коровку». Теперь из-за нее, проклятой, представьте себе, нет никакого спокойствия: жена вечно хнычет, ворчит, по пустякам раздражается, хоть убегай из дому. Видите ли, она, эта злополучная бородавка, портит ей красоту...

На минуту парикмахер перестал двигать бритвой, задумчиво опустил глаза и шумно вздохнул, а на лицо его легла тень. Должно быть, ему в эту минуту представился женин нос... Я от души пожалел его.

— Не нужна красота еще знаете кому? — продолжал философствовать мой уста, но без прежней грусти в голосе: — Не про нас с вами будь сказано, она, красота, не нужна еще покойнику, как не нужны ему освещение, отопление, водоснабжение, канализация и прочие, так сказать, коммунальные удобства, которые, к сожалению, у нас в доме очень часто портятся, выходят из строя...

Меня стал разбирать смех.

— Смеяться, гражданин, во время бритья нельзя, категорически!.. — нахмурив черные лохматые брови, строго произнес он с таким выражением, с каким смотрят старшие на недозволенные выходки подростков. — Пока вы сидите у меня в кресле, я отвечаю за вашу жизнь, как хирург за жизнь своего пациента на операционном столе... Кроме того, гражданин, — мастер укоризненно покачал бритой круглой головой, — ничего, по-моему, смешного нет в том, что я сейчас вам рассказываю.

Справа от нас на широком низком подоконнике стояла маленькая зеленая елка, украшенная разноцветными игрушками. В ярком свете электрических ламп они таинственно блестели, вспыхивая всеми цветами радуги. За окном в зимних сумерках редкими крупными пушис-

тыми хлопьями лениво падал снег, спешили нагруженные покупками прохожие — был канун Нового года.

Когда я перестал смеяться, парикмахер, как ни в чем не бывало, заговорил вновь:

— Вот к нам ходят клиенты: мужчины, женщины, молодые, пожилые. А почему они ходят? Чтобы выглядеть красивыми. А как же иначе! Вот, попробуй, к примеру, вас не брить, не стричь три-четыре месяца, родная жена и та, извините, испугается. Правильно я говорю?

Парикмахер отодвинулся на полшага и в ожидании ответа вопросительно уставился на меня. В знак согласия я неопределенно хмыкнул и слегка кивнул головой.

— То-то! — довольно воскликнул он, пошевелив усами, и добавил с нескрываемой гордостью за свою профессию — но красоту тоже надо наводить умеючи. Знаете, сделать человеку хорошую прическу, аккуратно подстричь волосы, это вам, извините, не траву в поле косить или шерсть с барана снять. Вот расскажу вам про такой случай. Приходит ко мне одна пожилая и очень полная дама и просит, чтобы я сделал ей прическу «офицеры, за мной», а на лбу — кокетливые завитушки. Я внимательно посмотрел на свою клиентку, вижу, такая прическа не для ее возраста и комплекции. Мне, конечно, ничего не стоило взять да исполнить ее желание. Но брать деньги с человека и потом еще уродовать его, я, как честный гражданин и член профсоюза коммунальных работников, не могу и не имею права. Это, знаете, — брак, хуже, чем брак на производстве. Я имею дело с живыми людьми, а, извините, не с болванками и кастрюлями. «Мадам, — вежливо говорю ей, галантно приложив руки к сердцу, — такая прическа, которую вы хотите, подойдет только молоденьким...» Но дама не дала мне договорить, с жаром схватила меня за руку и говорит: «Вот, вот, сделайте меня, пожалуйста, молоденькой!..»

Парикмахер вздохнул и грустно улыбнулся.

— Не без труда, гражданин, я убедил ее, что такая прическа будет ей не к лицу, и предложил другую, подходящую для ее возраста. Она, правда, не очень охотно, но все же согласилась.

Парикмахер прервал свою речь и, слегка прихрамывая, исчез за серой полотняной перегородкой. Через минуту он вынырнул оттуда с мокрой, горячей салфеткой, от которой валил густой пар, и сделал мне ком-

пресс. Покончив с этой процедурой, он, вооружившись ножницами и металлическим гребешком, начал подправлять мои усы.

— Вы, наверно, слушаете меня, а про себя думаете: зачем, мол, я вам все это рассказываю? — словно угадав мои мысли, многозначительно улыбнулся уста, возвращаясь опять к теме своего разговора. — Я это говорю к тому, что среди нас, парикмахеро^в, тоже есть свои, так сказать, «маяки», которые с любовью, творчески подходят к делу. Но почему-то нашего брата никто надлежащим образом не ценит.

— Как не ценит? — спросил я. — Разве вам плохо платят за ваш труд?

Парикмахер поморщился, словно проглотил кислую алычу.

— Да разве все дело только в оплате, дорогой товарищ? — с укоризной произнес он. — Есть поговорка: «Не нужен мне твой плов, нужно мне твое внимание». Доброе слово иногда ценнее дорогой монеты... А вот я сейчас задам вам один вопрос: вам известно, чтобы кто-нибудь из наших писателей сделал героем своего рассказа, поэмы или романа нашего брата парикмахера? Нет. А ведь никто из них без наших услуг не обходится. Разве не обидно?..

Рассказчик на минуту умолк и, продолжая стрекотать ножницами перед моим носом, подправлял усы. Потом тем же обиженным тоном продолжил:

— Вот я знаю одного писателя, он земляком мне приходится, мы с ним из одного села. Он часто пишет о колхозниках, а сам-то в сельском хозяйстве разбирается так же, как я в китайской грамоте.

— Не может быть, — попытался я заступиться за незнакомого мне собрата по перу.

— Вы послушайте дальше, — привычно дергая левым усом, проговорил уста. — Этот самый писатель, мой земляк, о котором я вам говорю, почти ребенком выехал из села и все время живет в каком-то большом городе. Ездит он туда, в свое село, от случая к случаю, раз в пять-шесть лет, и то на свадьбу или поминки. Мне кажется, что он сейчас с трудом отличает камыш от кукурузы, осоку от риса. Надо полагать, по меньшей мере раз-то в неделю он ходит к парикмахеру? А вот писать о нем ничего не пишет. Я давно его не видел, но попадись он мне под руку, я ему такое устрою, такое... — в его го-

лосе прозвучали сердитые нотки, и он злорадно ухмыльнулся.

Я беспокойно заерзал в кресле.

— А что бы вы ему сделали?

— Что бы я ему сделал? То же самое, что сделал цирюльник с Моллой Насретдином, — с мстительной улыбкой на лице спокойно произнес он.

Я как-то слышал эту историю. Говорят, однажды Молла Насретдин пришел брить голову. Бритва у цирюльника оказалась очень тупой. Едва он проложил первую «борозду» на голове Моллы, тот весь скорчился от боли, на глазах выступили слезы. Цирюльник, желая развлечь разговором своего клиента, вежливо осведомился: «Сколько у вас братьев, Молла?» «Было пятеро, дорогой уста, — всхлипнул Молла, — но с той роковой минуты, как моя несчастная голова попала под твою бритву, считай, что осталось четверо...»

Я невольно стал внимательно разглядывать в зеркале усатое лицо своего собеседника и вдруг... похолодел от ужаса. Это был мой земляк. Это он говорил обо мне...

Салфетка, обернутая вокруг шеи, стала душить меня, точно петля. Я резким движением сорвал ее, вскочил с кресла и поспешно кинулся к вешалке. Схватив пальто и шапку я, от волнения едва не сбив с ног ошеломленного парикмахера, выбежал на улицу...

А ночью мне снились кошмары. Усатый парикмахер, размахивая тупой бритвой и прихрамывая, долго преследовал меня по открытой степи, залитой горячим летним солнцем. Вдруг, к своей несказанной радости, я увидел перед собой кукурузу, густую, словно дремучий лес. Принадлежала она колхозу, который не раз ругали в газете за получение низкого урожая этой культуры: сразу видно, что критика пошла ему на пользу. Я, не долго думая, решил укрыться здесь от своего преследователя, который хотел насильно сбрить мне бороду тупой бритвой. Но, немного придя в себя, я обнаружил, что это вовсе не кукуруза, а камыш. Мстительный парикмахер искал меня в камыше. По соседству с ним раскинулась ярко-зеленая рисовая плантация. Я незаметно бегом перебрался в нее. Но лишь изрядно поранив себе лицо и руки, я сообразил, что это вовсе не рис, а осока...

С трудом оторвавшись от парикмахера, я, потный, усталый, запыхавшийся, оказался у высокого орехового

дерева и с наслаждением растянулся в его прохладной тени, широко раскинув руки в стороны. Где-то в чаще дерева заливался неугомонный соловей. Забыв об опасности, которой только что избежал, я, растянув губы в широкую улыбку, стал с удовольствием слушать вдохновенного певца. Но в эту минуту один орех упал с дерева и прямо угодил мне в лоб. Прижав рукой ушибленное место, я проснулся. На подушке лежал игрушечный орех, который сорвался с новогодней елки, стоявшей у изголовья моей кровати. Вспомнив вчерашний случай, я решил, не откладывая в долгий ящик, написать рассказ о парикмахере и отдать этим дань глубокого уважения и признательности его древней, скромной, но очень нужной людям профессии, которая делает нас красивыми...

НЕВЕЗУЧИЙ

 то бы там не говорили, я верю в судьбу. Правильно говорят: что у тебя написано на роду, так оно и будет. Иначе, как изволите объяснить то, что один цветет и пахнет, жизнь для него, что называется, разлюли малина, сплошное везение, а на другого посмотришь, он хоть и не такой, который родился в рубашке, но все-таки наполовину счастлив. А вот я, прямо скажу, родился под несчастливой звездой. У меня в жизни одни обиды, неудачи, и неприятности. Вот взять хотя бы недавнее прошествие со мной. А чтобы вы поняли, о чем идет речь, придется рассказать все по порядку.

...У меня, как и у многих других в нашем городе, есть дача. Пока я сажал чубуки и деревца, занимался ее оборудованием, примерно этак года три-четыре, я вел, можно сказать, более-менее спокойную жизнь. Но с тех пор, как стал собирать виноград и давить вино, дача стала для меня сущим наказанием, божьей карой. Кому-то с пьяных глаз понравилось мое вино, и пошел слух среди моих сослуживцев (работаю я помощником бухгалтер в автотранспортной конторе), что у Гадаша (у меня то есть) не вино, а вроде райский напиток «зем-зем».

И это сразу обеспечило мне «популярность», привлекло повышенное внимание и интерес к моей скромной личности, особенно тех, которые понимают «толк» в хорошем вине, но которые раньше меня просто не замечали: ни тебе «салам алейкум», ни тебе «алейкум ассалам». Теперь от них, жаждущих испробовать моего «зем-зема», нет жизни, хоть караул кричи! Нередко они шумной компанией и без всякого предупреждения вторгаются ко мне домой среди ночи, порядочно нахлеставшись в ресторане или где-то.

— Эй-й-й, Гада-аш! Подавай сюда свой «зем-зем», хе-хе! — еще с порога кричат они хмельными голосами, будто пришли не в чужой дом, где все давно улеглись спать, а извините, в ночной кабак.

Я встаю (что делать!), бужу жену, велю ей подавать гостям на стол вино и закуски. Не выгонишь же из дому!

Коли пришли, свалились как снег на голову, так пейте уж сами, меня не трогайте. Нет, они и меня заставляют, принуждают. А я человек нездоровый, слабый. От долголетней сидячей работы я, извините, страдаю геммороем, у меня больная печень. Меня постоянно мучит изжога. Да и сон у меня очень чуткий, куриный. Стоит, например, моему соседу у себя через тонкую стену, разделяющую наши квартиры, громко храпнуть или чихнуть, я тут же вздрагиваю, как от выстрела, и уже не могу спать до утра.

— Ты, дорогой Гадаш, если рад нашему приходу, должен выпить с нами этот бокал. — Очень часто с такого провозглашения начинается тост за столом.

Чтобы мои гости, не дай бог, не подумали, что я не рад их приходу, я с принужденной улыбкой «бодро» чокаюсь с их дружно протянутыми в мою сторону бокалами. За первым тостом, как это водится, следуют другие.

— Ты, дорогой Гадаш, настоящий мужчина! А настоящие мужчины пьют до дна!

Я человек с намусом, горжусь своей принадлежностью к мужскому полу. Я не хочу да и не позволю, чтобы обо мне сказали, что я — не настоящий мужчина. Пусть лучше лопнет моя больная печень, изжога, как огонь прожжет все мои внутренности, чем я дам повод кому-нибудь подумать такое обо мне. Но сказать гостям: «Друзья любезные, если достоинство мужчины определялось бы его способностью поглощать винно-

водочные изделия, то самый заядлый пьяница и забулдыга сошел бы за самого «настоящего мужчину» — неудобно да и бесполезно. Поэтому я пью и этот бокал.

— Ну, дорогой Гадаш, пусть в твоём доме будет столько горя, слез, болезней и смертей, сколько капель вина останется в твоём и наших бокалах!..

Не скрою, я немного суеверен. Это осталось у меня ещё с детства. Покойные мои родители были людьми верующими и суеверными. Когда, например, по дороге встречаются мне две женщины, я никогда не решусь пройти между ними — вроде это дурная примета. Я обхожу их стороной, как норовистого коня со стороны хвоста, чтобы он вдруг не лягнул. И чтобы моя семья, мои дети, упаси бог, миновали все эти беды, напасти, которые призывает на их невинные головы мой пьяный сослуживец, я, собравшись с духом, до последней капли втягиваю в себя все содержимое бокала.

— Дорогой Гадаш, пусть не пьёт с нами тот, кто не любит нас!..

И человек, который произносит этот тост, здоровенный детина, механик автопарка, повелительно и почти угрожающе, точно сердитый, буйный бык, косится взглядом на мой стакан.

И я пью, уже в который раз, чтобы не подумали, что я не люблю их. Но эта «любовь» очень часто сразу после их ухода кончается для меня катастрофой. А не на шутку перепуганной и взволнованной жене приходится будить кого-нибудь из соседей, у кого есть телефон, и со слезами в голосе просить, чтобы срочно вызвали «скорую».

— Продай дачу! — пристает ко мне каждый раз жена, как только я начинаю приходить немного в себя после очередного приступа печени.—Ни к чему она нам. Загубишь себя, изведешь меня, дети наши останутся сиротами...

А знакомый, старый, но добрый и чудаковатый врач из «скорой помощи», вытаскивая шприц из моего бедра, тоже каждый раз в свою очередь грозит мне:

— Сколько раз я предупреждал вас, уважаемый Гадаш, воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя, возьмите себя в руки, иначе будем вынуждены насильно водворить вас в больницу, как, извините, неисправимого пьяницу.

Конечно, в моем положении лучше бы расстаться с

дачей, но... не могу. Дача стала для меня вроде как несчастная любовь, которую проклинаешь, но с которой не можешь расстаться. Да и шутка ли сказать: каждое деревце, каждый кустик здесь высажен и взлелеян моими руками. И когда я бываю на даче, моя душа молодеет, радуется. Я испытываю такое удивительное чувство, которое трудно передать словами: будто каждое дерево, каждый кустик знает и любит меня как родного, и, словно малые дети, ждут ласкового прикосновения моих рук, моего внимания, ведут со мной немой разговор, понятный только нам. Но поскольку жена этого не понимает, она мое упорное нежелание распрощаться с дачей начинает истолковывать по-своему, по-женски.

Дело в том, что соседка моя по даче — одинокая добрая женщина — вдова моих лет. И как добрые соседи нередко мы встречаемся (не прятаться же нам друг от друга), иногда вместе хабарничаем, оказываем различные мелкие услуги друг другу. Жена же моя вбила себе в голову, что именно из-за нее я не хочу расстаться с дачей. И я теперь как между молотом и наковальней: с одной стороны меня продолжают донимать назойливые поклонники моего злополучного «зем-зема», а с другой — жена своей глупой ревностью. Раньше, когда горец ревновал, точил кинжал, а когда жена ревновала, она точила язык. Клянусь вам, он острее любого кинжала, если даже этот кинжал сделан из прославленной кубачинской стали. И не дай вам бог попасть под его удары. Я-то знаю разящую силу обоюдоострого языка ревливой жены, аман-аман!..

И вот, во избежание семейных скандалов, я теперь не отваживаюсь идти на дачу один, без жены, если даже на даче у меня все горит прахом. Она сопровождает меня туда и обратно, как все равно конвоир безоружного пленного или арестованного. Это, конечно, меня очень возмущает, оскорбляет. Но опять: что делать?! Не разводиться же мне из-за этого с женой, будь она не ладна!

Говорят, в неудачника и палка стреляет, а у невезучего и лошадь в хлеву становится ослом. Так и у меня.

И вот однажды утром приезжаю на дачу (на этот раз без жены — у нее волдырь на языке), смотрю и глазам своим не верю: группа молодых людей с лопатами в руке без зазрения совести вырывает с корнем

кусты в моем винограднике. Я в не себя от ярости, кидаясь на них с поднятыми кулаками.

— Да что вы делаете, разбойники?!

— Полегче на поворотах, гражданин! Мы не разбойники, а студенты-практиканты! — отвечает мне недовольным начальственным баском один из них, высокий, в дорогой коричневой дубленке, блестящей ондатровой шапке, и, несмотря на свой юный возраст, такой важный и самоуверенный на вид, наверно, старший группы. Я, глядя на него, невольно подумал, что он, если не натворит чего-нибудь из ряда вон выходящего, то далеко пойдет, тем более, если у него еще стоит за спиной папаша из числа «уважаемых» людей...

— Плевать!!! — продолжая кипеть от негодования, как котел на сильном огне, ору я на них не своим голосом. — Мне какое дело, кто вы!

— Мы должны узнать, не болеют ли ваши кусты филлоксерой, — тем же недовольным сердитым тоном отвечает высокий.

— А это, что за черт?! — на этот раз больше удивленный, чем возмущенный, спрашиваю у него.

— Филлоксера? Это, дядя — чума, виноградная чума, — отвечает теперь другсй, какой-то белобрысый, тощий, очень скромно одетый парнишка с мигающими близорукими глазами, оттопыренными, как листья лопуха большими ушами.

По правде говоря, до сих пор я, грешным делом, думал, что чумой могут болеть только человек или курица, хотя между ними — существенная разница. Но о том, что виноградная лоза — неодушевленный предмет может тоже схватить эту заразу, я слышал сейчас впервые, чему, конечно, был немало удивлен.

— Сынки мои, — сразу смягчив тон, с беспокойством говорю студентам-практикантам. — Если, допустим, человек заболел чумой, его, понятно, сразу изолируют от общества и положат в больницу на лечение. Заболеет чумой курица или петух — это не такая уж беда, пойдут на суп, Но вот что надо делать с кустами, если они заболели, как вы говорите, этой самой филлоксерой, пропади она пропадом?

Их ответ, точно гром поразил меня в самое сердце: все кусты, если хоть один из них заражен этой гадостной болезнью, должны быть выкорчеваны и уничтожены

— таков приказ. Видя, что я начинаю бледнеть, белобрысый парень принялся успокаивать меня.

— Вы, дяденька, заранее не волнуйтесь. Мы эти вырванные кусты подвергнем тщательному лабораторному анализу. Если они не заражены филлоксерой, то остальные кусты не надо трогать.

Но на мою беду, виноград на моей даче, как мне сообщили из лаборатории, оказался зараженным чумой, то есть филлоксерой. И я с тяжелым сердцем был вынужден выкорчевывать все кусты до единого. А любители моего «зем-зема» на днях выпили у меня последнее вино и, узнав, что мой виноградник вырублен под корень, на второй же день потеряли ко мне всякий интерес и уважение, вроде даже рассердились на меня, вместо того, чтобы посочувствовать моей беде. И опять, как прежде: ни тебе «салам алейкум», ни тебе «алейкум ассалам».

Раз вечером, когда я, добив последний куст, возвратился домой как с похорон, жена, встречая меня, говорит, еле ворочая языком (у нее по-прежнему волдырь на языке):

— Ты знаешь, оказывается, произошла ошибка.

Я не понял в чем дело, спрашиваю:

— Какая ошибка? О чем ты говоришь?

— Проверяющие, — говорит, — ошиблись. Они у себя в лаборатории случайно перепутали чужие кусты с нашими. Прислали письмо, извиняются, пишут...

Что говорила дальше жена я уже не слышал. Я только помню: как земля покачнулась подо мной, как лодка на высоких волнах, и все закружилось перед глазами. Очнулся я в постели. И первое, что увидел, это — лицо знакомого доктора из «скорой помощи» и двух молодых здоровых санитаров в белых халатах, которые переносили меня с кровати на носилки.

— Куда-а? — с трудом приподняв голову, еле слышно спросил я доктора.

— Надо, так надо, — печально кивая головой, мягко произнес он и тут же с укоризной добавил: — Коли вы, любезный мой, при вашем слабом здоровье и болезни не можете воздержаться от систематического употребления алкоголя...

Я жестом остановил его, чтобы сказать: то, что он сейчас обо мне думает — ошибка, такая же ошибка, как злополучная история с филлоксерой, как ничем неоправ-

данная ревность моей не в меру подозрительной супруги к моей соседке по даче, как...

Но я ничего не успел сказать доктору. Едва я снова открыл рот, как голова моя, точно у сильно опьяненного человека, вдруг пошла ходуном, и все передо мной опять закружилось, завертелось, как в вихре...

Вот почему я говорю, что верю в судьбу и это у меня на роду написано быть невезучим...

НЕВЕСТА С УСАМИ



В одну из чудесных майских ночей богатого событиями 1921 года, молодой красный партизан Шарип Шарипов возвращался в свой родной аул. За спиной у него висела издававшая виды старая берданка с треснутым щербатым прикладом, а на поясе — длинный кинжал без кожуха в деревянных ножнах. Узкая каменистая тропа, залитая мягким лунным сиянием, то круто взвивалась вверх по отвесному склону, то срывалась в бездну. В чащах деревьев, дремотно застывших у подножия горы, неумолчно раздавались соловьиные трели. По дну тесного ущелья с монотонным гулом неслась серебряным потоком быстроводная горная речка. Юноша шел торопливым шагом, предвкушая радость скорой встречи с матерью, своими односельчанами.

Он возвращался в аул, как и уходил почти два года назад в партизаны, без единого гроша в кармане, в том же сереньком чохо из грубой домотканной шерсти. Оно и тогда было у него старым, поношенным, а теперь совсем обносилось, поистрепалось, было все в прорехах, сквозь которые можно было пересчитать звезды на небе. Но на душе у юноши было радостно и празднично. Время от времени он подносил руку к облезлой папахе на голове и слегка трогал красную ленту, пришитую к ней спереди. При этом каждый раз худощавое простодушное мальчишеское лицо его освещалось безмерно счастливой и горделивой улыбкой. Предложи ему сейчас новую, самую красивую и дорогую папаху без этой ленты, он ни за что бы не согласился. Не променял бы он

ее даже на знакомую ему серебристо-каракулевую папаху с блестящим зеленым бархатным верхом, которая гордо красовалась на голове бывшего его хозяина богача Асланбека и на которую, чего скрывать, он смотрел всегда с тайной мальчишеской завистью и восхищением. Пусть его папаху из простой овчины, старая, облезлая, отдает горьковато-острыми запахами прокисшего сыра, чеснока и пота, но зато она украшена алой лентой — почетным знаком его принадлежности к победившей революции. А горец носит папаху не для внешней красоты и не для того только, чтобы она предохраняла его голову от жары или стужи, а как символ мужской чести и достоинства.

Именно поэтому он не забыл — а такое невозможно забыть — как однажды Асланбек топтал ногами вот эту самую его папаху...

И перед глазами юноши вдруг отчетливо встала картина того памятного дня.

Это было летом 1917 года. Семнадцатилетний батрак Шарип, усталый, весь почерневший от загара, в темной от пота и пыли бязевой рубашке возвращался с поля домой. Весь день под палящими лучами, не разгибая спины, убирал он хлеб своего хозяина. Зная, что дома у старухи-матери, у которой он был единственным сыном и кормильцем, не осталось и горсточки муки, юноша, идя с поля, захватил с собой пшеничный сноп, чтобы вечером вместе с матерью обмолотить его вручную. Но когда он по тесной кривой улочке пробирался к себе домой между плоскокрышими саклями и низкими каменными заборами, неожиданно ему на пути встретился сам бек.

Он, как почти всегда в последнее время, был пьян. Асланбек шел, слегка пошатываясь, задевая плечом стены и заборы. Лицо его еще нестарое, но несколько одутловатое, с большими закрученными, как бараньи рога, черными усами, было надменным и злым.

Увидев своего батрака, он остановился и тупо уставился в него своими выпуклыми серыми глазами, будто встретил его впервые. Вялым небрежным движением он отодвинул назад высокую серебристо-каракулевую папаху, точно она мешала ему сейчас разглядеть Шарипа как следует. Заметив в руке своего батрака пшеничный сноп с тугими желтыми колосьями, который он напрас-

но хотел скрыть от него за спиной, бек удивленно поднял широкие брови и начал багроветь.

— Ты что это, сукин сын?! — положив руки на бедра и пьяно покачиваясь, гневно воскликнул он, смерив юношу свирепым взглядом. — Мое добро вздумал растаскивать, словно меня, Асланбека, нет уже в живых или я больше, — он с силой ударил себя в грудь, — нехо-зяи-ин своего добра, своих земель и пастбищ, если такие, как вы голодранцы, бунтовщики и безбожники свергли милостью аллаха падишаха с престола, а теперь!..

Ярость душила бека и мешала ему говорить. Он, едва держась на ногах, подскочил к перепуганному и ошеломленному батраку и с силой вырвал у него сноп из рук, который тут же с легким сухим шуршаньем рассыпался по земле. В тоже мгновение он сорвал у парня папаху с головы и с сердцем ударил ее о землю и, точно взбесившись, принялся топтать ее ногами, злобно выкрикивая:

— Ты не мужчина, достойный носить папаху! Ты — вор, презренный вор, которому надо бы отсечь руку за такое дело!.. Ты — не мужчина!..

Воспоминание об этом всегда вызывало в душе юноши бурное, но бессильное негодование против хозяина. Но сейчас вместе с острой ненавистью к нему, он почувствовал мстительное злорадство: вот он теперь покажет этому усатому шайтану, кто из них настоящий мужчина, достойный носить папаху!..

Мать писала ему, что бек со своими верными нукерами уходил в банду Гоцинского¹, теперь разбитую в пух и прах Красной Армией и партизанами. Говорят, после этого Асланбек носа не показывает в ауле, где он чувствовал себя безраздельным господином, прячется в какой-то пещере, как волк в берлоге, страшится народа, возмездия. Только иногда, среди ночи, он как вор пробирается в родной аул, посещает свой дом и, не дожидаясь утра, едва пропоют третьи петухи, захватив с собой съестные припасы, опять исчезает, как дух перед рассветом.

Рассуждая так про себя, Шарип не заметил, как он уже шагал мимо знакомых ему с детства садов, окру-

¹ Гоцинский—имам, глава дагестанской контрреволюции в годы гражданской войны.

жавших его аул. Деревья в них сейчас стояли в пышном цветении, будто бело-розовые облака окутали их.

Войдя в аул, Шарип на минуту остановился в волнении, окинув его радостным взглядом. В саклях было темно, а сам аул, приютившийся в неширокой долине в окружении гор, был погружен в сонное безмолвие. Но взглянув на высокий двухэтажный дом Асланбека с застекленными балконами, он сразу сурово нахмурился, стиснув зубы. Его дом по-прежнему кичливо возвышался над неприметными саклями бедняков, над которыми он все время глумился.

Шарип с ненавистью посмотрел на этот дом, словно видел перед собой его хозяина. И прежде, чем пойти к себе, он, поправив ружье на плече, решительно направился к дому бека: а вдруг он там сейчас?..

Остановившись перед узкой высокой дверью под балконом из резного дерева, Шарип принялся сперва тихо, а потом громче и настойчивее стучать. Прошло несколько минут, прежде чем за дверью раздался настояженный женский голос.

— Кто там?

Шарип узнал по голосу мать Асланбека — Зейнаб. Он живо представил себе седую и прямую, как палка, старуху, не по годам подвижную и шуструю, с хитрым, надменно-насмешливым тонким лицом и выпуклыми, как у сына серыми глазами.

Шарип, машинально тронув ленту на папaxe, распрянул грудь.

— Это мы, партизаны! — сказал он о себе во множественном числе, наверное, чтобы пуще напугать старуху и заставить ее немедленно открыть дверь.

— Дома никого нет! — не сразу ответила старуха.

Юноша знал что это означает: дома никого нет из мужчин, а женщины в счет не идут. А постороннему мужчине по горскому обычаю не подобает ходить или проситься в чужой дом, где одни женщины и где его не ждут, а тем более не желают. Услышав это, Шарип почувствовал некоторое разочарование, но тут же подумав, что его могут обмануть, он быстро снял с плеча старую берданку и начал прикладом барабанить в дверь. Собаки во дворе всполошились и подняли неистовый лай.

Прошло еще несколько минут, пока за дверью раздался лязг засова, и она открылась перед Шарипом. Он вслед за старухой поднялся по узкой скрипучей, почти

вертикальной деревянной лестнице на второй этаж. И как только Шарип переступил последнюю ступеньку, он, забегаая вперед Зейнаб, стремительно ворвался в большую просторную комнату и окинул ее быстрым взглядом. В ней действительно никого не было из мужчин, одни лишь женщины: мать Асланбека, две его жены и несколько ближайших родственниц. А в самом дальнем углу, на тяжелом кованом сундуке, покрытом таким же ярким разноцветным ковром, каким были украшены стены и пол, сидела невеста. И как положено ей, невесте, она сидела с закрытым лицом, тихо, в неподвижной позе, как изваяние. Огромный белый шелковый платок, величиной чуть ли не с простыню закрывал ее фигуру от головы до самых носков. Одна из девушек стояла по правую руку невесты, а другая — по левую.

Шарип почувствовал себя неловко от того, что не поверил словам старухи и среди ночи ворвался в чужой дом, где одни женщины. И чтобы скрыть свое смущение, он подобрался, сделал строгое лицо и, нахмурив черные брови, раза два молча и важно прошелся по комнате. Затем, остановившись посредине комнаты, он без нужды снял с головы папаху, подул на нее, провел рукой по ленте и обратно водрузил на место. Женщины, сбившись в кучу, с угрюмым молчанием и плохо скрытым страхом наблюдали за каждым шагом и каждым движением непрошенного гостя.

— Невеста?.. — показывая глазами в угол, сдержанно улыбаясь, тихо почти миролюбиво спросил он Зейнаб.

— Да, да, невеста, — точно обрадовавшись его вопросу, с готовностью ответила старуха, заискивающе улыбаясь ему. Потом она, подойдя близко к Шарипу, доверительно, с теплыми нотками в голосе, добавила: — Свою служанку, дай бог ей счастья, выдала замуж за парня из соседнего аула. Скоро должны приехать за невестой.

Услышав это, Шарип вспыхнул и сердито покосился на старуху: где это видано и слыхано, чтобы невесту провожали из дому вот так, без веселья, без радости, без зурны? Небось, если она была бы не служанкой, а родной дочерью этой старой ведьмы, она непременно позаботилась бы о том, чтобы все было, как полагается на свадьбе. Да и лица, черт их подери, у всех такие, как будто дома не невеста, а покойница...

— Разве так провожают невесту из дому? — строго спросил он хозяйку, оскорбившись за служанку. — Почему нет музыки, где веселье?!..

Зейнаб, горестно вздохнув, сделала плачущую мину.

— Да чтоб ослепнуть мне, сынок, разве нам сейчас до музыки и веселья? — сразу захныкала она. — От моего сына давно нет никаких вестей, не знаем, жив ли он.

Старуха еще что-то хотела сказать, но Шарип, не желая слушать ее причитания, демонстративно отвернулся. Он тут же подошел к курносой девушке, неподвижно стоявшей по правую руку невесты с непроницаемым и строгим лицом, точно часовой на охране особо важного объекта, велел ей сейчас же сбегать за музыкантом. Девушка с перепугу, не глядя ни на кого, с места в карьер пустилась бежать, чтобы немедленно выполнить приказ, как ей показалось, грозного большевистского хакима—начальника с красной лентой на паху.

Очень скоро, как и ожидал Шарип, девушка вернулась с музыкантом, а сама подошла к невесте и опять встала на свой «пост».

Дауд (так звали музыканта) был единственным зурначом в своем ауле. Но многие односельчане, вся жизнь которых проходила в неустанном труде и нескончаемых хлопотах о хлебе насущном и которые, несмотря на это жили в крайней нужде, считали его «бездельником и блаженным. Он кроме игры на зурне ничем больше не занимался и был гол как сокол. Ремесло же свое обожал и считался чуть ли не самым лучшим зурначом во всей округе. Без него в ауле не проходило ни одно торжество, ни одна свадьба. В любое время дня и ночи этот пожилой, худой, сгорбленный человек с почти седыми, обвислыми усами и улыбчивыми карими глазами по первому же зову, захватив свой волшебный инструмент, с готовностью спешил туда, где его ждали. При этом он не столько радовался скромному вознаграждению, которое он получит за свой труд, или поест досыта, сколько же случаю показать людям свое искусство, доставить им удовольствие.

Старый зурнач и молодой партизан, не скрывая своей радости от этой неожиданной встречи, сердечно обнялись, приветствуя друг друга. Затем Дауд отойдя в сторону, неторопливо достал из кармана рваного бешмета свой инструмент и, с веселой довольной улыбкой

оглядывая присутствующих, поднес его к губам, скрытым под пышными усами. Тотчас же просторная комната наполнилась пронзительными задорно-веселыми звуками зурны. Первой захлопала в ладоши старая Зейнаб и повелела другим женщинам последовать ее примеру.

Шарип, сразу откинув голову назад и взметнув руки в стороны, словно крылья, с гордой счастливой улыбкой на задорно-мальчишеском лице пошел танцевать. Сделав круг, он подошел к невесте и встал перед ней на цыпочки, вытянувшись в струнку, кивком головы приглашая ее танцевать. Но невеста продолжала сидеть на своем месте, скромно опустив голову. Тогда Шарип, точно «выведенный из себя», озорно топнул ногой, напоминая этим о своем твердом желании потанцевать с ней на радостях. Наконец она встала, подняв вверх раздвинутые руки, поплыла перед ним. Только сейчас молодой человек с удивлением обратил внимание на то, что у невесты подозрительно большой живот, до того большой, что заметно выпирает даже из-под просторного шелкового покрывала и при каждом, чуть резком движении он странно вздрагивает и ходит из стороны в сторону. Шарип с безгловым ужасом подумал, что невеста, видно, не успев еще стать женой, оказалась в интересном положении. Очевидно, старая Зейнаб и ее родственницы из-за этого только решили, без шума, втихую, без посторонних свидетелей сплавить ее, отправить к жениху, видимо, виновнику этого дела. А что до того, о чем, чуть ли не плача, говорила ему хитрая старуха, будто она не пригласила музыканта, не устроила свадьбу из-за сына... — она просто заговаривала ему зубы. Теперь Шарип по-своему понял и причину нерешительности и колебания невесты, когда он приглашал ее танцевать. И невольно подумал: как должно быть ей сейчас неловко и до боли стыдно перед ним. Да и сам Шарип чувствовал себя очень смущенным и с нетерпением ждал, когда невеста первой выйдет из круга, чтобы поскорее уйти отсюда.

Вдруг что-то большое и круглое с глухим ударом упало на пол из-под широкого платья невесты, и колесом покатилося к ногам ошеломленного юноши. Как ни странно, это был круг овечьего сыра. Шарип готов был ожидать что угодно, но только не это. Не успел потрясенный молодой человек прийти в себя, как тут же

на пол посыпались один за другим, точно из неожиданно прорвавшегося туго набитого всякой всячиной прогнившего мешка, солидный кусок желтого сушеного курдюка, три чурека, связка чеснока и какая-то бутылка не то с уксусом, не то с брагой, которая тут же разлилась по полу. На глазах изумленного Шарипа произошло чудо: живот у невесты опал, как кузничные мехи, из которых разом выкачали весь воздух. Не менее пораженный и сбитый с толку увиденным музыкант так и застыл на месте с умолкшей зурной во рту и вытаращенными глазами, а женщины перестали хлопать в ладоши.

В ту же минуту Шарип с внезапно изменившимся лицом и горящим гневом взором одним прыжком подскочил к «невесте» и резким движением сорвал шелковое покрывало, скрывавшее ее лицо и фигуру. Вместо невесты перед ним стоял хорошо знакомый ему мужчина средних лет с полным, несколько одутловатым лицом, большими, как бараньи рога, черными усами, но без пахи. Выпуклые серые глаза его смотрели исподлобья на молодого партизана с растерянностью и бессильной злобой.

Это необыкновенное зрелище вдруг так рассмешило, развеселило Шарипа, что он, хватаясь за живот, разразился громким неудержимым хохотом. А старухе Зейнаб от сильного расстройства, особенно от злорадного торжествующего смеха их бывшего батрака, сразу стало дурно. И она со сдавленным протяжным стоном упала без чувств на руки встревоженных и перепуганных своих невесток...

СТАРИКИ

Они всегда видели вместе, когда они выходили на прогулку. Шагали они тихо, медленно, ссутулившись, словно сгибаясь под бременем прожитых лет. Старик, костистый, длинный, с большими растопыренными седыми усами на смуглом лице, прорезанном крупными морщинами, бережно вел старушку под руку. Когда случилось ему встретиться взглядом с прохожими, он сму-

щался и неловко улыбался. А она, маленькая, хрупкая, с неуверенной походкой, доверчиво опираясь на руку своего «кавалера», все время глядела вниз, словно боясь споткнуться.

Встречные с сочувствием и умилением смотрели на них: вот, мол, какая милая пара!.. А он, чувствуя это, еще больше улыбался, стараясь скрыть свое смущение.

Раньше он никогда не ходил с женой под руку, даже в молодые годы. У горцев это считается неприличным. Но теперь, когда ей стало трудно передвигаться одной, без посторонней помощи, старик пренебрег обычаем, однако побороть чувство неловкости при встрече с людьми все же не мог.

Еще не так давно старики очень редко появлялись вместе на улице. Жили они на четвертом этаже большого коммунального дома. Ей, страдавшей астмой, с трясущимися от слабости коленями, было очень трудно спускаться и подниматься по лестницам. Месяц назад старик обменял свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную на первом этаже в том же подъезде. И теперь они почти каждый день выходили на прогулку, приходили в сквер, расположенный на берегу моря, чтобы посидеть на свежем воздухе.

Обычно, придя сюда, они отыскивали «свою» скамейку. Старик с каким-то веселым любопытством и доброй усмешкой в прищуренных глазах глядел на гуляющие парочки, на шумно забавляющихся детей, на все, что происходило вокруг. А старуха, напротив, почти все время сидела в неподвижной позе, безучастная ко всему.

Надышавшись воздухом и устав от продолжительного сидения на жесткой скамье, они через час-другой возвращались домой, купив по дороге чего-нибудь съестного. Дома первой начинала разговор обычно молчаливая старуха.

— Ай, Гази, напрасно, валлах, напрасно ты это сделал, не послушался меня, поменял квартиру, — произносила она, с укором поглядывая на мужа. — Дай аллах, приедет сын, мы его поженим, пойдут внучата, а комната-то теперь у нас одна, повернуться негде будет.

Гази отвечал не сразу. Он знал, что разговор об обмене только повод, чтобы, как всегда, поговорить о сыне: а то ведь можно подумать, будто они начали забывать о нем или, еще того хуже, не дай бог, что его нет в живых. Он не спеша вынимал из пачки, лежащей на

столе, сигарету, медленно разминал ее скрюченными узловатыми пальцами и закуривал.

— Зачем, Шахру, говсришь — «напрасно»? Нам пока так удобно. Вернется наш сын, мы найдем другую квартиру. Была бы голова — папаха найдется, — оправдывался муж.

— «Найдем», «найдем», — хмурясь, сердито передразнила старуха, — как будто это так легко найти другую квартиру. А он, свет моих очей, вот увидишь, скоро, очень скоро приедет — сердце мне подсказывает. А материнское сердце не обманывает...

Гази давно привык к разговорам жены о сыне, хотя и нелегко ему слушать их. Но, чтобы не обижать и не расстраивать жену, он всегда делал вид, будто согласен с ней. Но так, как сегодня, она никогда не говорила о сыне. Что с ней?..

— Откуда, мать, у тебя такая уверенность? — осторожно, со скрытой болью в голосе спросил он жену, гася в пепельнице недокуренную сигарету.

— Откуда? Сон видела вчера ночью, — загадочно улыбнулась старуха, и лицо ее, все в мелких морщинках, засветилось великой материнской радостью. — Вижу во сне, мы лежим, и вдруг — стук в дверь: «Мама!! Мама! Это я, открой!..»

Губы ее вздрагивают, она умолкает, не в силах больше говорить. Краем легкого шерстяного платка вытирает непослушные слезы, а глаза продолжают улыбаться. Гази хмурится, молча склоняет голову, чтобы не выдать своего волнения. Он не верит снам и еще больше тому, что их единственный сын жив-здоров и когда-нибудь вернется к ним. Но как сказать об этом старухе, которая до сих пор, хотя и прошло тридцать с лишним лет после окончания войны, не может примириться с мыслью, что сына нет в живых, а сейчас вбила себе в голову, будто он скоро должен вернуться.

Гази поднимает голову и задумчиво смотрит на жену.

— Знаешь, Шахру, — говорит он не то, что думает в эту минуту, — иногда сны сбываются. Может, и твой сон сбудется...

Старуха молча улыбается ему сквозь слезы, благодарно кивает головой: это хорошо, очень хорошо, что и он верит в скорое возвращение их сына...

...Ночь... За окном темно и тихо. Город спит, погруженный в глубокое безмолвие. Рядом, уткнувшись лицом

в подушку, посапывает старик. А старухе все не спится. Перед глазами встает ее жизнь с того самого памятного дня, когда она восемнадцатилетняя девушка сбежала с любимым из родного аула сюда, в город. Родители хотели выдать ее за своего родственника, за нареченного. Но она любила Гази, любила всеми силами юной пламенной души. Чтобы не вызвать подозрения у родителей, котсрые и слышать не хотели о ее нежелании выйти за нареченного и уже готовились к свадьбе, она в тот день, как обычно, рано утром вышла из отцовской сакли, направляясь в ущелье, к роднику. Недалеко от источника, между высокими кустарниками, в темной широкой бурке, накинутой на плечи, ее уже поджидал Гази, держа на поводу оседланного коня.

Он мог бы за свою дерзость поплатиться головой, но, слава богу, ничего страшного не произошло. Родители Шахру, узнав, что похищение было совершено с ведома и согласия дочери, не стали мстить своему нежеланному зятю. Однако, возмущенные и оскорбленные поступком дочери, отвернулись от нее.

Первое время беглецам приходилось очень трудно в чужом городе, без родных, без собственного угла. Но они были молоды, любили друг друга, и это помогало им переносить все тяготы и лишения бесприютной жизни. Потом Гази удалось устроиться учеником бондаря на заводе, Шахру поступила на прядильную фабрику.

Вскоре в стране произошли великие перемены: революция, за ней гражданская война, которая повсеместно закончилась полной победой молодой Советской власти. В жизнь молодых супругов, простых рабочих людей, вошло что-то новое, светлое, хотя до конца ими еще не осознанное. Казалось, они никогда не чувствовали себя такими счастливыми и уверенными в своем будущем, как сейчас. Но разве счастье когда-нибудь бывает полным и безоблачным? Годы шли, а детей у них не было. Шахру видела, что муж недоволен, и тревога закралась в сердце молодой женщины: вдруг Гази бросит ее и женится на другой, забудет, как она, любя его, убежала из отцовского гнезда, лишила себя родительского благословения и любви, как он сам рисковал жизнью ради любви к ней?..

Шахру мучительно переживала, думая, что рано или поздно наступит этот страшный день, если у них не будет ребенка. Но судьба все же оказалась благосклонной к

ней. На восьмом году после их женитьбы осенью 1925 года у них родился сын. Шахру назвала его в честь своего отца, который все еще продолжал хранить «кровную обиду» на дочь — Юсуфом. Когда старик узнал, что у дочери родился наконец ребенок и ему дали имя в его честь, родительское сердце не выдержало — растаяло. Он взял с собой старуху и, купив подарков, поехал мириться с дочерью и зятем.

Шахру помнит первую улыбку на нежном личике сына-малютки. На всегда, на всю жизнь сияющей радугой врезался в ее память тот день, те мгновения, когда ее малыш, радуясь и пугаясь, в то же время как бы сам удивляясь своей смелости, неустойчивыми дрожащими ножками сделал первые самостоятельные шаги, протягивая к ней пухлые ручонки. Помнит Шахру, словно это было не много лет назад, а совсем недавно, и то, как она, гордая, счастливая, еще молодая, с букетом ярких роз провожала семилетнего сына в школу в первый класс...

Муж хотел для Юсуфика брата или сестру, но что делать, если в жизни очень часто получается не так, как хочется, как думаешь, мечтаешь. Юсуф был у них первым и последним ребенком.

Когда началась Отечественная война, их сыну шел только шестнадцатый год. Прошло еще два года с тех пор, а война все еще продолжалась. Многие матери лишились сыновей, жены—мужей, миллионы детей остались сиротами. А войне еще не было видно конца. Пришло время и ее сыну надеть военную форму и отправиться на фронт. Он сам ушел добровольно, не дожидаясь, когда его призовут. Могла ли она удерживать его, хоть он единственный сын.

Провожая сына на фронт, Шахру верила, что он вернется живым и невредимым. Но весной 1945 года, когда наши войска уже громили фашистов на их собственной земле, откуда они кровавой ордой двинулись на нас, из части, где служил Юсуф, пришло письмо о том, что он пропал без вести. Письмо оставляло матери какую-то надежду, что ее сын, может жив, вернется. Разве не было таких случаев? Если до сих пор, спустя очень много лет сын еще не вернулся, не раз думала Шахру, то видно враги держат ее Юсуфа в плену, как злые дэвы¹

¹ Дэвы—сказочные великаны.

свои жертвы в заколдованных замках. Но не таков ее орел, чтобы вечно томиться в неволе. И ей, особенно после вчерашнего сна, верится, что ему наконец удалось вырваться на свободу и сейчас он мчится, как на крыльях, в родную сторону, к своей истомившейся и истрадавшей матери, которая выплакала все глаза по нему.

Взволнованная воспоминаниями и думами о сыне, старуха долго не может уснуть. Но усталость наконец берет свое — она начинает засыпать. И вдруг сквозь дрему до нее доносятся чьи-то тяжелые шаги, которые внезапно затихают у дверей их квартиры. Она сразу открывает глаза и, приподнявшись на постели, напряженно прислушивается. Но проходит минута, две, три, а в подъезде по-прежнему ни единого звука. И когда Шахру начинает казаться, что это просто ей почудилось, кто-то тихо, осторожно, словно стараясь не испугать спящих, трижды постучал в дверь. И вслед за этим точно-точно, как было во сне, она слышит молодой и бесконечно родной голос сына: «Мама! Мама! Это я! Я приехал!..»

— Сын мо-о-ой!!! — задыхаясь, почти неслышно кричит старуха, сразу потеряв голос.

Мать, охваченная безумной радостью, вскакивает с постели. В длинной ночной сорочке, с растрепанными седыми волосами, она, протягивая дрожащие руки вперед, с бешено бьющимся сердцем, шатаясь, как пьяная, устремляется к двери. Но, не дойдя до нее двух шагов, с грохотом падает как подкошенная на голый пол.

— Мама! Мамочка! Что с тобой?! Отец!.. — слышится за дверью громкий тревожный голос.

Потрясенный Гази стремительно подбегает к двери, непослушной от чрезмерного волнения рукой распахивает ее и тут же останавливается в оцепенении: в тишине полуосвещенного подъезда, у порога стоял стройный, подтянутый юноша в солдатской форме, с чемоданчиком в руке. Это был соседский сын, приехавший на побывку домой, который, видно, не знал, что его семья уже не живет здесь.

...С тех пор старик ходит один, но с палочкой. Теперь, встречаясь взглядом с прохожими, он не улыбается смущенно, как прежде, когда брел под руку со своей старой подругой.

Недавно я шел по скверу и видел старика на той же скамейке, где они обычно сидели вместе. Весна была в разгаре. Деревья в зеленом уборе, трава вокруг кустов, яркие цветы на клумбах — все празднично сверкало под лучами солнца. Как и в последний раз, когда Гази здесь был с женой, по утопанной дорожке, посыпанной желтым песочком, проходили парочки, раздавался веселый детский смех. А старик, сложив на палке ладони и оперев на них острый заросший подбородок, неотрывно смотрел все время усталыми печальными глазами куда-то вдаль, через простиравшуюся перед ним морскую равнину, словно что-то искал или хотел увидеть за горизонтом...

СОВБОЛ



Время было за полночь, когда Боби шел по тихим, пустынным улицам родного города, опираясь на палку и слегка прихрамывая. Хотя он возвращался со свадьбы, вид у него был удрученный и мрачный.

— Ах, Гавхар, Гавхар, да чтоб сгорел твой отец! — с сердцем выругал он жену вслух, горестно покачав головой. — Опозорила, осярашила ты меня на весь свет!..

Ему вдруг представилась жена, которая сейчас спит без задних ног и в ус не дуется, не ведает, как он из-за нее оскандалился, опозорился перед людьми — хоть провалились сквозь землю. Думая об этом, он застонал как от нестерпимой боли. В его взбудораженной памяти промелькнули все события сегодняшнего вечера.

— Ты знаешь, Боби, — сказала ему жена, когда он пришел с работы и сел за стол пить чай, — сегодня нас пригласили на свадьбу.

Боби, опустив стакан на блюдце, вопросительно посмотрел на жену, полнеющую женщину лет сорока пяти, с черными, тронутыми сединой густыми волосами.

— Чья свадьба?

— Рахмон, друг твоей юности, женит сына, — с видимой неохотой ответила жена.

— Очень хорошо, — бодро, с веселой ноткой произнес Боби. — Раз пригласили — надо идти.

Гавхар ничего не ответила. Она отвела глаза и молча опустила голову. Боби, угадав ее настроение, недовольно уставился на нее.

— Ты чего так?! — вызывающе спросил он. — Не идти что ли?!

— Не знаю, — не сразу, тихо ответила жена. — С деньгами туговато у нас сейчас... Да и...

— Что «да и?..» Что?! — резким движением отодвинув от себя стакан с недопитым чаем, запальчиво произнес Боби, краснея. — Надоело мне это твое бесконечное хныканье! Вечно плачешься: «Денег не хватает.»

Боби, не вставая с места, с шумом повернул стул, на котором сидел, демонстративно отвернувшись от жены и надувшись на нее, молчал. Молчала и она, незаслуженный упрек мужа больно кольнул ее в самое сердце. От досады и обиды она готова была расплакаться. Гавхар с укором смотрела на Боби и молча рассуждала про себя.

Ее муж «всего лишь» простой маляр, к тому же единственный работник в доме. И ей, Гавхар, приходится нелегко на его скромный заработок накормить целую семью из пяти человек, одеть, обуть... А он, вместо того, чтобы войти в положение жены, пожалеть ее, быть ей благодарным, еще смеет упрекать... В городе у них много знакомых, близких и дальних родственников. Не проходит месяц, а то и неделя, чтобы у кого-нибудь из них не женился сын или не вышла дочь замуж, то есть не справляли свадьбу. Пусть справляют на радость, разве она против? Пусть ослепнет тот, кто не желает счастья ближнему. Но ей уже неважно терпеть то, что ее муж уносит на каждую свадьбу чуть ли не одну пятую часть своей зарплаты, которую он ей дает: рублей двадцать-двадцать пять на совбол для родителей невесты или жениха, и рублей пять-десять на шобош музыкантам. На эти деньги при ее умении и бережливости она может целую неделю кормить семью. А многие ради того, чтобы собрать большой совбол, созывают на свадьбу не только близких и дальних родственников, но и близких и дальних знакомых по шестьсот и тысячу человек. А ее муж, собираясь на каждую свадьбу, куда только его приглашают, то уговорами, то угрозами, а то и силой

забирает у нее деньги, иногда последние. Почему она должна лишать детей этих денег, чтобы ее неразумный муж с легким сердцем кидал их на чужих свадьбах?..

Спустя несколько минут Боби, продолжая сидеть в той же недовольной позе, украдкой посмотрел на жену, правда, на этот раз не столько сердито, сколько испытующе. Он, конечно, догадывался, о чем сейчас думает жена. В душе Боби понимал, что Гавхар права, но несмотря на это, все еще дулся на нее: где это видано, чтобы на свадьбу у нас ходили без денег на совбол и шобош? Не он же, Боби, выдумал этот обычай и не ему его отменять. Не пойдешь — обидятся, скажут: не почтил, мол, нас, может, не по душе ему наша радость или пожалел денег, скряжничает, пятое-десятое... А он не хочет, чтобы о нем так думали, говорили. Ему его мужской намус дороже этих денег.

Между тем время шло. На дворе становилось темно, но глядя на расстроенное вместе с тем мрачное и решительное выражение лица супруги, Боби, с сожалением, понял, что сейчас лучше с ней не связываться и что на этот раз едва ли и палкой выколотишь из нее деньги.

Боби молча встал, подошел к вешалке, надел на голову кепку и взяв свою палку, вышел из дому. «Ладно, пойду поздравлю Рахмона со свадьбой сына и, сославшись на нездоровье, тут же вернусь обратно домой», — подумал он про себя.

...На дворе, где играли свадьбу, были широким полукругом расставлены длинные скамьи, множество столов, еще не накрытых, но за которыми уже сидели празднично одетые гости. Под звуки тары, кеманчи и бубна парень и девушка отплясывали лезгинку. В отдаленном полуосвещенном углу двора в огромных закопченных котлах варились вкусный свадебный суп, соус, жарилось мясо, насыщая воздух аппетитными запахами.

Боби, войдя во двор, стал искать глазами Рахмона. Но в это время серпои, худощавый подвижный молодой человек с маленькими, браво закрученными вверх усиками, в чью обязанность входило развлекать и обслуживать гостей, заметив Боби, сразу, приплясывая на ходу, подлетел к нему.

— О Боби-джан, душа моя! — с преувеличенным радужием и восторгом воскликнул он, церемонно отвешивая ему низкий поклон, словно падишаху. — Очень и

очень рады вас видеть. Дай бог и вашим детям, внукам и правнукам такую же свадьбу!.. — И он, сделав широкий приглашающий жест, добавил: — а теперь пожалуйста за стол с гостями!..

Серпои, ничего не знавший о намерении и настроении Боби и которому и в голову не могло бы прийти, что он явился сюда с пустыми руками, продолжая громко осыпать его благими пожеланиями и фамильярно обнимая его за плечи, потащил к гостям. Боби пытался что-то робко и невнятно возразить ему, но тот все это пропускал мимо ушей, увлекая его с собой. А сказать серпои, что у него нет денег на совбол и шобош и что он пришел только затем, чтобы поздравить Рахмона со свадьбой его сына и сразу же вернуться домой, Боби не решился. Но не будем упрекать его в «малодушии», потому что не только он, но и любой другой наш земляк на его месте едва ли решился бы на такое признание. Поэтому вопреки своему твердому намерению Боби был вынужден подчиниться серпои и занять место среди приглашенных гостей.

С трудом скрывая смущение и чувство неловкости, Боби старался держаться незаметным среди гостей, почти не поднимая головы, окинул их робким взглядом. Среди них было много его знакомых. Соседом Боби оказался смуглый коротыш с круглыми, точно надутыми щеками и большими черными глазами на выкате, работавший снабженцем на каком-то предприятии. Несмотря на свою чрезмерную полноту и тугой живот, точно бочка обручем, стянутый узким ремнем, снабженец производил впечатление шустрого, подвижного и беспокойного человека. Как только на майдан выходила танцевать очередная пара, он мигом, словно заводной, вскакивал на ноги, неистово хлопая в пухлые ладоши, азартно кричал:

— Харцо-о-о! Харц! Харц!..

Время от времени толстяк энергично запуская руку в карманы широких брюк, доставал десятирублевые бумажки, совал их в руки танцующим для шобоша музыкантам и, выпучив глаза, тут же, громко с натугой выкрикивал:

— Ай шобош! Ай шобош!..

Время подходило к полуночи. Танцующие бросали деньги на стол музыкантам в широкий поднос, и теперь перед ними была целая горка смятых, замусоленных

ассигнаций. Люди уже устали, не хотели танцевать, а серпой бодро ходил по кругу, обводя своими нагловатыми глазами гостей, громко восклицал:

— Больше жизни!.. Не давайте скучать ни себе, ни музыкантам!..

Иногда серпой, извиваясь и приплясывая, подходил к кому-нибудь из гостей, чуть ли не силком вытаскивал его в круг, чтобы он не давал скучать ни себе, ни музыкантам. Танцующий не только сам кидал на поднос деньги музыкантам. Он также вкладывал деньги в руку танцующей с ним женщины или девушки, которая перед выходом из круга бросала их туда же.

Несколько раз серпой приближался и к Боби, но тот так энергично мотал головой, показывая на палку (не могу, мол, хромаю, к сожалению), что обезоруживал этим навязчивого организатора танцев.

Но, когда наконец накрыли столы, расставили на них напитки, закуски, Боби, после того как пропустил пару стопок водки, сам попросил к себе серпой. И к его удивлению Боби велел ему заказать для него музыкантам танец «Наз-нази». Дело в том, что он только что к своей несказанной радости вспомнил, что у него в кармане еще со вчерашнего дня лежат две трешки, которые он утаил от жены и о которых он просто позабыл. Вспомнив о них, он тут же подумал: почему бы и ему не станцевать и не пожертвовать эти деньги на виду у гостей на шобош музыкантам?..

Как только музыканты начали играть по его заказу, Боби встал, распрямил плечи, поправил на себе пиджак и, слегка прихрамывая, не спеша, с достоинством вышел на майдан. Тут же услужливый серпой вывел танцевать с ним бойкую миловидную девушку с живыми черными глазами. «Вот бы моему сыну такую невесту» — с удовольствием подумал про себя расхраб्रившийся и развеселившийся Боби, с нескрываемой симпатией разглядывая ее стройную фигуру.

Неутомимому серпой удалось раскатать уставших гостей. По его примеру они тоже начали дружно хлопать в ладоши. Сосед Боби по столу опять вскочил с места и, усердно хлопая в ладоши, уже несколько охрипшим голосом принялся кричать:

— Харцо-о-о! Харц! Харц!

Ноги сами легко понесли Боби по майдану, как в молодые годы. Возбужденный вином, музыкой, общим ве-

сельем, он сразу почувствовал прилив сил и юношескую гибкость в теле. Во время танца Боби, гордо закинув назад голову, небрежно запустил руку в в правый карман брюк, где должны были находиться деньги, но в тоже мгновение другая его рука очутилась в левом кармане. Продолжая кружиться в танце, он стал судорожно обшаривать свои карманы. Но, — о ужас! — в них почему-то было пусто. На лице его сразу появилось выражение крайнего испуга и тревоги, ноги подкашивались, перед глазами все начало плыть и качаться. Боби пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не выдать своего состояния, не сбиться с ритма. Музыка, дружное хлопанье гостей, которые только что воодушевляли, бодрили его, сейчас нагоняли на него панический страх и ужас, вызывали жгучее чувство стыда, от которого он готов был провалиться сквозь землю. А гости, как назло, вошли в азарт, начали, как ему показалось, еще сильнее хлопать, подзадоривая танцующих. Пузатый снабженец продолжал кричать свое «Харцо-о-о! Харц! Харц!» Музыканты в надежде на шобош, потные от усердия и усталости, играли, играли и играли.

Куда же девались эти проклятые деньги?.. О горе! Что подумают о нем люди? Вот скажут: «Без гроша в кармане, как все равно уличный мальчишка-сорванец, ворвался в круг, еще танцевать вздумал...» Догадаются, обязательно догадаются, что он пришел на свадьбу, не захватив с собой денег не только на шобош, но и на совбол. Осрамлены его мужская честь и достоинство...

От сильного волнения и расстройства забыв, где он находится, Боби внезапно остановился посреди круга, как вкопанный, и машинально вывернул карманы наизнанку. Тотчас же раздался дружный, оглушительный хохот гостей. Его напарница со смущенной улыбкой стремительно выбежала из круга. Пьяный толстяк, схватившись руками за живот, визжал, покатываясь со смеху. Музыканты, вопреки традиции, не дожидаясь выхода танцора из майдана, прекратили играть. А бубнист, опуская бубен на колени, пронзил растерянную фигуру Боби недобрым, уничтожающим взглядом.

Под насмешливые взгляды и улыбки собравшихся, Боби, пряча глаза, усталый, разбитый, весь вспотевший и подавленный, хромя сильнее обычного, тут же ушел со свадьбы. Какой-то мальчишка догнал его, когда он уже был на улице, и вручил ему его палку, которую он от вол-

нения забыл, а может, после всего случившегося ему просто было очень неловко и стыдно встречаться с гостями.

И вот он идет сейчас по пустынным и безлюдным улицам мирно спящего города, мрачный и взволнованный, мысленно ругая жену, музыкантов, серпои, особенно тех, кто выдумал эти злополучные шобош и совбол...

КАВЕРЗНЫЕ ШУТКИ ВОЛШЕБНИЦЫ ВЕСНЫ



Была середина апреля. Недавние грозы, сопровождаемые обильными дождями, очистили небо от туч, отполировали его до зеркального блеска и напоили землю вдоволь живительной влагой. По утрам из-за моря, весело щуря огненные ресницы, вставало огромное солнце и весь день заливало землю своим сиянием. Деревья вдоль тротуаров, в парках и загородных садах еще не так давно совершенно голые, темные, сейчас были одеты в яркий весенний наряд. Повсюду слышалось веселое щебетание птиц, и все кругом сверкало, зеленело, цвело, звенело и благоухало.

Рано утром Ибраил Худовердиев, главный бухгалтер крупного в городе магазина культтоваров, плотный плечистый мужчина, как обычно, неторопливой походкой направлялся на работу. Лицо у него было спокойным, но немного задумчивым и рассеянным. Из-под широких полей зеленой фетровой шляпы выглядывали жесткие курчавые густо посеребренные волосы.

Дорога к конторе лежала мимо городского парка. В весенние и летние дни Ибраил предпочитал пройти этот отрезок пути не по скучному асфальту, а по узкой извилистой тропинке в парке с зеленой сочной травой и яркими цветами, высокими деревьями с пышными развесистыми кронами.

Глядя на обновленную природу, вдыхая пьянящий весенний воздух, пронизанный теплыми лучами утреннего солнца, напоенный ароматом цветов и влажным запахом пробужденной земли, Ибраил чувствовал, как это обновление происходит и в нем самом. Какая-то слад-

кая истома разливается во всем теле, пробуждая в сердце горячее нежное чувство и волнуя кровь. Он испытывал сейчас состояние удивительной легкости и окрыленности.

В то утро по той же тропинке, по которой он шел, где двум встречным негде было разминуться, навстречу ему бодро шагала молодая светловолосая девушка с ясными, будто омытыми утренней росой, васильковыми глазами. На ее белом круглом и очень симпатичном лице с ямочками на щеках, блуждала мечтательная улыбка.

Случилось так, что, когда между Исрапилом и незнакомой девушкой оставалось расстояние в два-три шага и один из них должен был посторониться, чтобы дать пройти другому, они как-то одновременно взглянули друг на друга и... весело улыбнулись. Исрапил, первым уступив дорогу ей, как даме, несколько минут постоял у тропинки, провожая долгим теплым взглядом быстро удаляющуюся стройную фигуру девушки.

То же самое на том же месте и в то же самое время повторилось и на следующее утро. А вечером, возвратившись домой, главбух долго и изучающе разглядывал себя в зеркале. Ему вдруг стало грустно от того, что у него голова почти седая и что он не молод — пошел пятьдесят первый год. А казалось, совсем недавно это было, когда он был озорным мальчишкой, учился в школе, а потом в институте, влюблялся в девушек, женился, будучи еще студентом первого курса экономического факультета — как быстро летит время!..

Но когда Исрапил вспомнил о жене, лицо его сразу помрачнело, и он отошел от зеркала. Закинув руки за спину, он начал ходить по комнате, все больше погружаясь в свои мысли, воспоминания. В это время из кухни донесся обращенный к нему, крикливый голос жены, который всегда возбуждал в нем неприятное чувство.

— Эй!.. Если хочешь кушать, иди, пока ужин не остыл. Слышишь?..

Исрапил на минуту остановился, недовольно поморщившись, потом опять стал ходить по комнате, не обращая внимания на приглашение супруги.

«Странная женщина! — горько усмехаясь, сказал он про себя, сердясь сейчас на жену. — Она думает, что самая главная обязанность у жены перед мужем — это во время накормить его, заботиться о его желудке. А он

за это должен быть ею весьма доволен и чувствовать себя счастливым».

Исрапил давно был убежден, что ему не повезло в личной жизни и что он обманулся в своей жене. А когда он это понял твердо, было уже, как он считал, поздно, непоправимо поздно. К этому времени у него было двое почти взрослых детей, в которых он, по натуре своей очень чадолюбивый человек, души не чаял и ради которых терпел постылую жену, как бы принося себя в жертву им.

Когда женился на ней, ему тогда казалось, что прекраснее и милее ее нет девушки на свете. Но что скрывается за этой внешней красотой, он тогда не разглядел: был слишком опьянен своей любовью и очень молод к тому же, чтобы разобраться в таких тонкостях.

Не имея ни образования, ни специальности, она всю жизнь провела на кухне, за плитой, огрубела, отупела, ничем не интересовалась, кроме как домашними делами, никогда не брала в руки книгу или газету. И то немногое, что она знала когда-то, давно позабылось, начисто выветрилось из ее головы, как скудная влага в почве во время суховея. Считая себя уже «старухой», несмотря на то, что была моложе мужа на несколько лет, а его «стариком», она очень мало заботилась о своей внешности, одевалась как попало, не проявляла интереса к его делам, заботам, кроме как во время подать ему завтрак, обед и ужин, накормить как можно вкуснее и сытнее. К тому же жена имела привычку все время жаловаться мужу: как она устает ходить на базар каждый день, таскать на себе полные корзины, принимать гостей, друзей мужа. И что на базаре спекулянты и перекупщики, чума на их головы, опять взвинтили цены... И все этом роде.

Он, конечно, понимал, что ей, уже немолодой, отяжелевшей с годами женщине нелегко каждый день ходить на базар, стоять в очереди, таскать тяжелые корзины: дочь замужем, у нее теперь своя семья, свои заботы, сын учится в институте в другом городе — некому помочь. Да и на рынке — большое место всех домохозяек — нет должного порядка, контроля. Но почему она все это повторяет ему изо дня в день, притом именно тогда, когда он садится кушать? Другого разговора для него у нее нет, как и нет давно ни одного ласкового слова, теплого взгляда, ни одной приятной улыбки.

Но разочарованный в своей жене главбух почему-то вдруг стал особенно остро ощущать свои обиды и недовольство ею именно сейчас после второй случайной мимолетной встречи с прекрасной незнакомой девушкой на знакомой тропинке в парке, чья чудесная улыбка так глубоко запала ему в душу.

И Исрапил, несмотря на то, что жена опять позвала его, нарочно тянул, не спешил на ужин: ему не хотелось быть сейчас с ней наедине, слушать ее осточертевшие хабары, смотреть на ее вечно затрапезный и неряшливый вид.

На третий день, прежде чем выйти из дому, Худовердиев тщательно побрился, надушился, навел гляцевый блеск на туфлях, оделся в новый костюм, долго вертел в руке шляпу, внимательно и придирчиво осматривая ее со всех сторон и сдувая невидимые пушинки.

На этот раз Исрапил, поскольку он сегодня против обыкновения шел ускоренным шагом, встретил девушку не на знакомой тропинке в парке, а у выхода, вернее, на его противоположном конце. При виде ее главбух сразу засиял и почтительно поклонился ей, как все равно давно и хорошо знакомой женщине, всем своим видом как бы давая понять девушке, что встреча с ней ему очень приятна. А та в ответ, откинув голову и кокетливо встряхнув светлыми кудрями, подарила ему одну из своих лучезарных улыбок.

Войдя в свой кабинет, узкую и маленькую комнатку с низким зарешеченным окном, выходящим в глухой загороженный каменным забором тесный дворик с единственным деревом—цветущей яблоней посередине, Исрапил не спеша снял с себя плащ, шляпу, повесил их на вешалку, затем сел за свой рабочий стол. Открыв лежавшую перед ним внушительных размеров счетную книгу, он принялся читать, но тщетно. Он видел цифры, буквы, занесенные в нее его собственной рукой, но, как ни странно, Исрапил первый раз за долгие годы службы не понимал ни их смысла, ни их назначения, точно на него нашло какое-то затемнение. На страницах книги медленно, но упрямо, заслоняя все что там написано, явственно проступали, точно в волшебном зеркале, узкая извилистая тропинка в парке, очаровательное лицо незнакомой молодой женщины, которая смотрела на него своими ясными голубыми глазами и призывно улыбалась.

Исрапил раза два энергично встряхнул головой, точно стараясь сбросить с себя это наваждение, но видение продолжало неотвязно стоять перед глазами, мешая ему думать, сосредоточиться, выводя из равновесия.

В это самое время дверь в кабинет открылась, и к нему вошел бодрым уверенным шагом его старый друг Аслан Кадиев, полный, розовощекий, улыбающийся мужчина с пышными черными усами, держа в крепких, ровных и белых, как у молодой лошади зубах, дымящуюся трубку. Друзья с чувством обменялись крепким мужским рукопожатием, преданно глядя друг другу в глаза.

В отличие от сдержанного, суховатого и немногословного Исрапила, Аслан был человек жизнерадостный, общительный, отчаянный шутник и большой выдумщик. Он был актером, очень известным и популярным в республике, успешно выступал в разных ролях, снимался не раз и в кино. Но лучше всего удавались ему веселые, комические роли. Один его острый, лукавый прищуренный взгляд маленьких черных с хитринкой глаз, обращенный к публике, одна его неподражаемая улыбка, мимика сразу вызывали у нее оживление и смех. Он с неподдельным мастерством, не впадая в фальшь, крайность, копировал жесты, позы, голоса, речь разных своих знакомых из числа видных актеров, драматургов, композиторов и писателей, будь то мужчины или женщины, вызывая неудержимый смех и громкие одобрительные аплодисменты у слушателей.

Во время короткой беседы с другом, который зашел к нему по пути в театр, просто проведать его, расспросить о семье, здоровье, Исрапил в порыве откровенности, но стараясь скрыть свое смущение, рассказал ему о незнакомой девушке, о том, что он испытывал только что перед его приходом. Аслан, развалившись в кресле, не вынимая трубку изо рта, слушал его с дружелюбной улыбкой, молча, понимающе кивая головой.

Лишь спустя полчаса после ухода друга к главбуху наконец вернулось рабочее настроение, и он с головой окунулся в работу. Оставалось всего лишь четверть часа до конца службы, когда на столе у Исрапила резко и требовательно затрещал телефон. Он с неохотой поднял трубку.

— Ал-ло-о-о! — услышал он певучий приятный, но немного взволнованный молодой женский голос. — Скажите, пожалуйста, это Худовердиев?

— Я! — прогудел главбух и не очень вежливо спросил: — Что хотели?

— Как вам сказать... Это я, я... девушка... — голос умолк, не решаясь говорить до конца.

Исрапил нахмурился, бросив тоскливый, беспокойный взгляд на кучу бумаг, лежавшую перед ним на столе, которую надо было рассмотреть и подписать до ухода домой.

— Ну, говорите, что вам надо! — недовольно, почти сердито произнес Исрапил.

В трубке послышался протяжный вздох, похожий на приглушенный стон.

— Эта я, девушка...—повторила она то же самое и тем же робким приятным взволнованным голосом. Потом она вдруг после короткой паузы, точно боясь, что Исрапил, не пожелав выслушать ее до конца, бросит трубку или отключится телефон, заговорила быстро, торопливо. — Эта та самая девушка, которую вы встречаете в парке... Пожалуйста, не думайте обо мне плохого, если я вам признаюсь: вы мне очень нравитесь, поэтому я поинтересовалась вами, узнала, кто вы, как ваше имя, где вы работаете и что вы не очень счастливы в личной жизни... Я хочу ближе познакомиться с вами, если, конечно, вы тоже этого хотите.

Исрапил замер на месте и покраснел до кончиков волос. Ему вдруг стало очень жарко, а сердцу тесно, очень тесно в груди. Он быстро вскочил с места, расслабил на шее галстук и отстегнул пуговицу на воротнике.

«Это она, она!..» — мысленно вскрикнул Исрапил, крепко сжимая в руке трубку и одним глазом враждебно косясь на дверь, боясь, как бы в эту самую минуту не вошел кто-нибудь из сотрудников или посторонних, не помешал их любовному объяснению. Но пока растерявшийся и обалдевший от неожиданно свалившегося на него счастья главбух собирался с мыслями, чтобы в подобающих словах и выражениях выразить прекрасной незнакомке свои чувства и восторг по этому поводу, на том конце провода, мягким, сердечным, но уже несколько уверенным и капризно-повелительным тоном она передала ему, чтобы ее поклонник пришел на свидание в парк, на знакомую тропинку, и тут же повесила трубку.

До позднего вечера ходил Исрапил с большим букетом ярких весенних цветов в руке по памятной тропин-

ке, напряженно вглядываясь в прохладный зеленый полумрак слабо освещенного ночного парка, вздрагивая и замирая при появлении каждой женской фигуры. В его ушах все время стоял удивительно нежный, чарующий голос незнакомой девушки, появления которой он, охваченный волнением и исполненный радужных надежд, с трепетом ждал каждую минуту, а перед глазами стояло ее чистое молодое красивое лицо с обворожительной улыбкой.

Но время шло, а она почему-то все не появлялась. Несмотря на то, что уже было за полночь, Исрапил все не уходил домой, все надеялся, что она придет. Ушел он лишь тогда, когда давно вокруг не было ни одной живой души, кроме него, бросив в переполненную мусором широкую каменную урну, стоявшую у выхода из парка, огромный букет.

Всю дорогу Исрапил думал, теряясь в догадках: почему девушка не пришла на свидание? Ведь сама же его назначила? Неужели она, заметив к себе интерес со стороны староватого, конечно, для нее мужчины, решила потехи ради подшутить над ним, разыграть его? Но возможно ли ожидать такую злую шутку от такой девушки с удивительно милым лицом и ангельски нежным голосом? Нет, нет, это на нее не похоже. Вполне может быть, что она все это говорила всерьез, хотела прийти, а потом струсилась или просто постеснялась. Конечно, мало радости для молодой красивой девушки, для ее репутации, если даже она полюбила его с первого взгляда, пойти на такой риск: связать себя с ним, немолодым, к тому же семейным человеком...

Прошло более двух недель с того вечера, но Исрапил после этого не встречал ни разу голубоглазую девушку, так тронувшую его сердце. Это окончательно утвердило его в мысли о том, что она действительно хотела познакомиться с ним поближе, но в последние минуты, видно, передумала, отступила от своего решения. Поэтому она теперь старательно избегает даже случайной встречи с ним...

Однажды в воскресный день оба друга Исрапил и Аслан сидели в открытом загородном приморском павильоне за стаканом вина и мирно беседовали. Летний день тихо угасал, а верхушки высоких тополей, росших возле павильона, еще сверкали в огне заката. Со стороны моря, простиравшегося, как неоглядная зеленая степь

до самого горизонта, тянуло свежей успокаивающей прохладой. Аслан вынул трубку из кармана, чтобы покурить, но вдруг вспомнив о чем-то и с лукавой усмешкой поглядывая на Исрапила, приложил ее к уху, как телефонную трубку.

— Ал-ло-о-о! Скажите, пожалуйста, это Худовердиев? — произнес актер певучим приятным, но несколько взволнованным голосом молодой женщины, будто разговаривающей по телефону.

— Я! Что хотели? — на этот раз точь-в-точь подражая грубоватому басу Исрапила, прогудел он.

Исрапил только что отправил в рот кусок жесткой холодной ветчины, но услышав до боли знакомый голос «девушки», обращенный к нему, и свой голос, свои слова в ответ ей, застыл с вытаращенными глазами.

— Это ты?!.. — тыча в друга пальцем, сдавленным голосом спросил его потрясенный главбух.

В ответ Аслан, соорудив виноватую смешную гримасу и, хитро улыбаясь, молча кивнул головой.

Кусок застрял в горле бедного Исрапила, и он судорожно глотнул воздух, точно рыба, попавшаяся на крючок и вытащенная из воды на сухой раскаленный берег...

СКАЗАНИЕ О ЛЮБВИ

ТАТСКАЯ ЛЕГЕНДА

 тридцати-тридцати пяти километрах к югу от древнего Дербента, среди задумчивых лесов, зеленых полян и глухих оврагов, обьятых чуткой тишиной, приютилось мое родное селение Ньюди. Название села происходит от сочетания двух татских слов — «Нуьге дигь», что означает — «Новое селение». Кто и когда основал его, почему селение получило такое название, об этом рассказывал мне отец, когда я еще был мальчиком, да и не раз потом я слышал от убеленных сединой многих односельчан об этой трагической и вместе с тем прекрасной истории.

С незапамятных времен, еще до прихода грозного Абуमुслима¹ — военачальника багдадского халифа, огнем и мечом утвердившего ислам в Дагестане, предки наших односельчан-нюгдинцев жили в одном из табасаранских аулов.

Прекрасны горы Табасарана. Если в раю есть горы, должно быть, они похожи на табасаранские. Склоны их, покрытые изумрудной травой, пестреющей разноцветными полевыми цветами, напоминают чудесные ковры, вытканые руками искусных табасаранских ковровщиц. А леса там в весеннюю пору трудно отличить от цветущих садов, столько в них плодовых деревьев. Не потому ли здесь так звонко раздаются соловьиные трели с восхода зари и до поздней ночи и так много вдохновенных певцов и ашугов?

Говорят, когда бог создал первых людей — Адама и Хеву, — райский сад находился не на небе, а на земле. Кто знает, может быть, это были сады, раскинувшиеся в живописных долинах Табасарана?

И душа народа под стать прекрасной природе родной земли. Она щедра, как плодоносное дерево, чиста, как бесчисленные родники, которыми богат этот край. А необыкновенное гостеприимство табасаранцев вошло в поговорку. Самое страшное проклятие на устах их это: «Да чтобы гость не постучался в дверь твоего дома!»

Предки наших односельчан-нюгдинцев, жившие с табасаранцами в одном ауле, хотя и были с ними люди разной народности, но судьба у них была одинакова. И одно омрачало жизнь и тех и других, бросало тень, точно темное погребальное покрывало на чудесную природу родной земли, — жестокое иго ханов, полновластно повелевавших жизнью и смертью своих райятов — подданных.

Случилось это давно-давно, много столетий назад. У одного из табасаранских ханов был приближенный тат по имени Довуд. Он был человеком начитанным и мудрым, немало странствовал по свету и немало испытал на своем веку. Он знал много историй из жизни разных народов и минувших поколений, многое мог рассказать о чужих краях, обычаях и нравах их населения. А сколько

¹ По преданию, ислам в Дагестане был распространен Абумуслимом — военачальником багдадского халифа.

Довуд знал сказок и песен, легенд и притч — никто считать не мог.

По вечерам Довуд развлекал властелина занимательными повествованиями, услаждал его слух песнями и игрой на сазе. Он владел еще искусством врачевания, знал, из какой травы какое лекарство изготовить, чтобы исцелить рану, изгнать из тела болезнь. Да и внешность он имел благородную: высокий, статный, с открытым лицом и добрыми чуть грустными глазами, с пышной великолепной бородой патриарха, учтивыми манерами. За эти его достоинства и приблизил его хан к себе. В народе его знали и любили, называли «везирем», хотя на самом деле он им не был.

Однажды хан, красный, веселый от выпитого вина, лежал на топчане с золотыми ножками, покрытом ярким ковром, облокотившись на мягкую подушку, и слушал сказку, которую рассказывал Довуд.

Время было уже позднее, когда Довуд кончил. Попросив позволения у хана, он встал. Отвесив ему глубокий поклон и пожелав спокойной ночи, Довуд направился к двери, но хан вдруг окликнул его.

— Стой, Довуд! — сказал хан. — Я слышал, что ты хочешь сыграть свадьбу своей дочери? Я еще слышал, что она у тебя, иншалла, прекрасна, как Лейли?.. Правда ли это?

Да, это была правда. Единственная дочь Довуда была так красива и нежна, что от нее невозможно было оторвать глаз. Все ее в глаза и за глаза называли гури — райской красавицей. Но и жених ее Джумшуд был под стать своей невесте: красив лицом и строен, как молодой тополь, отличный наездник и смелый джигит. Он не был ни одноаульчанином, ни единоплеменником Довуда, а был рожден табасаранской женщиной. Но Довуд любил его, как родного сына. Родители Джумшуда умерли во время какой-то свирепствовавшей в горах повальной болезни, когда он был почти ребенком. Отец его был близким кунаком и другом Довуда. А у нас чего только не сделает человек ради близкого кунака и друга! Отец Джумшуда, умирая, завещал Довуду заботиться о его мальчике-сироте, как о родном сыне. И с тех пор Джумшуд жил и воспитывался в доме друга своего отца вместе с его маленькой дочерью — Шушен.

В детстве они относились друг к другу, как брат и сестра. Как и Шушен, Джумшуд называл Довуда отцом.

А когда они стали взрослыми, узнали, что они не брат и сестра, постепенно их дружба и привязанность переросли в нежную и пламенную любовь.

Хотя Джумшуд и Шушен старались скрыть от Довуда свою любовь, но не таков был он, чтобы не заметить, что творится в душах его детей. И вот однажды вечером Довуд позвал к себе Джумшуда и Шушен, подвел их к очагу, в котором горел огонь.

— Дети мои! — сказал он с волнением в голосе. — Я вижу, что вы любите друг друга. Из всех божьих милостей, дарованных человеку, любовь — самый высший дар. Могу ли я пойти наперекор чувству, внушенному вам самим богом. — И тут же, показывая рукой на пылающий огонь в очаге, добавил: — С этой минуты перед этим священным огнем¹ я объявляю вас женихом и невестой.

И вот теперь, когда Шушен собиралась стать женой своего избранника, хан неожиданно спросил о ней.

— Да, мой хан, если на то будет воля бога, я собираюсь сыграть свадьбу моим детям этой осенью, — учтиво произнес Довуд.

— Самое хорошее время для свадьбы: мука от нового урожая в кенду², а молодое вино — в хюмах³, — одобрительно отозвался хан и, внимательно оглядывая стоящую в смиренной позе высокую фигуру своего приближенного, добавил: — Но не забывай, мой Довуд, бог, о котором ты только что упомянул, творит свою волю на небесах, а я, твой хан и господин, — на земле.

Смутная тревога, точно лед, коснулась сердца Довуда. Но он, стараясь ничем не выдавать ее, спросил хана со сдержанной почтительностью:

— Да простит мне мой хан: годы, видно, притупили мой ум. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду, напоминая сейчас о своей ханской воле?

Хана будто позабавили слова приближенного. Он, недоверчиво косясь на него, засмеялся громким пьяным смехом. Потом помолчав, строго и испытующе глядя на Довуда, сказал:

— Говорят, умному — намек, глупому — объяснение. Но ты же умный! А что я имел в виду? Я хочу, иншалла,

¹ В поверьях татов огонь считается священным, божеством.

² Кенду — глиняные бочки для хранения муки дома.

³ Хюм — огромный глиняный сосуд для хранения вина, воды.

твоей дочери-красавице оказать честь... Пусть первую ночь она проведет на моем ложе...

Довуд сразу изменился в лице. Пол дрогнул и покачнулся под его ногами, а в глазах померк свет. Но он огромным усилием воли устоял на ногах. Гордый, честный и смелый, он никогда ни перед кем не преклонял свою голову, кроме как перед ханом, своим повелителем. Но на коленях не стоял даже и перед ним. Сейчас он, потрясенный, испуганный и взволнованный услышанным, упал тут же на колени перед ханом, схватил рукой седую бороду, горячо взмолился:

— Мой хан, прошу тебя, пощади мои седины, не покрывай их позором хотя бы ради того, что я столько лет служил тебе. Дочь моя предпочтет броситься с высокой скалы в пропасть, чем согласиться на такой позор. А Джумшуд, который дорог мне, как родной сын, тоже скорее погибнет, чем согласится на поругание своей невесты.

Хан, который не привык, чтобы ему перечили, если он даже намеренно творит злое дело, вскипел гневом.

— Другому я сейчас же велел бы отрубить голову за такие дерзостные слова и непокорность, — вскочив с топчана и возбужденно шагая по комнате, громко произнес он с налитыми кровью глазами. — А тебе я дарю жизнь, но помни: желание мое должно быть исполнено!..

Довуд вернулся домой сильно встревоженный, подавленный и бледный, как смерть. Джумшуд первый раз видел его таким. Поэтому, удивленный и обеспокоенный его видом, он спросил:

— Отец, что с тобой? На тебе лица нет! Не случилась ли какая беда? А может ты просто болен?..

— Ах сын мой, — громко, как от боли, простонал Довуд, хватаясь рукой за грудь и медленно опускаясь на подушку. — Лучше бы я трижды заболел и трижды умер... У этих ханов и падишахов, развращенных и ослепленных властью, нет ни сердца, ни жалости...

— О чем ты говоришь, отец?! — с тревогой в голосе обратился он к нему, опускаясь перед ним на корточки и хватая его за рукав черкески.

Довуд немного помедлил, а потом закрыв глаза, чтобы не смотреть в лицо Джумшуду, прошептал как в бреду:

— Хан хочет твою невесту...

То, что сейчас услышал Джумшуд, огнем обожгло его

душу. Он вскочил на ноги и, выхватив кинжал из ножен, крикнул в ярости:

— Отец! Я ворвусь во дворец хана и не дам ему увидеть утро своими глазами! Один из нас в эту ночь должен погибнуть!..

Довуд, крайне встревоженный намерением Джумшуда, тоже вскочил с места и удержал его за руку.

— Стой! — закричал он на бушующего как пламя во время пожара юношу. — Ты молод, горяч, не думаешь о последствиях своего поступка. Никогда не делай сразу того, что в горячности тебе диктует сердце: оно слепо. Допустим, ты этой ночью убьешь хана, а завтра его место займет его сын или брат. Все останется по-прежнему. А ты и твоя невеста погибнете...

— Не уговаривай меня, отец! — прервав Довуда, с мольбой и отчаянием вскрикнул Джумшуд, корчась, словно от нестерпимой боли. — Я скорее положу голову на плаху, чем смирюсь с таким бесчестьем!..

Да, Довуд знал это. Будь он на месте Джумшуда, поступил бы так же. Но он с трудом удерживая Джумшуда от непоправимой ошибки, поклялся ему, что он не даст на поругание развратному хану его невесту и что ему не видать ее, как летучей мыши ясного неба.

КУПЕЦ И ПТИЦА

Прошло три дня после того памятного вечера. Хан прислал своего нукера за Довудом. Сев на лошадь, Довуд немедленно отправился к хану.

Войдя в ханские покои, Довуд отвесил хану глубокий поклон и, словно ничего не было между ними, приветствовал владыку. Тот, кивком головы ответив на приветствие приближенного и испытующе глядя на него, спросил с притворной любезностью:

— Наверно, мой Довуд все еще продолжает хранить обиду на своего повелителя?

— О нет, мой хан, — принужденно улыбаясь и склоняясь в поклоне, произнес Довуд. — Смею ли я, твой подданный и раб, обижаться на тебя, если желание господина — закон для раба.

— Ай машаллах, Довуд, машаллах! — похвалил его хан, довольный его ответом. — А теперь, иншалла, давай посидим, выпьем вина и ты расскажешь мне какую-нибудь интересную историю.

Хан выпив много вина, в самом веселом расположении духа, растянулся на топчане. И Довуд начал так свой рассказ.

— Слушай, о повелитель! Жил-был один очень богатый, именитый купец. Он часто отлучался из дому на два-три года, водил свои караваны, груженные богатыми товарами, в разные страны мира.

Однажды он, прежде чем отправиться в долгое путешествие, подошел ко своим четырем женам и многочисленным домочадцам, чтобы узнать у каждого, кому какой подарок привезти из чужедальных стран.

В спальне купца висела золотая клетка, а в ней жила красивая пестрая индийская птица-попугай, которая умела петь и говорить по-человечьи. Купец и ее спросил, какой подарок привезти ей.

Птица жалобно посмотрела на своего хозяина, потом негромко промолвила:

— Благодарю тебя, о господин, мне подарок не нужен. Если хочешь исполнить мое желание, прошу тебя об одном: в Индостане среди моря есть маленький островок. Называется он «Остров роз». Это — моя родина. Там живет мой брат. Передай ему от меня поклон и скажи, что я жива, здорова, живу в золотой клетке.

— Хорошо, птишка, — сказал купец, — если доберусь туда, непременно исполню твое желание.

С того дня прошло более двух лет. Вернулся купец благополучно, выгодно продав свои товары, раздал всем обещанные подарки, а птице не сказал ничего. Она молчала день, другой, наконец, не выдержала, спросила купца:

— О господин, который уже день, как ты вернулся из странствования, а меня почему-то стараешься избегать, ничего не говоришь мне? Был ли ты на том острове? Удалось ли тебе увидеть там моего брата?

— Не хотел я огорчать тебя, моя певунья, — скорбно вздохнул купец. — Был я на «Острове роз», видел твоего брата, но как только я передал ему то, что ты просила, он тут же замертво упал с дерева.

Услышав это, птица в клетке издала жалобный крик и тоже испустила дух. Удивленный и опечаленный купец открыл клетку. Увидев, что птица мертва, он пожалел ее, но делать нечего — выбросил в сад.

А сад у купца прекрасный. Как только он выбросил птицу, на его глазах произошло чудо: птица вдруг ожила

и, взмахнув крыльями, взлетела на самую высокую ветку ближайшего дерева.

— О птица, что все это значит? — недоуменно воскликнул изумленный купец. — Зачем ты так поступила? Вернись обратно в свою клетку. Я привык на заре и в полночь слушать твое веселое пение. Без тебя я буду скучать.

А птица ему сказала в ответ:

— Я знала, что ты меня не выпустишь из клетки. А для птицы живая ветка дороже и милее золотой клетки. Оттого, что тюрьму выстроишь из золота и серебра, она разве перестанет быть тюрьмой? Мне природа дала крылья, чтобы я могла летать на свободе под ясным небом, купаться в лучах солнца, сердце, чтобы наслаждаться жизнью, любовью. Но тебе разве дело до всего этого? Я для тебя только игрушка, забава — ни больше. А ведь я, хоть и маленькая птица, но тоже живое существо, рождена для радости, счастья... Брат мой, которого ты видал на острове, не умер. Он только притворился мертвым, чтобы ты потом об этом рассказал мне. Я поняла его и тоже притворилась мертвой, чтобы ты выбросил меня. Теперь прощай, но знай, что птица, вкусившая сладость свободы, никогда не захочет вернуться в неволю.

С этими словами она расправила крылья и, счастливо запев, улетела.

Хану очень понравилась сказка. Он долго смеялся над одураченным купцом.

— А смотри-ка, махонькая птичка-невольничка околпачила много видавшего и много знающего купца, — весело хохоча, проговорил хан. Затем обращаясь к своему приближенному, сказал: — А тебе, мой Довуд, за такую чудную сказку я завтра прикажу выдать новую черкеску с золотыми газырями.

СОН

Отяжелев от обильного ужина и выпитого вина, хан, как только ушел Довуд, сразу уснул.

Под утро ему приснился странный сон.

В ауле свадьба. Слышны веселые пронзительные звуки зурны и барабана. Хан один в своей опочивальне. Кто-то снаружи толкает дверь и к нему впускают Шушен в подвенечном платье. Хан, обуреваемый страстью, подхо-

дит к ней, дрожащими руками сбрасывает вуаль с ее лица и, пораженный необыкновенной красотой девушки, говорит с волнением:

— Твоя красота выше всяких похвал, моя пери! Отныне ты будешь для меня самой желанной из всех моих жен и наложниц в моем гареме.

Хан, точно в лихорадке, срывает с девушки одежду и порывисто обнимает ее, обнаженную, прекрасную. Но на глазах изумленного хана девушка вдруг превращается в яркую пеструю птицу, которая с шумом выпархивает из его объятий. Она подлетает к окну, сильным ударом крыла открывает его и стрелой устремляется в небо навстречу утренней заре.

Хан просыпается весь в поту, сам не свой. Едва придя в себя, он отправляет в аул двух нукеров, чтобы немедленно доставили к нему Шушен.

Дворец хана, окруженный высокой стеной с башнями и бойницами, стоял на вершине утеса. От него до аула, где жил Довуд с семьей, было полчаса езды верхом. Но не прошло и часу, как нукеры примчались назад без девушки, растерянные и взволнованные.

— О повелитель! — падая ниц перед ханом, закричали они. — В ауле нет ни одной живой души, точно всех его жителей от мала до велика проглотила земля!

Тревожная догадка, как огненная стрела, прожгла его сердце. Он сейчас с неумолимой ясностью понял, к чему его приближенный вчера ночью рассказывал ему историю про купца и его птицу, над которой так смеялся. Да еще он, глупец, обещал за нее, за сказку, которая ему так понравилась, подарить этой хитрой лисе новую черкеску с золотыми газырями...

— Ты обманул меня, старый пес, как та птица в клетке своего хозяина-купца, и ушел из-под моей власти! — закричал он в бешенстве. — Но я найду вас всех, даже под землей, и месть моя будет страшна. Ты — не птица, Довуд, а я — не купец!..

СОВЕТ АКСАКАЛОВ

На другой день после того, как Довуд поклялся избавить Джумшуда и его невесту от грозящего им бесчестия и гибели, он втайне от хана и его нукеров созвал в своем доме совет аксакалов, среди которых были таты и табасаранцы.

— Почтенные аксакалы! — обратился к ним Довуд. — Мы жители этого аула, люди разных народностей, но представляем один джамаат. Веками живем вместе, ходим по одной земле, под одним небом, дышим одним воздухом. У нас одни и те же обычаи, одни и те же радости и горести. И прах наших предков покоится в одной земле, и дети наши растут и мужают вместе. Одно и то же иго давит нас. Жестокий хан грабит и угнетает нас одинаково жестоко и безжалостно. До каких пор мы будем терпеть это и молчать?..

— Все то, что ты говоришь, о везирь, верно, — сказали в один голос старейшины аула, — но власть хана сильна, у него вооруженные нукеры, злые, как цепные псы. Попробуй пойти наперекор его воле — они сразу расправятся с нами. Против хана и его нукеров мы бес-sильны.

— Надо нам уйти отсюда, туда, где не простирается власть хана, где не достанут нас его нукеры, — горячо убеждал Довуд. — Далеко отсюда, на равнине, в поймах рек Самура и Григоринчая, среди девственных лесов лежит немало хороших и свободных земель. Уйдем тайком от хана и его кровожадных нукеров. Начнем новую жизнь...

Нелегко было жителям аула согласиться на то, что предлагал им Довуд: оставить свои дома, насиженные места, поля, политые их потом. Но еще труднее, невыносимее казалось им тяжкое ханское иго.

И вот в тот вечер, когда Довуд развлекал пьяного хана сказкой о купце и птице, население аула, погрузив все свои вещи на арбы, завязав морды животным, в строгой тишине покинуло аул.

Когда Довуд вышел от хана, стояла глубокая ночь. Небо было ясным, чистым, синим. Оттуда, точно бесконечное множество глаз, изумленно глядели на землю, где живут неразумные люди, далекие звезды.

Раньше Довуд, возвращаясь за полночь от хана, любил прислушаться к бойкой перекличке петухов, раздававшейся с разных концов погруженного в глубокий сон аула, встревоженному лаю собак, тонкому плачу проснувшегося в люльке ребенка. А сейчас его аул, где он родился, вырос и состарился, где покоится прах его предков, где каждая тропинка, каждый камень до боли знакомы и дороги его сердцу, — его аул был пуст, как ра-

зоренное гнездо. Над ним, словно над кладбищем, висит гнетущая могильная тишина.

Склонив голову на грудь, со слезами на глазах в последний раз медленно ехал Довуд по узким, кривым и пустынным улицам родного аула, мысленно прощаясь с ним. Потом он, очнувшись от своих тяжелых дум, прищипорил коня и во весь опор помчался вслед за беглецами.

БОИ ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ

Долго шли люди в поисках новой свободной земли, подальше от ханской неволи, пробираясь в густых диких, незнакомых лесах. Никто не роптал, не жаловался на тяготы и лишения. Неистребимое желание жить свободными, без ханского гнета и его злых нукеров придавало им бодрость и силу.

Наконец они нашли среди обширных лесов на берегу реки Григоринчая подходящее место для поселения. Земля здесь была щедрая, леса богаты дичью, река изобилвала рыбой. Они основали селение, обнесли его защитной стеной и назвали «Довуд-калой» в честь своего предводителя.

Прошел год, как беглецы обосновались на новом месте. Был снят с полей первый урожай. Вскоре после этого в селе справили первую свадьбу — свадьбу Джумшуда и Шушен. Это было одновременно и общим праздником всех односельчан — годовщиной освобождения от ханского ига. Три дня и три ночи вольные люди на вольной земле, мужчины и женщины, парни и девушки под звуки зурны и барабана веселились, пели, танцевали, бурно выражали свою радость. Но на третий, последний день всеобщего торжества, в разгар веселья, словно гром среди ясного неба, на селение обрушилась ханская дружина, вооруженная копьями и мечами. Целый год люди хана искали беглецов и, наконец, напали на их след.

— Братья! — крикнул Довуд, обращаясь к односельчанам. — Если мы не прогоним ханских нукеров, нас вновь ожидают позор и страдание в ханской неволе, а многих — смерть! Будем драться до последнего вздоха! Другого пути у нас нет...

Веселые звуки музыки, задушевные песни любви, радостные голоса сменили звон мечей, плач детей, крики раненых, тревожное ржание испуганных лошадей, слова

проклятий. Все от мала до велика, вооруженные чем попало: кинжалами, копьями, топорами, вилами, колами, выдернутыми из заборов, — вступили в бой с ханской дружиной.

Силы были неравны. Многие сельчане сложили головы в жестоком бою. Пал с рассеченной грудью Джумшуд, который дрался, как разъяренный лев. Он, весь обгаренный кровью, упал на руки своей невесты, успев только крикнуть Довуду, сражавшемуся во главе своих односельчан:

— Отец! Бейтесь на смерть! Берегите Шушен!..

Немало и ханских нукеров было убито в ожесточенной схватке. Но они все еще были сильны. Хорошо вооруженные, обученные военному ремеслу, привыкшие к насилию, грабежу и жестокости, они, точно свирепая стая бешеных волков бросались с мечами и копьями на беглецов, стойко и мужественно защищавших свою свободу, честь и жизнь. И вот, когда победа стала клониться на сторону ханских карателей, обессиленные и обескровленные жители едва могли сопротивляться, в это время вдруг между сражавшимися пронеслась, словно видение, девушка в черном платье с развевающимися черными волосами, верхом на черном коне. Лицо ее было гневно и прекрасно. В руках молнией блеснул меч. То была невеста Джумшуда — Шушен. Великая любовь и беспредельная ненависть придали ей невиданную храбрость и бесстрашие. Она неслась навстречу врагам, подобно грозовой туче, гонимой ураганом, выкрикивая имя своего возлюбленного:

— Джу-у-ум-шу-у-уд!!!

Крик ее могучим эхом прокатился по лесам и полям, со стократной силой повторяя его.

Увидев ее, оглушенные ее нечеловеческим криком, суеверные ханские нукеры остолбенели от ужаса. Она показалась им черным ангелом смерти — Азраилом в образе прекрасной девушки, сошедшим с неба, чтобы покарать их за кровь и слезы невинных людей. Обессиленные, потерявшие было надежды на спасение беглецы вновь воспрянули духом, с новой яростью и отвагой вступили в бой и прогнали ненавистных ханских псов...

Шушен недолго пережила смерть своего жениха — Джумшуда. Дни и ночи она проводила на его могиле. Горе и слезы очень скоро иссушили ее, превратили в каменную статую безутешно скорбящей девушки на мо-

гиле своего возлюбленного. Говорили, много-много лет, пока могила не сравнялась с землей и не заросла травой, стояла эта каменная девушка. Такой видели ее днем. А в тревожные грозовые ночи перед рассветом каменная девушка возвращалась к своему первоначальному образу. Одета в черное платье, с развевающимися длинными черными волосами, с лицом гневным и прекрасным, она, сжимая в руке меч, как вихрь, неслась на черном коне, выкрикивая имя своего возлюбленного, повторяемое эхом. Да и сейчас, спустя столетия, все еще встречаются люди, которые клянутся, что видели своими глазами, как она ночью перед рассветом, словно стрела, спущенная с тетивы, неслась на черном коне вокруг старых развалин, образовавшихся от прежнего поселения беглецов, где проходило жестокое сражение, в котором погиб ее жених.

Вскоре после позорного бегства ханских нукеров, оставшиеся в живых люди во главе с Довудом, опасаясь нового нашествия ханской дружины, перешли реку, спустились дальше вниз и основали среди дремучих лесов и глухих оврагов новое селение и называли его «Нуьге дигь».

Вот так возникло наше селение.

ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Яшел на ферму, поднимаясь по крутому склону горы. Внизу, в глубоком ущелье, оглушительно грохотала бурная река. Стремительные потоки воды, пенясь и клопоча, с неукротимой силой накидывались на гигантские валуны.

Не дойдя до вершины склона, я вдруг увидел метрах в двадцати-тридцати, на самом ее краю, маленькую девочку лет пяти-шести с непокрытой взлохмаченной головкой в ярком цветастом платице. Заметив меня, она сразу повернулась назад, вскинула ручонки над головой и дважды крикнула тонким пронзительным детским голосом:

— Ой, па-па-па! Убега-а-ай! Дядя идет! Па-па-па!..

Она также внезапно исчезла из виду, как и появилась.

В голосе ее, когда она кричала, мне почему-то почудилось не то рыдание, не то смех. Мне сначала неожиданная выходка девочки показалась несколько странной и смешной. Но, подумав, что это, видимо, просто-напросто детская причуда, я тут же забыл о ней.

Когда я взобрался наверх, передо мной открылась ровная, как скатерть, широкая зеленая поляна с разнообразными горными полевыми цветами. Ее со всех сторон окружали высокие горы, наполовину закрывшие небо. Посреди поляны, согнанные в кучу, покорно стояли сытые, с вздутыми боками разномастные коровы. Доярки в белых халатах доили животных. Яркие лучи предзакатного солнца золотили шелковистую траву, освещали багряным светом загорелые лица и руки доярок, окрашивали в прозрачно-розовый цвет тугие струйки молока, с шелестом падавшие в цинковые ведра.

Шла обычная вечерняя дойка. Несколько коров, которые уже были выдоены, слегка бодая и толкая друг друга, отделились от стада. И в это время в нескольких шагах от себя я увидел широкую мужскую спину и заросшую коричневую шею. Мужчина, как и все доярки, надев белый халат и присев на корточки, спокойно доил корову, как все равно заправская доярка.

Не скрою, то что я увидел, меня очень удивило. Доить корову испокон веков считалось и считается у нас женским занятием, нечто предосудительным для мужчины. Мне за свою жизнь ни разу не приходилось видеть человека, носящего на голове папаху, который бы доил корову, а тем более—работал дояром. Это был совсем необычный, можно сказать, из ряда вон выходящий случай.

Я хотел было отойти, чтобы он не стеснялся моего присутствия, но вдруг обернувшись, он увидел меня, и мы сразу узнали друг друга. Не скажу, чтобы я был рад этой встрече, а он, наверно, тем более.

Год назад тоже я был здесь. Тогда Хабибулла (так звали дояра) работал заведующим фермой. Но против моего ожидания, при виде меня энергичное, сравнительно еще молодое усатое лицо моего знакомого расплылось в спокойной приветливой улыбке. Он сразу прекратил дойку, порывисто поднялся и как ни в чем ни бывало подошел ко мне с приветствием, крепко пожал руку.

Но заметив мое недоумение, он точно опомнившись, слегка покраснел и смущенно улыбнулся, потупив глаза:

— Теперь заведующий не я, а... моя жена. Я только дояр, — все так же улыбаясь, тихо, почти виновато произнес он.

Чтобы он не чувствовал себя неловко в моем присутствии и не отвлекался от дела, я, извинившись, отошел подальше в сторону. Устало опустившись на мягкую траву, я стал искать девочку в пестреньком платье. «Почему все-таки она крикнула, увидев меня? — невольно спросил я себя после встречи с Хабибуллой. — Неужели ее предупреждение было обращено к нему? Ведь кроме него здесь никого нет из мужчин?..» Но девочки нигде не было видно. Какой-то суматошный рыжий теленок, по-собачьи высоко задрав хвост, ошалело резвился недалеко от меня.

Встреча с Хабибуллой вызвала у меня в памяти воспоминания о моем первом знакомстве с ним. Как и сейчас, год назад я приезжал сюда от своей газеты в качестве корреспондента. Когда я пришел на ферму, был полдень. Кругом тихо, пустынно. Ни на поляне, ни в коровнике не видно ни коров, ни самих доярок. Видимо, пастух угнал стадо куда-то далеко от фермы. Лишь два новорожденных теленка с черными влажными носами, свернувшись калачиком, дремали на солнце. Вдруг чьи-то громкие голоса, похожие на крики, доносившиеся из каменного домика, стоявшего рядом с пустым коровником, привлекли мое внимание. И я сразу направился туда.

В нехитром помещении красного уголка с низким потолком, маленькими окнами и давно небеленными стенами, беспорядочно увешанными разными плакатами, на длинных некрашенных и грубо сколоченных узких скамейках сидели двенадцать женщин в белых халатах. Перед ними, небрежно засунув руки в карманы брюк и выпятив широкую грудь, стоял с важным видом крепкий коренастый усатый мужчина лет сорока в высокой каракулевой папаше, горделиво сдвинутой на бок. Он, видно, был сейчас под хмельком. Его слегка шатало, но он спорил с ним, ругались. Двенадцать пар женских глаз перебивая друг друга и всплескивая руками, запальчиво старался держаться твердо, иногда сыто рыгал. Женщины, глядели на мужчину в упор с откровенным недовольством и возмущением, казалось, готовые просверлить его насквозь. А тот держался совершенно невозмутимо и в ответ на их выкрики и брань лишь самовольно и на-

смешливо улыбался, пускал шуточки в адрес доярок, словно нарочно дразнил их.

Стараясь не привлечь к себе внимания, я уселся в углу и стал прислушиваться к шумному спору. Через несколько минут я уже в общем понял, чем вызвана эта перепалка. Мужчина с усами, оказывается, является заведующим фермой. Она третий год соревнуется с другой животноводческой фермой этого же колхоза и все это время хронически отстает по надою молока и другим показателям. Сам заведующий мало интересуется делами фермы, целыми днями пропадает в ауле или в районном центре в обществе своих друзей, таких же любителей, как он, проводить время за стаканом вина и пустой болтовней. Для животных не только не заготовлены сочные корма, но и сено доставляется на ферму с перебоями. А ему хоть бы хны.

Сегодня на собрании доярок были подведены итоги работы фермы за второй квартал, которые, как и следовало ожидать, были весьма неутешительными. Это, видно, переполнило чашу их терпения, и доярки взбунтовались.

— Не надо нам такого заведующего!

— Пусть убирается вон ко всем чертям!

— От его «руководства» ни толку, ни проку, кроме вреда! — наперебой восклицали вконец рассерженные и раздраженные женщины.

Одна из доярок, молодая, смуглолицая и черноглазая женщина с большими круглыми цыганскими серьгами в ушах, видно, самая бойкая из всех, а может быть даже главная зачинщица сегодняшнего «бунта», вскочила с места и возбужденно заговорила:

— Я не знаю, почему нами — женщинами на ферме все время руководят они — мужчины, — указывая пальцем в сторону самоуверенно улыбающегося заведующего, произнесла она.

— Тут, моя дорогая, хе, и знать нечего, — рыгнув, насмешливо бросил Хабибулла, поглаживая ус.

— Вот вспомните, подруги, — не обращая внимания на реплику заведующего, еще запальчивее проговорила доярка, — сколько заведующих сменилось у нас на ферме за эти пять-шесть лет?!—И она начала загибать один палец за другим: — Самед, Мамед, Рахматулла, Асадулла, и вот он, чтобы пес его укусил, Хабибулла. Кого попало навязывают нам в заведующие, лишь бы на голове

у него торчала папаха. Был же у нас Асадулла. От старости еле ноги передвигал, только и знал, что молился и дремал на топчане. Выходит: старому, больному Асадулле и этому бездельнику и выпивохе Хабибулле можно быть заведующими, а таким нашим хорошим, добросовестным труженицам, как Айшат, Сакинат и Халимат, нельзя!?

— Верно говоришь, сестра! Молодец! — раздался чей-то ободряющий голос за спиной «оратора».

Хабибулла тихо, молча давился от смеха, точно их слова совсем рассмешили его. Потом он предупреждающе поднял руку и незлобиво крикнул на женщину с цыганскими серьгами:

— Эй, хватит тебе трещать как сорока в лесу! Меня в заведующие назначили не вы, а правление, а оно, скажу я вам, в ваших бабьих советах не нуждается, знает, что делает. Это раз. Во-вторых, ты говоришь, почему нас, мужчин, назначают заведывать фермой, а не тебя или кого-нибудь из вашей сестры? — Хабибулла сделал многозначительному паузу и, самодовольно ухмыляясь, добавил:— Да потому, что у вас, у женщин, нету этой самой... руководящей жилки, не-е-ету! Теперь тебе понятно, трещотка?

Эти слова Хабибуллы вызвали новый взрыв возмущения среди женщин, и они загалдели в один голос:

— Чушь говоришь! Где у тебя находится эта руководящая жилка, на пятке или на затылке?!

— Если на то пошло, у нас больше жил, чем у вас, у мужчин!

— Наши горянки секретарями райкомов работают, министрами, а он, бессовестный, глядите, что о нас болтает!

— Не быть ему заведующим, пусть с нами коров доит!..

Последняя фраза, брошенная кем-то из доярок, видно, сильно задела за живое Хабибуллу. Он, кажется, сразу отрезвел и даже перестал рыгать, а лицо утратило самонадеянное и беспечно-веселое выражение.

— Вы соображаете, глупые вы создания, что вы говорите?! — стуча кулаком по лбу и побагровев от внезапной злости, крикнул он на разошедшихся доярок. — Вот чего захотели! А может еще потребуете, чтобы я сменил свою гордую папаху на ваш бабий платок, а?!..

Я тогда еще не знал, да и не мог себе представить, что одна из тех, кто в тот день сильно ополчились против Хабибуллы, была его жена, тоже доярка.

С тех пор прошло более года. Не знаю, чем кончилась тогда вся эта история, хотя по возвращении в Махачкалу я написал критическую статью о положении дел на этой ферме, не преминул упомянуть о разыгравшейся сцене в красном уголке, свидетелем который был.

...Вечером мы с Хабибуллой сидели вдвоем у него дома. Жены его не было. Она уехала в аул, в правление колхоза по делам фермы.

— Помните в тот день в красном уголке какой шум, «ай-уй» подняли наши доярки? — Он усмехнулся, pokrutil головой. — Мне показалось тогда, что всех их муха укусила. А ведь раньше, и до меня и при мне, они, женщины, держались тише воды, ниже травы. А тут вдруг вот те и на!..

— Вы до сих пор не можете простить им этого, сердитесь на них? — в шутовском тоне спросил я Хабибуллу.

— Сержусь? Раньше — да, еще как сердился, ругал их на чем свет стоит, а сейчас нет, — чистосердечно признался Хабибулла.

Из дальнейшего рассказа Хабибуллы я понял, что вскоре после обсуждения его поведения на собрании работников фермы и появления статьи в газете правление колхоза отстранило его от должности завфермой, а на его место, по настоятельной просьбе самих доярок, назначили его жену — лучшую доярку. Хабибулле предложили работать в полеводческой бригаде, но для этого надо было вместе с семьей перекочевать в аул. А жена и слышать не хотела об этом. Она любила свою работу, тем более, когда ее назначили заведующей, ей ни за что не хотелось расстаться с фермой. И мужу в конце-концов пришлось против воли, скрепя сердце поступить согласно ее желанию. Он остался на ферме и стал работать дояром, поскольку другой работы для него здесь не было.

— Не скрою, первое время я чувствовал себя на этой работе так, как будто на меня наложили позорное клеймо, — произнес мой собеседник. — Я был все время злой, раздражительный. С женой постоянно ругался, в глубине души желал ей провала. А если кто-нибудь из мужчин появлялся на ферме и заставлял меня за этим

«милым» занятием — дойкой коров, я от стыда готов был провалиться сквозь землю, ходил после этого сам не свой. Чтобы в дальнейшем избежать этого, велел своей маленькой дочурке, как только я приступлю к дойке, стоять на краю поляны и наблюдать за тропинкой, ведущей к ферме. Согласно моей «инструкции» она, как только заметит появление какого-нибудь мужчины, криком должна была предупредить меня об этом. В таких случаях, я, едва услышав голос дочурки, немедленно прекращал дойку. Оставляя ведро с молоком под коровой, убегал, сломя голову, как от страшной опасности, на ходу сбрасывая с себя халат, под язвительные шутки и дружный хохот доярок.

На минуту Хабибулла прервал свой рассказ и тоже засмеялся, но глаза у него, как я заметил, были серьезные, даже грустные. Чувствовалось, что воспоминание об этом времени еще очень свежо у него в памяти и оно не из самых приятных для него. Но очень скоро мой собеседник, прервав молчание, заговорил вновь.

— Но однажды дочурка сильно подвела меня. Она, погнавшись за бабочкой, забыла, что ей надо следить за дорогой. И вот в это самое время никем не замеченный появился на ферме наш односельчанин Мухтар. С ним, когда я был заведующим фермой и располагал «свободным» временем, частенько выпивал. Он застал меня, как говорится, во всей форме: одетый в белый халат и опустившись на корточки, я доил корову и даже напел ей песенку. Есть у меня такая коровка по кличке «Солистка». Когда я пою, она ведет себя смирно и лучше отдает молоко. Я, стараясь скрыть свое крайнее смущение и досаду, встал, протянул Мухтару руку, говорю: «С приездом, дорогой Мухтар, рад тебя видеть...» А сам про себя думаю: «черт тебя принес сюда, лучше бы ты на дороге ногу себе вывихнул... Разнесет теперь, как ворон, недобрый хабар обо мне по всей округе, скажет, обязательно скажет, людям: «До чего, мол, дошел Хабибулла: был зав. фермой, а теперь, хе-хе, дояром работает. И не стыдно ему носить на голове папаху?...»

Весь день я ходил расстроенный из-за этого. Вечером, проведив гостя, я, выпивший и злой, сорвал сердце на дочке: крепко побил ее. Потом всю ночь мучился. Девочка то и дело вздрагивала во сне, охала, плакала. Я не находил себе места от беспокойства за нее,

от угрызении совести перед ни в чем неповинным ребенком.

На следующий день я освободил дочурку от этой нелепой обязанности и сам с этого дня перестал обращать внимание на появление посторонних людей, будь то мужчины или женщины, делал спокойно свою работу. В конце-концов что тут постыдного: работа есть работа, если даже она и «женская».. Самое главное — совесть у человека должна быть чиста.

Когда я так твердо решил про себя, знаете, у меня как-то и на душе стало легче, будто камень с нее свалился, и с женой перестал ругаться, скандалить по поводу и без повода. Не знаю, радоваться мне или огорчаться: моя уверенность в том, что дела на ферме пойдут намного хуже, если ее будет возглавлять не наш брат, мужчина, а женщина, тоже не оправдалась. Наша ферма в самом деле работает теперь намного лучше, чем при мне и до меня. Ну что ж, тем лучше...

Этимися словами закончил Хабибулла свою исповедь. Но мне показалось, что, рассказывая мне про эту историю, он кое-что приврал. Я же видел его дочурку — это точно она — и слышал своими ушами, как девочка, едва заметив меня, поднимающегося по тропинке, дважды громко крикнула, предупреждая отца о моем появлении. Но я не хотел упрекнуть, а тем более уличить его в этом. Не скрою, при всем моем критическом, отрицательном подходе к до сих пор бытующим у нас предрассудкам, понятиям о некоторой «чисто женской» и «чисто мужской» работе, я в душе даже немного пожалел хозяина дома. Я понимаю, как ему нелегко было, вернее нелегко переломить себя, свою психологию в этом деле. Какой внутренней борьбы с самим собой ему это стоит.

Пока я так рассуждал про себя, из внутренней комнаты к нам вошла, ступая босыми ножками по голому полу, та самая маленькая девочка, которую я видел сегодня на краю поляны. Она была сейчас в ночной рубашонке. Девочка подошла к отцу и, капризно надув губки, пожаловалась:

— Папа, мне одной скучно, хочу с тобой!

Отец поднял дочурку, посадил себе на колени и нежно поцеловал в лоб. Радостная улыбка осветила ее круглое миленькое личинко с остреньким подбородком.

Потом она, взглянув в мою сторону и точно радуясь, сказала, указывая отцу на меня:

— Я видела сегодня вот этого дядьку, кричала тебе, хи-хи...

— Почему? — сразу нахмурился Хабибулла, краснея. — Я же давно освободил тебя от этого дела.

Девочка шаловливо откинула черную кудрявую гловку на широкую грудь отца и залилась довольным смехом, обнажив редкие маленькие зубки, а потом держа босыми ножками, сказала с детской непосредственностью:

— Это я так, нарочно.

— Как это — «нарочно»? — невольно спросил я девочку.

В ответ она опять захихикала, а потом повернув гловку к отцу и ткнув пальчиком в его щетинистую щеку, весело произнесла:

— Дразнила его, черта усатого!..

ЛЮБОВЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Иоганн Курт сидел с полузакрытыми глазами, откинувшись на мягкую спинку кресла, когда в коридоре прозвенел звонок. Он сразу встал, и на ходу поправляя галстук, поспешно направился к двери. Но, увидев перед собой незнакомую худую женщину с пятнами на усталом лице и огромным круглым животом, очень удивился. Та, с трудом переводя дыхание, посмотрела на Иоганна с мягкой, чуть грустной улыбкой и еле слышно поздоровалась. Удивление на лице Иоганна внезапно сменилось выражением глубокого сочувствия, готовностью прийти сейчас же на помощь.

— Пройдите, пожалуйста, в комнату, я сейчас... — с ласковой учтивостью торопливо проговорил он, пропуская ее вперед.

Он был уверен в том, что беременная женщина шла по своим делам, но вдруг у нее начались схватки и она зашла в первый попавшийся дом, чтобы ей срочно вызвали машину и доставили в родильный дом. Поэтому едва незнакомка успела сесть в кресло, Иоганн быстро подошел к телефону, снял трубку. Но прежде чем набрать нужный номер, он обернулся к ней, ласково проговорил:

— Не волнуйтесь, милая фрау, все будет хорошо... Я сейчас вызову машину, и она повезет вас прямо в больницу, то есть...

— Не надо! — прервав Иоганна, протестующе замахала рукой женщина. — Я не за тем пришла... — И в голове ее почему-то послышались недовольные нотки.

Иоганн, озадаченный и сконфуженный, медленно положил трубку, подошел к гостье и, опустившись напротив нее в кресло, вежливо, но холодно спросил:

— В таком случае, не скажите ли мне, чему обязан?..

Гостья, не спеша открыла сумочку, которую держала на коленях, достала из нее вчетверо сложенную газету и протянула хозяину дома.

— Это ваше объявление в газете? Я его отметила красным карандашом...

Хотя Курт знал назубок каждое слово этого короткого объявления не хуже, чем молитву «Отче наш...», которую твердил ежедневно, он еще раз пробежал его глазами. «Иоганн Курт, — говорилось в нем, — 40 лет, рост 1 метр 70 см, шатен, владелец небольшого галантерейного магазина, ищет себе подругу жизни в возрасте от 25 до 35 лет, блондинку, обладающую ровным, спокойным характером и небольшим капиталом. Ребенок — не помеха. Можно ежедневно обращаться по адресу...»

Иоганн вернул газету женщине. Их взгляды встретились, и они теперь поняв друг друга, молча улыбнулись.

— Прошу прощения, фрау, как вас зовут?

— Эльфрида¹.

— О, чудесное имя! — повеселевшим голосом негромко воскликнул он.

Поглаживая лысую макушку, Курт принялся с нескрываемым интересом разглядывать невесту.

— От вас, на самом деле, веет миром, таким спокойствием, добротой. А я человек по натуре тоже очень добрый, миролюбивый... — Он приятно улыбнулся и сразу же сделал признание: — Вы мне определенно подходите, не знаю, как я вам...

— О что вы, что вы, — закудаhtала обрадованная невеста, с откровенной симпатией глядя на владельца галантерейного магазина. — Вы, господин Курт, интересный мужчина...

¹ Фриден — покой, мир (нем.).

Курт был польщен. Подвинувшись ближе к Эльфриде, он заговорил интимным голосом, бросая почтительные взгляды на ее живот и слегка касаясь рукой ее колена.

— Ребенок — радость в доме. Он укрепляет брачные узы между супругами... Если у вас родится девочка, назовем ее Эльфридой в вашу честь, если мальчик — Иоганном, дадим ему мое имя.

Лицо Эльфриды расплылось в довольной улыбке. Она подняла на Иоганна глаза, полные нежности и признательности. В приятном волнении невеста вновь щелкнула замочком сумочки, достала из нее сигарету, зажигалку и закурила.

— А теперь разрешите спросить вас, дорогая фрау, гм... — скромно произнес Курт со своей неизменной доброжелательной улыбкой.

— Пожалуйста, — с готовностью проговорила Эльфрида, выпуская изо рта и ноздрей струи сизого дыма, оглядывая потолок и стены комнаты.

— Каким капитальцем вы располагаете?

Она, конечно, ожидала этот вопрос и встретила его спокойно, даже весело. Эльфрида сказала, что у нее на счету пятнадцать тысяч марок, а в груди — золотое сердце.

Галантерейщик коснулся рукой голой макушки и неопределенно хмыкнул.

— Хе-хе, из сердца, если оно даже «золотое», монеты, конечно, не отчеканишь, — сострил он.

Хотя это было произнесено в виде шутки, но «невеста» уловила в голосе «жениха» нотки разочарования и иронии. От волнения пятна на ее лице выступили резко. Она неуклюже подалась вперед, чуть дрожащей рукой потушила недокуренную сигарету в пепельнице, затем с некоторым недоумением посмотрела на Иоганна.

— Могу наскрести еще одну тысячу, — после короткого молчания тихо, прерывистым голосом проговорила она.

Иоганн, принужденно улыбаясь, молча покрутил головой.

— Мне очень жаль, фрау, — извиняющимся тоном произнес он, беспомощно разводя руками, — но сумма, которой вы располагаете для вступления в брак, меня не устраивает. — И точно забыв о своих словах, ска-

занных ей несколько минут назад, добавил: — Кроме того, скажу вам откровенно, когда я указывал в своем объявлении, что ребенок для меня не помеха, я имел в виду вовсе не такого, который еще не родился, а который уже семенит ножками. — И он, заливаясь смехом, стал двигать по столу двумя пальцами, изображая нетвердую походку малыша.

...Через час после ухода Эльфриды господину Курту пришлось вновь побежать к дверям на звонок очередной невесты. На сей раз это была женщина лет тридцати пяти. Ее сопровождал высокий угловатый мальчик-подросток, лицом очень похожий на мать. На какую-то долю минуты они, остановившись у дверей, бросили друг на друга быстрый пытливый взгляд. Незнакомка своей внешностью произвела на жениха очень приятное впечатление. Она была выше среднего роста, стройная, лицо нежное, с мягкими чертами, большие, ясные голубые глаза с длинными ресницами смотрели приветливо и ласково, кокетливо выющиеся белокурые локоны красиво обрамляли белый чистый лоб.

Хозяин гостеприимным жестом указал гостье на кресло, в котором за час до этого сидела Эльфрида, затем с разрешения матери повел парня в другую комнату, где находилась личная библиотека хозяина дома, чтобы с глазу на глаз в непринужденной обстановке поговорить с невестой.

Когда Иоганн вернулся, женщина, приветливо улыбаясь ему, первой протянула руку, назвавшись Магдалиной. Иоганн не произнес своего имени, зная, что оно хорошо известно ей по объявлению в газете, но с большим удовольствием прильнул своими сочными губами к ее белой, пахнущей духами тонкой ручке.

— О, Магдалина — чудесное имя! — с нарочитым воодушевлением воскликнул галантерейщик. — Этакое романтическое, сладострастное, библейское. Помните Марию Магдалину — близкую подругу Христа?!..

Магдалина, кивнув белокурой головой, признательно улыбнулась.

После короткой беседы, когда выяснилось, что они симпатичны друг другу, Иоганн решил, что пора заговорить о самом главном — приданом невесты.

— Правда, я не богата, — в ответ скромно произнесла Магдалина, но тут же не без гордости добавила, — но и не бедна.

— Точнее? — сдерживая волнение и нетерпеливо ерзая в кресле, коротко спросил Иоганн.

— У меня двадцать тысяч марок...

Рука Иоганна вновь потянулась к лысой макушке. Он поднялся с кресла и несколько раз молча, с озабоченным видом прошелся несколько раз взад-вперед по комнате. Затем, остановившись перед ней и неловко улыбаясь, сказал:

— К сожалению, я не могу жениться на вас, фрау, хотя, не скрою, вы мне очень нравитесь. Дело в том, что, когда я указывал в своем объявлении, что ребенок для меня не помеха, то я имел в виду не такого, как ваш сын...

— Чем же плох мой сын? — с недоумением и почти обидой спросила Магдалина. — Если мы поженимся, от него никаких забот и хлопот не будет нам. Он уже взрослый парень, ему семнадцатый год пошел.

Иоганн, улыбаясь, покрутил головой в знак того, что он на этот счет с ней не согласен.

— Это вы так думаете, фрау Магдалина, — вежливо, но сухо возразил Иоганн. — А я думаю совсем наоборот. Не знаю, как там у коммунистов в Восточной Германии, а у нас здесь, в ФРГ, сейчас одна беда с такими юнцами. Многие из них ночи напролет проводят на танцуйках, в сомнительных развлечениях, увлекаются наркотиками, попадают в полицию... О, нет, меня это очень пугает...

Иоганн был почти искренен, когда говорил, что не может жениться на Магдалине, хотя она тронула его сердце. Но помехой этому был вовсе не возраст ее сына, а нависшая над его лавкой, как домоклов меч, угроза катастрофы. Два месяца тому назад его жена, молодая, взбалмошная красотка, сбежала с одним американским офицером, с которым, видно, она состояла в связи, о которой муж-рогоносец, к несчастью, ничего не знал. Вдобавок, убегая с этим Дон-Жуаном, она захватила все его деньги из сейфа в сумме около пятидесяти тысяч марок. Почти половина из этой суммы состояла из долгов, которые он взял для покупки очередной большой партии товаров для своего пустующего магазина. Теперь он с содраганием думал о том, что, если в самое ближайшее время у него не окажется этой суммы, то ему грозит полное разорение, а может, и тюрьма. Поэтому

бедный галантерейщик чувствовал себя как на краю пропасти.

Вот уже четвертый день по его объявлению в газете ходят к нему разные «невесты-блондинки», предлагая себя в жены. Но он каждый раз вынужден находить какой-нибудь благовидный предлог, чтобы отказать им: ни у одной из невест не было нужной сейчас ему до зарезу суммы. Правда, вчера приходила одна сильно накрашенная и разряженная экстравагантная молодая особа. Едва переступив порог, она сразу налетела на него и тут же с жаром чмокнула в губы, уверяя при этом Иоганна в том, что влюбилась в него по уши с первого взгляда и что она «невеста с богатым приданым»... Целых два часа «невеста» ела, пила у него, играла с ним в прятки, дурачила, морочила ему голову, а на поверку оказалось, что она вовсе не невеста с богатым приданым, а бедный, как корабельная крыса, безработный молодой актер, выгнанный из театра за чрезмерное пристрастие к спиртному и дебошам.

...После ухода очередной невесты галантерейщик сидел один хмурый и озабоченный, и смотрел в окно, выходящее в маленький дворовой садик. Холодный осенний день клонился к вечеру. Порывы ветра срывали с черных оголившихся деревьев последние мертвые листья, предвещая скорую зиму.

Поглощенный своими невеселыми думами, Иоганн не заметил, как в комнату вошла его жена-беглянка. Услышав ее голос, он сразу вздрогнул, точно человек, которого напугали во время сна. А она стояла в нескольких шагах от него, держа в руке маленький блестящий чемоданчик из крокодиловой кожи, и смотрела на мужа со смущенной, виноватой улыбкой. Наверно, если бы его жена скончалась, а затем каким-то чудом вернулась с того света, это не так поразило бы его, как ее неожиданное появление сейчас. Прошла целая минута, пока он пришел в себя, и тут же вскочил с места, как ужаленный. Показывая рукой на дверь, он крикнул на нее истошным голосом:

— Убирайся с моих глаз, дрянь, убирайся вон!

Но она подошла ближе к нему и сказала тихо, почти шепотом:

— Иоганн, милый, прости меня! Поверь мне, мое сердце всегда было с тобой.

— Простить тебя?!.. — горькая, злая усмешка искри-

вила губы Иоганна, а лицо, искаженное гневом, все побагровело. — Мало того, что ты, будучи моей законной супругой, бессовестно обманывала, изменяла мне, сбежала с чужим мужчиной, да еще ограбила меня на-чисто, пустила в трубу!..

На глазах у Курта выступили слезы.

— Иоганн, милый, — произнесла она громче, весело и ласково глядя ему в мокрые глаза, уже без тени смущения и сознания собственной вины, — не волнуйся, не сердись. Твои деньги никуда не делись, все здесь, до единого пфеннига. — Она приподняла чемоданчик и слегка тряхнула им перед мужем. — Больше того...

Но то, что говорила дальше жена, Иоганн не слышал. С округлившимися глазами, он мигом выхватил чемоданчик из ее руки, быстро повернувшись, устремился в другую комнату, точно голодная кошка, которая держит в зубах трепещущего мышонка и спешит в угол, чтобы скорее насладиться своей добычей.

Когда Иоганн вышел к жене, медленно потирая лысину, на которой крупными росинками блестели капли пота, он был радостно возбужден, а не еле заметно вздрагивающих губах, блуждала растерянная, бесконечная счастливая и прощающая улыбка...

Германия, 1946 г.

СОСЕД МОЙ — ВРАГ МОЙ

ссалам алайкум, товарищ редактор!

 Прошу Вас, напечатайте о моем соседе Сары-Самеде¹, который проживает в селе-нии Узун-Бурни², напротив водяной мель-ницы, (чтоб он угодил своей рыжей головой под ее тяжелые жернова!) один острый «фильетун». Хоть и говорят, что близкий сосед лучше далекого бра-та, а вот мой сосед, этот самый Сары-Самед, — злой враг мне. Он до того надоед, извел, замучил меня, что, клянусь всеми святыми, если можно было бы уложить

¹ Сары—рыжий.

² Узун Бурни—Длинный Нос.

все свое хозяйство: дом, двор, сад, скотину вместе с женой в мешок, ни одной минуты не остался бы жить рядом с ним. Взвалил бы все это себе на плечи и, несмотря на свои пятьдесят восемь лет, бежал бы от него без оглядки, как от шайтана (чтоб шайтан изуродовал его, окаянного).

Жить с ним по соседству, поверьте мне, нисколько не лучше, чем очутиться на дне глубокой ямы один на один со змеей-шахмаром³ (чтоб шахмар ужалил его злой язык).

Я слышал, что раз пишешь в газету, — давай факты. А фактов у меня против Сары-Самеда хватило бы не только на один «фильетун», но на всю газету. Я приведу несколько из них: «веревка хороша длинная, а речь — короткая».

Начну, хотя бы с того, что он, мой сосед, ходит по селу и распространяет обо мне всякие хабары-небылицы, будто я нарочно огородил свой двор и сад высоким каменным забором, потому что ревную молодую жену, прячу ее от любопытных взоров, как купец свою мошну, зная, мол, «женитьба старика — кейф для молодых»⁴.

Как поворачивается у него язык сказать обо мне такое, если моя жена почти каждый день на виду у тысячи людей торгует в городе на рынке ягодами, фруктами и овощами из моего сада, огорода. А когда она не успевает за день продать все привезенное, даже остается ночевать там у какого-то своего дальнего родственника, которого я знаю столько же, сколько вас или вы — меня, то есть совсем не знаю, даже в глаза ни разу не видел.

Со своей старухой, своей прежней женой я был вынужден развестись, потому что от нее не было ни толку, ни проку ни мне лично, ни моему хозяйству. Женщина она хилая, слабая, к тому же бесплодная. Кроме того, заставить ее отправиться в город на рынок было также невозможно, как сдвинуть с места каменную скалу, несмотря на то, что от нашего Узун-Бурни до города рукой подать.

Не отрицаю, я действительно огородил свой сад и двор высокой стеной. Но я это сделал, чтобы не вво-

³ Шахмар—одна из разновидностей ядовитых змей.

⁴ Пословица.

дить в соблазн посторонних, как говорится: «Глаз не увидит — сердце не захочет». Но жена моя, скажу я Вам, тут совсем ни причем. У меня, чтобы не сглазить, самый красивый и самый богатый сад в селе. Поэтому все, кому вздумается, тащился ко мне в сад полюбоваться на него, а главное, поесть всласть фрукты, насорить, как будто это общественный или колхозный сад. А ведь, как капля к капле образует ручеек, так и ягодка и ягодке образует кучку. А жена моя за каждую кучку берет на рынке с покупателя рубль, а то и подороже. Да и от мальчишек-сорванцов, охотников совершать вылазки в чужие сады, эти стены — надежное препятствие.

Потом, если разобраться, женщину в тридцать лет разве можно считать молодой? В былые времена, говорят, многие женщины в нашем селении в возрасте моей жены ходили в бабушках. А ему, Сары-Самеду лишь бы чесать язык, злословить на мой счет.

Наберитесь, пожалуйста, терпения, послушайте дальше. Недавно он, мой сосед, кем только не обозвал меня: и сорняком, и жадиной, и злостным нарушителем трудовой дисциплины, притом при всей бригаде. Из-за чего спрашивается он так «бублично» оскорбил меня, невинного человека?

Во время работы на прополке овощей ребята устроили перекур. Сам я не балуюсь табаком: курить — это не только прожигать здоровье, но и деньги... И вот, пока ребята курили, хабарничали, меня начало клонить ко сну. Чтобы не помешать им, я потихоньку отполз как можно подальше, забрался в куст, росший около дороги, у прохладного арыка, и заснул. Проснулся, когда солнце уже садилось за лесом, вернее, не я проснулся, а меня разбудил Сары-Самед, мой сосед. Оказывается, в это время стадо возвращалось в селение, а быки и коровы, приближаясь к кусту, где я лежал, с громким мычанием шарахались в сторону, сбивая друг друга с ног или пугливо обходили его. Этим они привлекли внимание Сары-Самеда, который в это время возвращался домой с саженью на плечах. (он у нас работает учетчиком).

Говорят: «На хромого козла и скала рушится». Обычно животные боятся, если в кустах (не про нас с вами будь сказано) лежит покойник или затаился зверь. А с

чего они, глупые создания, испугались меня, здорового, мирно спящего человека, понять не могу?

И вот на следующий день мой сосед в присутствии всей бригады смешал быль с небылицей, правду с ложью и стал чернить меня. Он говорил, что я будто весь день проспал в кустах, когда другие не жалели себя в работе, что это не первый случай с моей стороны. По его словам, меня не однажды находили спящим в разгар рабочего дня в Донгуз-Камыше, а другой раз — под стогом сена, что я днем на колхозной работе отсыпаюсь, чтобы потом всю ночь корпеть в своем саду.

Почти на все его клеветнические наветы у меня есть опровержения. Во-первых, я проспал в кустах не весь день, а три четверти дня, то есть, после первого перекура, — надо быть точным. Если сосед недолюбливает соседа — это вовсе не значит, что ему дозволено говорить про него все, что взбредет ему на язык. Во-вторых, я в зарослях Донгуз-Камыша никогда не спал, зная, что это излюбленное место свирепых диких кабанов. Не такой я глупый, чтобы по своей охоте подставлять свою голову под их острые клыки. Пусть это делает сам Сары-Самед, если ему самому надоело носить на плечах свою дурную голову, — хоть бы раз в жизни сделал приятное своему соседу.

А то, что я по ночам подолгу работаю, а иногда до самого рассвета, на своем приусадебном участке, а потом днем отсыпаюсь на колхозной работе — это верно. Правда, это случается не каждый день, но бывает, врать не стану. Но и на это у меня есть оправдание... В колхозном хозяйстве, дай бог берекет, семьсот трудоспособных членов, а в моем хозяйстве я один. А жена моя, как я уже сказал, днями торгует на рынке в городе, а нередко остается там ночевать у какого-то своего дальнего родственника. А продавать со своего приусадебного участка, как вы знаете, никому не воспрещено.

Теперь коротко о вчерашнем случае, который больше всего побудил меня написать Вам это письмо. Вчера он, мой сосед, чуть не подтолкнул меня на смертоубийство и не свел с ума. И вот как это было.

Поздно вечером я возвращался со свадьбы, а жены опять не было дома, — видно осталась ночевать у своего дальнего родственника. Когда я открыл калитку, смотрю... что за черт! У меня в саду под черешней стоит какой-то незнакомый человек. Был бы он мальчик-сор-

ванец, еще куда ни шло, а то — солидный мужчина в соломенной шляпе и с почтенной бородкой, можно сказать, аксакал. Он тянет к себе ветку с ягодами, а сам смеется мне в лицо, разыгрывает шута горохового. Я, конечно, очень возмущился, кричу ему, чтобы немедленно убрался из моего сада. А он, представьте себе, и в ус не дует, хоть ты лопни, смеется и не выпускает из рук ветку. Кровь бросилась мне в голову, тем более, я был под сильным градусом, быстро забежал в дом, вынес заряженное ружье и выстрелил в нахала. Известное дело: у кого пропадает добро, у того пропадает разум, да еще своим поведением он совсем вывел меня из себя. Как только я выстрелил, незнакомец упал как подкошенный, не издав даже звука. Видно, думаю, пуля угодила ему в самое сердце или разорвала печень. Сначала я даже обрадовался, что одним выстрелом вышиб из него дух. Но потом, как только опомнился, сообразил, что я натворил, мне стало очень страшно, весь холодным потом покрылся. Бросив ружье, я кинулся бежать к калитке, но со слепу ударился лбом о своей же каменный забор и расшиб себе голову. Вначале мне показалось, что это он, вернее призрак убитого, догнал меня и хватил камнем по лбу. Потеряв совсем голову, я бросился в дом и закрыл за собой дверь на засов. О, сколько страха я натерпелся за вчерашнюю ночь — не дай бог врагу Вашему.

Еще хорошо, что на мой выстрел никто не прибежал. Это потому, что вчера вечером стрелял из ружья не я один. В нашем селе издавна существует обычай: когда жених впервые переступает порог комнаты, где его ждет невеста, наши односельчане выходят на окраину села и стреляют вверх из ружья, приветствуя этим зарождение, так сказать, новой семьи. Поэтому, наверно, на мой выстрел никто не обратил внимание, даже мой сосед Сары-Самед, да чтоб ему пусто было.

Рано утром, едва дождавшись рассвета, я измученный, истерзанный, еле живой, охваченный страхом, с трудом волоча ноги, вышел в сад, подошел к тому месту, где вчера ночью стоял незнакомец, убитый мною, и остолбенел от изумления: под черешневым деревом на мокрой от предутренней росы взрыхленной земле лежал не человек, а... чучело, обыкновенное чучело с козлиной головой, но с обломанными рогами. Губы сверху и снизу были подрезаны, и от этого казалось,

что коза, вернее ее голова, смеется во весь рот, обнажив зубы...

Меня охватила такая бурная радость, которую я не могу выразить Вам словами; я будто заново на свет родился. Я плакал и смеялся одновременно, как помешанный. Но очень скоро моя радость сменилась сильным гневом на моего недоброго соседа Сары-Самеда. И вот почему. Я вспомнил, как он совсем недавно упрекал меня при всех: «Ты, Агажон, — пережиток прошлого, жадный собственник... Ты можешь из-за пары ягод даже человека убить...» Я сразу понял, что это дьявольская шутка — дело его рук. Да и клетчатый пиджак, что был на чучеле, и соломенную шляпу я не раз видел на нем.

Завернув шляпу и козлиную голову в пиджак, снятый с чучела, как вещественные доказательства, я сегодня же утром отправился в райцентр к прокурору жаловаться на Сары-Самеда. Но вот, что обидно, возмутительно, товарищ редактор: прокурор отнесся с полным невниманием к моей жалобе, да еще посмотрел на меня так неласково, так неприветливо, скорее всего с неприязнью, будто во всем виноват не он, мой сосед, а я, невинно пострадавший.

Будьте справедливы, посудите сами: разве после всех тех пакостей, которые причинил мне мой сосед, он не заслуживает того, чтобы Вы о нем написали один острый «фильетун», да чтоб фил¹ раздавил его вместе с прокурором?..

БЕЗ МАМЫ

Когда плачет ребенок, мне кажется, рыдает вся Вселенная.

Кайсын Кулиев



Маленькая черноглазая Заира с круглым, смуглым личиком, крепко обняв своего «косопалого Мишку», спит тревожным сном. Мишка весь, от головы до пят, удобно разместился на подушке, уткнув свой черный бархатный нос в мягкую щечку девочки.

¹ Фил—слон.

На дворе за окном разлита вечерняя мгла, надсадно завывает и бушует ветер. Частый косой дождь хлещет сквозь высокие пирамидальные тополя, что смутно виднеются сквозь «плачущее» окно.

Время от времени огненные зигзаги чертят небо, ярко освещая все вокруг, сопровождаемые громом такой необычной силы, будто разом бухнули все пушки мира.

Каждый раз, когда гром сотрясает воздух, ребенок неожиданно вздрагивает, не открывая глаз, еще крепче прижимает к себе любимого Мишку.

Посреди комнаты на круглом столе стоит раскрытая посылка, в которой в беспорядке громоздятся детские игрушки, кульки с пряниками, конфетами, детской одеждой.

Отец Заиры — Зураб, молодой худощавый человек лет двадцати пяти с острыми чертами лица, заросшими щеками, опершись локтями на колени и подперев ладонями подбородок, сидит неподвижно, плотно поджав губы, возле спящей дочурки.

Кроме отца и дочки в комнате нет никого. Зураб, печальный и расстроенный, неотрывно смотрит на дочку, а перед глазами неотступно встает картина сегодняшнего события.

Сегодня утром, когда он водил дочурку в сад, во дворе ему встретился почтальон, который вручил ему извещение на посылку. Посылка была от жены, которая после крупной ссоры с ним уехала в другой город, где живут ее родители. Послезавтра день рождения дочурки, ей исполняется три года. Зураб сразу понял, что жена послала посылку для Заиры ко дню ее рождения.

Но утром он умышленно не сказал ничего об этом дочери, хотел вообще скрыть от нее то, что мать прислала ей подарок. После всего случившегося между ними, закончившегося демонстративным отъездом жены, он не особенно надеялся, что она скоро вернется к ним, а может не вернется никогда, поэтому Зураб старался, чтобы дочка поменьше думала, вспоминала о матери, привыкала без нее. Он считал, что так будет лучше для самого ребенка, вынужденного жить без матери. Сам он за этот долгий тяжкий для них месяц ни разу не напоминал ребенку о матери. А как только дочь начинала капризничать, хныкать, спрашивать о ней, отец тотчас же старался отвлечь ее внимание чем-нибудь, как мог

развлекал ее, утешал. Но когда вконец истосковавшееся и истомившееся сердечко маленькой дочурки не выдерживало продолжающейся разлуки с матерью и она, заливаясь плачем, кричала, требовала, звала свою маму, Зураб сразу обнимал дочку, лаская, утешая ее, растерянно и торопливо повторял одно и то же:

— Заира, не плачь, мама придет, обязательно придет. Заира, не плачь!..

Девочка никак не могла постигнуть своим детским умом, почему так долго нет мамы, почему она не приходит, забыла вдруг о ней?..

Единственно, что она скорее чувствовала, чем понимала, это то, что папе не нравится, когда она спрашивает о маме. Он сердито хмурит брови, вздыхает и лицо его делается суровым. И Заира в такие минуты даже пугается его.

Отец с сокрушенным сердцем замечал, как временами его маленькая дочка, обычно такая веселая, жизнерадостная, игривая и говорливая, как все нормальные, здоровые дети, замыкается в себе, не разговаривает, не играет. Забившись куда-нибудь в угол, она целыми часами сидит без движения, устремив не по-детски серьезный грустный взгляд в одну точку или долго ластится к отцу, не испытывая при этом особенной радости.

Зураб видел все это, но не знал, как быть, что делать. Ребенок на глазах худел. Грусть и скука и какое-то молчаливое, безысходное отчаяние запечатлелись на ее побледневшем личике. Но молодой отец все же старался успокоить себя мыслью о том, что такое маленькое существо, как Заира, не способно на глубокое продолжительное переживание, у них, у детей быстро происходит смена настроений и чувств, и что они подобны тому самому горному цветку, о котором говорят, что он «на заре прослезится, а на закате засмеется».

Сегодня после работы Зураб по обыкновению пошел в детсад за дочуркой и оттуда вместе с нею отправился на почту. Только, когда они пришли домой, Зураб, поставив посылку на пол на середину комнаты и вооружившись молотком, чтобы вскрыть ее, объявил дочке с нарочитым безразличием как о чем-то незначительном, что эта посылка от мамы.

— Мама! Ма-ма! — радостно воскликнула дочь, хлопая в ладошки, подпрыгивая и захлебываясь от восторга.

Девочка быстро опустилась на корточки и, склонившись над ящиком, порывисто обняла его и, прижимаясь к нему щекой, с волнением прошептала:

— Мамуля!... Ма-ма!..

Зураба глубоко, до слез тронул этот душевный порыв истосковавшегося по матери ребенка. С ласковой, грустной улыбкой он, мягко отстранив девочку от ящика, сняв с него крышку, начал неторопливо извлекать содержимое. Сначала он вынул розовую целлулоидную куклу с пухлыми розовыми щеками и рыжими кудряшками, затем — голубое шерстяное платьице с широкими складками, кульки с конфетами, фруктами... Но как ни странно, девочка, которая продолжала сидеть на корточках, глядела на все эти подарки совершенно безразлично, даже чуть ли не с досадой, хотя родители называли ее в шутку «барахольщицей» из-за чрезмерной привязанности к своим вещам. Она все время с каким-то напряженным волнением вглядывалась во внутрь освобождающейся посылки, ждала чего-то другого, непонятного, непостижимого для отца.

И вот, когда ящик совсем опустел и было видно его голое дно, девочка медленно поднялась, удивленно повертела ручками, и, изобразив на лице неподдельное разочарование, спросила:

— А где же мама?!

— Какая мама? — откинув голову назад, невольно засмеялся отец и добавил с шутливым упреком: — Эх, голова твоя садовая! Разве маму можно уместить в такой маленький ящик?..

Но девочка не поняла и не хотела понять то, что сказал ей отец. Поэтому она, страшно огорченная, потрясенная, все думала, гадала, почему среди вещей, которые положила мать для нее, в посылке не оказалось ее самой? И ребенок вдруг почувствовал себя безжалостно обманутым. И все существо маленькой осиротевшей девочки взбунтовалось против этой неслыханной жестокости. Она повернулась спиной к отцу и, прижимая сжатые кулачки к судорожно вздымающейся груди, принялась громко плакать, жалобно взывая к матери:

— Мама! Где ты?! Почему ты не идешь, ма-а-а-ма!..

Зураба самого потрясло отчаянное горе безутешно плачущей дочери. Он быстро встал, взял ее на руки. Но она, все сильнее заливаясь плачем, стала биться в его руках, как пойманная в капкан птица.

Наконец с трудом успокоив уставшую, охрипшую девочку, он кое-как уложил ее в постель, положив рядом с ней на подушку лохматого мишку. Но девочка, даже засыпая, продолжала тихо всхлипывать и звать во сне свою маму.

Уже было около полуночи, когда Зураб, подперев руками подбородок, все еще сидел у кровати спящей дочери. Занятый своими невеселыми думами, он не сразу заметил, как бледные щечки ребенка неожиданно покрылись багровой краской. Предчувствуя беду, он сразу поднялся и с замирающим сердцем осторожно положил ладонь на ее маленький, выпуклый лоб и тут же испуганно, будто обжегшись, отвел ее. Сердце Зураба упало и глухо забилось в груди.

— А вдруг она умрет?!.. — со страхом и отчаянием подумал он.

Не помня себя от охватившего его волнения, он, забыв, что во дворе бушует ветер, хлещет дождь, без плаща, без кепки выбежал на улицу. Казалось, только сейчас, когда жизнь его маленькой дочурки неожиданно оказалась в опасности, он с неумолимой ясностью понял, что его ребенок не может жить без матери, точно хрупкий цветок без солнечных лучей, и что нет на свете ничего, никого, который мог бы заменить ему самое дорогое для него в жизни — мать.

...Молодые супруги жили дружно, в любви. Когда Зураб возвращался с завода, где он работал слесарем, жена всегда встречала его нежной, радостной улыбкой женщины, счастливой в своей судьбе, а маленькая дочурка с пронзительным восторженным криком, сломя голову, кидалась к нему на шею.

Но за последнее время все круто переменялось в отношениях между супругами, вернее, в отношении жены к мужу, а маленькой Заиры — к отцу. Он теперь часто приходил домой поздно, пьяным или просто «навеселе». При виде его хмельной, развязной улыбки и шатающейся походки лицо жены уже не озарялось, как прежде, счастливой улыбкой. Оно становилось беспокойным, угрюмым и мрачным, словно приходил не прежний любимый муж и нежный отец, а чужой, неприятный человек, грозящий им бедой. Да и Заира, как затравленный мышонок, суетливо и испуганно бегала из угла в угол, чтобы уйти, спрятаться от непрошенной ласки пьяного отца.

Однажды утром, перед уходом Зураба на работу, жена, по обыкновению приводя в порядок одежду мужа, случайно обнаружила в его кармане два билета в кино. Не дожидаясь, когда муж проснется, она, охваченная смутной ревностью и гневом, подошла к Зурабу и грубо толкнула его в плечо.

Муж сразу проснулся, сел в постели и, ошалело посмотрев на жену сонными глазами, коротко воскликнул:

— А?!..

— Где ты был вчера вечером?—проговорила жена с еле сдерживаемым раздражением.

— Как где?! — произнес он, искренне удивляясь, почему жена задает ему такой странный вопрос. — В ресторане со своим'приятелем.

Жена, уверенная в том, что муж лжет, обманывает и не в силах совладать с собой, с сердцем швырнула брюки на пол, а билеты ткнула ему в глаза.

— А это что?! А это что?! Бессовестный ты человек! — дрожащим от гнева голосом закричала она. — Мало того, что деньги пропиваешь, нас мучаешь, да еще с какой-то шлюхой водишься?!..

Зураба крайне возмутил упрек жены, ее раздражительный тон, но все же, чувствуя свою вину перед ней, принялся горячо уверять жену, клясться, что он ходил в кино вовсе не с женщиной, как она думает, а с собутельником после ресторана. Но жена не поверила ему, еще больше ожесточилась против мужа.

В то памятное утро, после разыгравшейся между молодыми супругами бурной сцены, жена твердо решила уехать от'него к своим родителям и немедленно. И когда она с заплаканными глазами, поспешно уложила свои и дочкины вещи в чемодан, хотела зайти в другую комнату за ребенком, где он еще спал, Зураб, угадав ее намерения, сразу подскочил к двери и преградил дорогу.

— Ася, я виноват! — бледнея, умоляющим голосом произнес он. — Клянусь тебе, я ходил в кино с приятелем, с которым пил. Я обещаю тебе никогда не встречаться больше с ним и бросить пить! У нас ребенок!..

Но Ася была глуха к тому, что говорил сейчас ей муж. Она в иступлении рвалась к ребенку, изо всех сил пытаясь отстранить Зураба от двери, ругая, проклиная его на чем свет стоит.

Вдруг худое лицо Зураба приняло решительное, вместе с тем злое, жестокое выражение, а глаза полыхнули молнией.

— Если мне не веришь — уезжай к черту! — хрипло проговорил он, — а дочку я тебе не отдам, ни за что не отдам, не отдам!..

...Прежде чем зайти в первую же телефонную будку, чтобы вызвать «скорую помощь», Зураб под проливным дождем, с бьющимся сердцем прибежал на почту. Быстро схватив голубой бланк со стойки, за которой сидела телеграфистка, полная женщина средних лет с высокой прической, он, шатаясь от горя и мокрый насквозь, отошел в дальний угол зала, опустился на стул. Тяжело дыша, Зураб принялся дрожащей от волнения рукой торопливо писать жене неровным почерком: «Ася, наша девочка сильно заболела. Жизнь ее в опасности. Если ты немедленно не приедешь, она...»

Рука Зураба вздрогнула и застыла на голубом бланке телеграммы, не в силах вывести страшное слово. Встревоженному воображению молсдого отца вдруг представилось, что, пока он здесь, дочь в самом деле умерла, лежит на своей детской кроватке со сложенными на бездыханной груди неподвижными прозрачными ручками...

Острый, небритый подбородок Зураба дробно дрожал, из воспаленных глаз разом хлынули горячие слезы и покатались по заросшим щекам.. Обессиленный, он грудью упал на широкий, длинный стол, покрытый холодным стеклом, и уронив голову на руки, громко и безутешно зарыдал..

А на улице занимался рассвет, затихал ветер и переставал дождь...

«ЭТА ПРОКЛЯТАЯ ИСТОРИЯ...»

Встретил я недавно своего друга Салара, механика авторемонтного завода. Последний раз я видел его месяц с лишним назад перед моим отъездом в санаторий. На днях я узнал, что он получил секцию из трех комнат со всеми удобствами в новом доме. Я представлял себе радость моего друга, его семьи, которая дол-

гое время ютилась в одной комнате... Но против моего ожидания вид у Салара почему-то был весьма озабоченный и угрюмый, он весь был какой-то взвинченный. Мне показалось, что за это время, что я его не видел, он даже несколько постарел, похудел. На мое приветствие и поздравление с новосельем, Салар ответил как-то вяло, без всякого воодушевления, словно ему это было не очень по душе. Я невольно насторожился.

— Салар, дорогой, скажи честно: что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке, — угрюмо буркнул он в ответ.

Но я чувствовал: его что-то гнетет, и он что-то скрывает.

С минуту мы шли молча. Салар шел, опустив голову, задумавшись. Потом он вдруг поднял на меня серые, грустные глаза, взял меня за руку, спросил:

— Ну, ладно, у тебя есть время?

— Да, я никуда не спешу.

— В таком случае, давай посидим вот тут, — указал он глазами на рядом стоявшую скамейку в сквере, — и я тебе все расскажу.

Мы сели. Погода стояла осенняя, пасмурная, под стать настроению моего друга. Салар вынул из кармана портсигар, угостил меня сигаретой и закурил сам, потом, словно забывшись, долго смотрел куда-то перед собой. Я осторожно тронул его за руку.

— Ах да, извини меня, пожалуйста, — будто очнувшись, произнес он. И, словно, оправдываясь, добавил: — Знаешь, все эти последние дни, и на работе, и дома, я вот так: берусь что-нибудь делать, но тут же забываюсь, все думаю об этой проклятой истории. Никак она у меня не выходит из головы...

Салар сделал подряд несколько глубоких затяжек, потом, бросив окурок, начал так:

— Неделю тому назад я получил новую квартиру. Мне незачем объяснять тебе, какая это радость для нас -- сам знаешь... На следующий же день, после того, как мы заселились в новую квартиру — в субботу это было — кто-то робко постучался к нам в дверь. Открываю ее, смотрю, в подъезде стоит незнакомый мне человек, какой-то высокий, плечистый парень. На нем замасленная кожаная тужурка, сапоги с подвернутыми голенищами, помятая кепка, сдвинутая на затылок. С виду похож на шофера. У его ног лежит большой

плоский закрытый ящик, а на ящике — огромный живой откормленный индюк — я такого индюка никогда не видел, — с завязанными ногами. Рядом с ящиком стоит большой баллон с красным вином.

— Вы к кому? — спрашиваю его.

Он, приветливо поздоровавшись, почтительно улыбается.

— К вам, — уверенно отвечает он с той же почтительной улыбкой. — Мне приказали, чтобы я все это, — он с деланной небрежностью указал на привезенные вещи, как бы желая подчеркнуть этим, что ничего, мол, особенного здесь нет, — доставил вам.

Я очень удивился, услышав это, и стал говорить ему, что он наверняка ошибся, спутал меня с кем-нибудь другим.

— Нет, нет, что вы! — вежливо протестовал он. — Именно вам велели доставить.

— А ты не спросил у него, кто прислал тебе эти подарки? — перебил я Салара, заранее догадываясь, что «проклятая история», которая вывела из равновесия моего друга и о которой он собирается рассказать мне, по всей вероятности, связана с ними.

— Как не спрашивал?! Спрашивал, — словно удивленный и даже немного обиженный моим вопросом, воскликнул Салар. — Говорит: «Узнаете потом, сам он, «хозяин», напишет вам». Он так и сказал — «хозяин».

И не дав мне опомниться, шофер легко поднял двухпудовый ящик и без моего разрешения занес на кухню. Туда же он перенес баллон и индюшку.

Как только неизвестный мне шофер неизвестного «хозяина» ушел, на кухню с шумом вбежали мои дети. Когда я на их глазах открыл ящик и они увидели аккуратно сложенные в нем виноградные кисти с чуть сморщившимися желтыми ягодками, радостно запрыгали. Я каждому из них дал по кисти винограда и отправил назад. Вскоре вернулась жена — ее не было дома, когда приходил шофер. Дети, сразу обступив мать и размахивая перед нею гроздьями, сообщили ей о подарках.

Жена тоже, скажу тебе, была очень удивлена этому, не меньше, чем я. Она смотрела на меня, я на нее, как бы стараясь с помощью друг друга угадать, кто мог сделать нам такой неожиданный сюрприз. Мы перебирали в памяти всех наших родственников, но среди них не находили ни одного, кто мог бы в один раз послать

нам в ноябре целый ящик винограда, большой баллон вина и такого откормленного индюка. Да и родственников, как у меня, так и у жены, раз-два и обчелся. Ты же знаешь, — мы оба сироты, детдомовцы, у меня и у жены отцы погибли на фронте, а матери умерли от голода во время войны, когда мы еще были детьми.

— Не надо было принимать подарки, коли не знаешь от кого они, кого надо благодарить за это, — говорит мне жена почти с упреком.

По ее голосу я чувствую, что она скорее огорчена, чем обрадована. В душе я, конечно, был согласен с ней, но уже ничего не мог исправить. Чтобы как-нибудь успокоить ее, а заодно и себя, я принялся уверять жену в том, что это прислал кто-то из наших друзей, желая на исцеление сделать нам приятный сюрприз.

Жена, наконец, как будто поверила этому. А через час, между нами говоря, мы даже были довольны подарком и решили на следующий день пригласить самых наших близких друзей и устроить небольшой пир. Ты тогда находился в санатории. И хорошо, что тебя не было...

Салар глубоко вздохнул. И сердито нахмутив брови, беспокойно заерзал на скамейке и опять полез в карман за портсигаром.

— На следующий день, — заговорил опять мой собеседник, держа между пальцами дымящуюся папиросу, — пришли мои гости. Жена, радостно возбужденная, приветливая, счастливая быстро накрыла стол, налила полные графины вина, подала соус, горячий плов с жареным индюком. Только подняли первые бокалы, чтобы произносить тост, по радио, точно по нашей заявке, запели застольную песню «Налейте бокалы!..» Это еще больше подняло общее настроение за столом. Но вот в разгар песни, точно гром с ясного неба, кто-то громко и нетерпеливо стал барабанить нам в дверь, заглушая ее. Все пораженные, с застывшими бокалами в руках, невольно повернули головы в сторону двери. Я бегом выскочил в коридор, поспешно открыл дверь. Смотрю, на пороге стоит тот самый шофер, и как будто не тот. Рожа злая, красная, вызывающая. Он окинул меня свирепым взглядом, точно своего заклятого врага, виноватого перед ним бог знает в чем, закричал сердито и требовательно:

— Где ящик с виноградом?! Где баллон с вином?! Где индюк?!

Я обмер, ноги у меня подкосились. Не дожидаясь ни моего приглашения, ни моего ответа, он, громыхая сапогами, устремился на кухню. А я, точно как во сне, поплелся за ним. Шофер, не найдя там ничего, что оставил вчера, заговорил с отчаянием и злостью в голосе:

— Понимаешь, произошла ошибка, досадная ошибка. То, что я вчера привез, наш директор совхоза велел отнести одному нужному ему человеку, который оказывает ему услуги. Но я, дурак, перепутал номер дома... Теперь хозяин съест меня с потрохами.—Он с досадой шлепнул себе по широкому плоскому лбу, а потом, бросив сердитый, возмущенный взгляд на сковороду, стоящую на плите с остатками индюшки, и, кривя губы в злую усмешку, громко добавил: — А ты—он уже не называл меня на «вы», — а ты вместе со своими гостями, конечно, постарался поскорее сожрать, выпить, что я привез. Ведь, на чужое, дармовое аппетит всегда хороший!..

Я думал, сойду с ума. Радио перестало петь, и гости, конечно, все слышали, тем более от расстройства и растерянности таким неожиданным оборотом, я забыл закрыть дверь в комнату, где они сидели. Я был вне себя от негодования и возмущения. Потеряв над собой власть, я вплотную приблизился к нему и потребовал, чтобы он немедленно сгинул отсюда. А этот нахал, поспешно пятаясь назад, стал еще угрожать мне:

— Ну, ну, папаша! Полегче на поворотах!.. — крикнул он на меня и, подняв сжатый кулак, угрожающе добавил: — Не то!..

Жена и дети с криком выбежали в коридор, а вслед за ними и гости. Шофер с шумом захлопнув за собой дверь, удалился, а все они, видя в каком я возбужденном состоянии, принялись меня успокаивать.

Веришь ли, я никогда не плакал, по крайней мере не помню такого случая, хотя обид и горестей выпало на мою долю столько, сколько хватило бы на десяти-рых. Но сейчас от незаслуженной обиды и бессильной ярости, от того, что мне так было стыдно перед моими гостями, у меня комок подкатил к горлу, и я с трудом сдерживал себя, чтобы не заплакать...

Настроение у всех было испорчено. Очень скоро гости, каждый ссылаясь на какую-нибудь уважительную

причину, ушли один за другим, почти не отведав ни вина, ни плова, ни винограда. После их ухода мы с женой долго сидели одни за пустующим накрытым столом, молчаливые, подавленные, словно после похорон. Потом я разом встал, схватил баллон, вынес его на кухню и вылил все вино в раковину. А ящик с виноградом отнес в общежитие школы-интерната, которое находится недалеко от нашего дома. Ребятам я сказал, что виноград прислали им в подарок рабочие совхоза.

С тех пор прошло больше недели, а я, как видишь, никак не могу успокоиться, прийти в себя..., — закончил такими словами свой печальный рассказ об этой... «проклятой истории» мой друг Салар.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТИ	9
Фамильная арка (История одной женщины)	11
Возмездие	116
РАССКАЗЫ	245

Хизгил Давыдович Авшалумов

ФАМИЛЬНАЯ АРКА

Рецензент **В. Носов**. Редактор **Н. Гасанова**. Художник **Л. Брузгин**.
Худож. редактор **В. Черемушкина**. Техн. редактор **В. Гаджиева**.
Корректор **А. Бегбулатова**

ИБ 1359

Сдано в набор 30. 11. 83. Подписано в печать 22. 02. 84. С 01466.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Журнальная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,2. Уч.-изд. л. 20,3. Тираж 12000.
Зак. 3172. Цена 1 руб. 70 коп.

Дагестанское книжное издательство Государственного комитета
Дагестанской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли

367025, Махачкала, ул. Маркова, 55.

Типография им. С. М. Кирова Государственного комитета Дагестанской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
367025. Махачкала, ул. Маркова, 51.